

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ ЖАЛЬ, ЧТО ВАС НЕ БЫЛО С НАМИ

ЖАЛЬ,
ЧТО
ВАС
НЕ
БЫЛО
С
НАМИ

*Василий
Аксенов*

Всений
АКСЕНОВ

Жаль,
что
вас
не было
с нами

повесть
и
рассказы



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1969

· Имя писателя Василия Аксенова хорошо известно советским читателям.

В эту книгу включена повесть о трех друзьях — «Коллеги». Молодые коллеги — врачи Алексей Максимов, Владислав Карпов и Александр Зеленин — только что сошли со студенческой скамьи.

Различны характеры молодых людей, но роднит и объединяет их стремление отдать полученные знания людям, поскорее посвятить себя избранной профессии. Труднее всего приходится порывистому, искреннему, не знающему никаких отступлений от намеченных целей Александру Зеленину; он уезжает в деревню и с головой уходит в ответственную работу сельского врача.

В книгу вошли рассказы «Товарищ Красивый Фуражкин», «Маленький Кит, лакировщик действительности» и другие.



П О В Е С Т Ь

КОЛЛЕГИ

ГЛАВА I

КТО ОНИ ТАКИЕ!

В анкетах они писали: год рождения — 1932-й, происхождение — из служащих (Карпов — из рабочих); партийность — член ВЛКСМ с 1947 года; участие в войнах — не участвовал; судимость — нет; имеет ли родственников за границей — нет; и еще несколько «нет» до графы «семейное положение», в которой все они писали — холост. Автобиографии их умещались на половине странички, а рассказывали они о себе так.

Алексей Максимов. Как говорят, когда-то мы все были ребенками. Мама у меня учительница. Папы нет. Где жил? Мы часто переезжали с места на место. Родился-то в Новгороде. В школе учился хорошо. Любимый предмет? Чистописание. В школе я играл в футбол, а в институте — в волейбол. Я и сейчас играю в волейбол и всегда буду в него играть. Почему в медицинский пошел? Вам это интересно? Ах, интересно! Ну, по недоразумению. Медицина? Я жить без нее не мо-

гу. А какого черта вы меня все расспрашиваете, словно начальник отдела кадров? Я грубиян? Идите вы знаете куда!

Владислав Карпов. Мальчик, если вы не видели Черного моря, вы ничего не видели. Мой папа — рыбак. Любите копченую скумбрию? Знаете, есть такая песенка:

Поцелуй, поцелуй, Перепетуя,
Я тебя так безумно люблю.
Если любишь копченую скумбрию,
Я тебе ее достану хоть вагон.

Да, конечно, я спортсмен. Разве не видно? Всеми видами спорта. Больше всего люблю бильярд. А вы? Сыграем как-нибудь? Вы сами откуда? Любите танцевать? Вы мне нравитесь, чтоб я так жил. Приезжайте к нам — не пожалеете. Черное море — это что? Поэма! Значит, до скорого.

Александр Зеленин. Да, я коренной ленинградец. Пройдите сюда, в столовую. Видите на стене эти старинные дагерротипы? Это мои предки. Вот магистр философии Петербургского университета, а этот — известный путешественник, а этот в Шлиссельбурге сидел по делу о покушении. Ничего, что я ими немножко горжусь? Потом у нас пошли все врачи. И папа мой врач, и мама тоже, и я, как известно, врач без пяти минут. Да, я не только люблю медицину, но считаю профессию врача самой нужной на свете. А какой она дает кругозор! Вы знаете, я чувствую, что с каждым годом начинаю лучше понимать людей и с физиологической и с психологической стороны. Я очень доволен своей профессией. Жалко только, что скоро придется уезжать из Ленинграда. Не могу представить, что больше не буду бродить по Большому проспекту и по набережной, любоваться закатом, когда, знаете, все окна в Эрмитаже вспыхивают малиновым светом... Но что делать? Ведь это же, как говорится, наш долг. Ну что ты смеешься, Алексей? Всегда он, знаете ли, вот так.

От автора. Алексей Максимов — мрачный и рез-

кий. Вечно он что-то такое изображает. Владислав Карпов — из тех, кого характеризуют двумя словами: «свой парень». Иногда добавляют: «свой в доску». Любимец девочек, гитарист. Александр Зеленин — немного смешной, порывистый, очень вежливый, очень прямой, очень приятный человек.

Их дружба началась на первом курсе. Иногда удивляются дружбе совершенно разных людей, но по-настоящему дружить могут только разные люди. Между людьми сходных характеров и темпераментов неизбежны резкие столкновения и неизбежен разрыв. У этой тройцы вдумчивость Зеленина и его пылкая искренность как бы уравновешивали довольно наигранный цинизм Максимова и легковесность Владьки Карпова.

Вот они какие.

И сейчас, весной 1956 года, они идут втроем против ветра и думают все об одном.

ИХ МЫСЛИ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ

— Откуда это, Сашка, в тебе такая идейность? — сердито спросил Алексей Максимов. — Тоже мне загнул — экзамен наших душ!

— Так оно и есть! — воскликнул Зеленин.

— Черта с два! Распределение — это принудительный акт. И каждый культурный человек, естественно, рассчитывает, как бы увильнуть от жизни в глуши и не превратиться в животное.

— Чушь! Геологи годами бродят в тайге и не превращаются в животных.

— Геологи! Геологам лафа. Они уходят партиями, все молодежь, весело. А нас что ждет? Думаешь, я боюсь отсутствия электричества и теплого клозета? Ерунда все это! Я готов... А вот представь себе участковую больницу. Деревенька, степь или лес, ветер свищет, и ты один, совершенно один. Кончил работу, поел, послонялся из угла в угол — и спать. Проходят годы, ты толстеешь, глупеешь, начинаешь принимать приношения благодарных пациентов, мысли твои заняты курочками, свинюшками, и тебе уж больше ничего не надо, и ты уже со снисходительной улыбкой вспоминаешь об этом разговоре.

— Брр! — передернулся Владька Карпов.— Ну тебя к бесу, Макс! Страшно.

— И ты, сын рыбака, боишься деревни? — спросил Зеленин.

— Страшной войны,— засмеялся Карпов.— Но что делать — таков наш скорбный удел. Хочешь не хочешь, а надо, как поется, собирать свой тощий чемодан.

— А чего ты, собственно, хочешь? — резко спросил Максимов.

— Я? Мальчишки, я хочу всегда видеть наших девочек и ваши опостылевшие физиономии, по-прежнему попирать камни этого исторического города и ходить на эстрадные концерты и в цирк и сам хочу выступить в цирке. «Соло-клоун и музыкальный эксцентрик Владислав Карпов...» Между прочим, не отказался бы от места ординатора в клинике Круглова.

— А ты чего хочешь, Алексей? — спросил Зеленин.

— Я хочу жить взволнованно! — с вызовом ответил Максимов.— Все равно где, но так, чтобы все выжимать из своей молодости. А будущее сулит сплошную серость. Судьба сельского лекаря. Надо быть честным. Нас теперь научили смотреть правде в глаза. Пускай Тарханов и иже с ним поют нам о высоком призвании, о патриотическом долге, пускай Чивилихин кричит, что трудности не страшат нас, молодых романтиков. Все знают, что он-то обеспечил себе местечко в клинической ординатуре. Какая нас ждет романтика? Вот если бы мне сказали: лезь в эту ракету, и тобой выстрелят в космос, и ты наверняка рассыплешься в прах во имя науки,— я бы только «ура» закричал. А когда мне толкуют, что мое призвание и мой долг — превратиться в Ионыча, тут уж нет, пожалуйста, не надо красивых слов! Приму как неизбежность!

— А о больных, которые тебя ждут, ты не думаешь? — спросил Зеленин.

— О больных? — опешил Максимов.

Владька вставил:

— Помните, как Гущин на обходе говорил: «Нда-с, батеньки, несмотря на все наши усилия, больные поправляются».

— А о других ты ни о ком не думаешь, Алексей? — спросил Зеленин.

— А ты только о других думаешь? — крикнул Максимов.

— Эх, Алешка, Алешка, трудно тебе будет!

— Не волнуйся за меня, рыцарь, умоляю тебя, не волнуйся!

— Пошли в кино, хлопцы, — предложил Карпов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Этот день помнят всю жизнь. Это день массовых прогулов, побегов с лекций, валерьяновых капель, хохота, слез... Распределяются в первый день десятки, а болельщиков сотни. Родители, жены, невесты, знакомые и просто любопытствующие с младших курсов.

Максимов, Карпов и Зеленин сидят на диване в коридоре второго этажа. Максимов и Карпов ждут своей очереди, а Зеленин ждет их. Сам он распределяется завтра. За стеклянной дверью патофизиологической лаборатории видны спокойные фигуры в белых колпаках и халатах. Людям за дверью этот день не кажется необычным. Для них это просто четверг, 29 марта. Впрочем, не для всех.

— Владька, серьезно, что делать? — с глухой тревогой спрашивает Максимов.

Карпов сегодня мрачен.

— Я не подпишу! — выпаливает он.

— Ты что, того? — Максимов крутит пальцем у виска. — Диплома не выдадут.

— Пойми, Макс, как же я уеду куда-то к чертям, когда она останется здесь!

— Она? — Максимов изумленно глядит на друга. — Неужели ты даже сейчас... — Он отворачивается, вздрагивает и шепчет: — Легка на помине.

По коридору, звонко отстукивая каблучками, идет высокая девушка. Улыбается, сияет. Идет немного вызывающе, — может быть, оттого, что старается не потерять самообладания под взглядами десятков глаз. Открывает дверь лаборатории — и, вдруг увидев друзей, останавливается.

— Не обращай внимания,— быстро говорит Максимов. Вытаскивает газету, углубляется в чтение.

Девушка медленно, точно ее подтягивают на канате, подходит к дивану.

— Привет, мальчишки,— говорит она с сердечностью. Посторонний не уловил бы в ее голосе ни малейшего оттенка фальши.

— Наше вашим,— отвечает Карпов.

— Хелло,— бурчит Максимов.

— Добрый день, Верочка! — приветствует Зеленин.

Вера смотрит на высокомерного Владьку, на независимого Алексея (Зеленина она почти не замечает) с ласковым пренебрежением. Но что все-таки тянет ее к ним? Прежняя дружба или то старое, тайное, от чего, оказывается, нет никаких лекарств? Ах, все это отголоски детства! Она смотрит по сторонам, блуждающие по коридору студенты поглядывают с любопытством. Курс отлично помнит, как она неожиданно дала отставку Владьке Карпову и вышла замуж за доцента кафедры патофизиологии Веселина. Это была сенсация. Вера улыбается.

— Вам неинтересно, как я распределилась?

Максимов насмешливо щурится:

— А мы знаем. Действие развивалось примерно так: она вошла, грациозная и свежая, как дуновение... м-м-м... словом, как некое дуновение. «Это наша лучшая студентка Вера Веселина»,— сказал декан. «Веселина? — удивился Тарханов.— А не жена ли она нашего уважаемого?.. Ах, так! Чудесно! Думаю, что все ясно с Веселиной. Путь добрый вам в науку, толкайте ее, голубушку, в бок вместе с уважаемым...»

Вере больно. Все действительно проходило примерно так. Она не знает, что делать — вспылить, или обратиться все в шутку, или заплакать. Положение спасает тот, кто выручает ее всегда,— муж. Он появляется из лаборатории и уводит Веру.

Петр Столбов, здоровенный парнище, игриво кричит:

— Вла-адька! Любимую «любить увели», а?

Подходят в обнимку Эдик Амбарцумян и любимец курса поэт Игорь Пироговский.

— Ребята, послушайте,— говорит Пироговский.— Ре-

шили мы с Эдькой соседями стать. Я — в Оймякон, а он — в Оротукан. Шашлычком из медвежатины обещал угостить. Привезу, думаю, оттуда чемодан стихов. И вот на тебе — распределяют меня в аспирантуру на терапию. Вот тебе и стихи, вот тебе и медвежатиная!.. Человек предполагает, а комиссия распределяет.

— Я, пожалуй, тоже в Якутию попрошусь, — говорит Максимов, — там хоть льготы и чумы разные, азросани, спиритус вини...

— Азросани, спиритус вини, — подхватывает Карпов. — Правильно, Макс, уедем к чертям отсюда.

К дивану подходит пожилой человек в потертом драпвелюровом пальто и в велюровой шляпе.

— Ну, орлы, а вы куда собираетесь?

— В Рио-де-Жанейро, — острит Карпов.

Незнакомец спокойно говорит:

— Что ж тут смешного? Можно и в Рио-де-Жанейро. Мне нужны судовые врачи. Есть желающие? Разъяснить? Я начальник медуправления Балтийского морского пароходства. Набираем врачей на суда. Условиями будете довольны. В рейсах двойной оклад плюс валюта. Стол бесплатный. Для ознакомления поработаете несколько месяцев в порту, а потом в путь.

— Куда? — восклицает Максимов.

— Рейсы самые разные — Индия, Аргентина, есть и поближе — Лондон, Антверпен, Гавр. Ну?

— Согласен! — одновременно выпаливают Максимов и Карпов. Остальные задумываются.

— Полная декартификация, — говорит Зеленин, — это же полная декартификация, ребята!

— Ошибаетесь, — обидчиво возражает человек. — На судне надо быть знающим и решительным врачом. Возможны всякие случайности. Недавно один наш врач оперировал ущемленную грыжу в штормовых условиях, в Атлантике. Представляете? Можно и научной работой заниматься. Не удивляйтесь. Чем, например, не тема для диссертации — физиология труда моряков в условиях резкой смены климатических зон? Дело непечатое. Возьметесь за него с огоньком — обещаю всестороннюю поддержку.

— Квартиру даете? — спрашивает Петр Столбов.

— На первых порах общежитие. Прописка постоянная в Ленинграде. Но в перспективе и квартира...

— Ясно. Я согласен.

Незнакомец открывает блокнот.

— Ваши фамилии, орлы? Итак, Максимов, Карпов, Столбов и... Нужен еще один.

— Зеленина запишите! — кричит Максимов и показывает кулак молчащему Сашке.

Человек уходит. Студенты молчат. Зеленин молчит и дымит. Столбов молчит, прикидывает. Максимов и Карпов молчат и остолбенело смотрят перед собой. Все! Где она, судьба Ионыча! Где сытое прозябание в деревенской глуши? Человек в драп-велюровом пальто, словно волшебник в детском спектакле, отдернул шторку, за которой открылась сверкающая водная гладь. Проплыл мираж — пальмы, небоскребы, купола, пирамиды. Вы мечтали о жизни необычайной, насыщенной, интересной? Вы думали, мечты не осуществляются? Напрасно. Получайте входные билеты и бегите в будущее, увлекательное и легкое, как кинофильм. Индия! Аргентина! Двойной оклад! Диссертация! Штормовые условия.

Вдумчивый Сема Фишер с сомнением качает головой. Он не представляет себе жизни вне больничных стен, без утренних обходов и ночных дежурств, без мучительных раздумий над историей болезни. Игорь Пироговский завидует. Амбарцумян не знает, завидовать или не стоит. «Светский человек» Генька Бондарь иронически улыбается. Костя Горькушин возмущается: дурни, полезли в экзотику. Несерьезный народ. Владька Карпов и Леха Максимов — чудилы и стилиаги, Столбов только о бизнесе думает, а Сашка-то Зеленин хорош — молчит!

Наконец Карпов произносит программную фразу:

— Мальчики, должен же кто-то бороздить мировой океан!..

ВЕТРЕННЫЙ ВЕЧЕР

Натиск весны в этом году был сокрушительным. С середины марта все потекло. Пошла работа для треста очистки. С утра до вечера улицы скоблили и подметали разные самодвижущиеся механизмы. А дворники дедов-

ским способом ухали снег с крыш, бомбардировали тротуары. Веселая бомбежка в Ленинграде! Вечером солнце, клонясь к частоколу зданий Васильевского острова, пробивало лучами вереницу троллейбусов и автомашин на Большом проспекте Петроградской. Потом небо над закатом начинало зеленеть, напоминая о лете, о пионерском лагере, о мечтах про далекие страны и странствия. В мокрых скверах появлялись парочки и шумные группы с гитарами. Начиналась весенняя ночь с треньканьем струн, с тихими возгласами, с шорохом, с хохотом, с поцелуями.

Вечером после распределения Максимов и Зеленин шли по Кировскому проспекту к Неве. Карпов исчез: видимо, побегал оповещать о радостном событии знакомых девочек.

Вот она, Нева! Над Ростральными колоннами, над Военно-Морским музеем стояла золотая, предзакатная пыль. По Дворцовой набережной, как по желобу, катились сверкающие шарики автомобилей. Приходило привычное настроение. Они любили молчаливые прогулки по Ленинграду. Кто-то сказал, что дружба — это умение молчать вдвоем. Слова были неуместны в такие минуты, когда город раскрывался перед ними, когда наступал еле уловимый миг, сближавший их с давно умершими строителями и мечтателями. Они пересекли Неву и пошли по набережной. Зеленин задумчиво засвистел. Алексей взглянул на его худое лицо под широкополой шляпой и разозлился. Молчит Сашка, насвистывает. Это зеленинское свойство всегда раздражало Алексея. Вдруг Зеленин начинает отчужденно улыбаться и насвистывать что-то свое, какой-то идиотский мотивчик. Мысль его в эти минуты блуждает по неведомым для Максимова путям.

— Все-таки это самый лучший вариант! — громко сказал Максимов.

— Что? — вздрогнул Зеленин.

— Самый лучший вариант распределения. И для тебя тоже. Я же вижу, что тебе до смерти не хочется покидать Питер. А так между рейсами будешь бывать здесь. Не забудь завтра напомнить о себе начальнику.

— Да-да, — отозвался Зеленин, — непременно, обязательно, бесповоротно.

«Вот тебе и экзамен наших душ»,— удовлетворенно подумал Максимов.

— Постоим?

— Давай.

Они оперлись на парапет и стали смотреть на реку, во многих местах которой возникали сейчас багровые сияния. Ветер с Балтики пахал воду. Спустя некоторое время Максимов стал оборачиваться на проходящих девушек.

— Черт побери, сколько хорошеньких!

— Да-да,— весело воскликнул Зеленин,— хочется танцевать со всеми!

— Это нетрудно сделать. Хлопнем по бутылочке «777», и тебе покажется, что ты танцуешь с женщинами всего мира. Гарантирую полный фестиваль! Так пойдем, выпьем?

— За океан, за паруса, наполненные ветром? — спросил Зеленин.

— За котлы и турбины,— усмехнулся Максимов.

— Нет, именно за паруса. Знаешь, когда я думаю о море, я слышу увертюру к «Детям капитана Гранта». Какая гениальная музыка!

— Довольно, хватит! — оборвал его Максимов.— Пошли.

Они повернулись и увидели, что на них смотрят двое: кругленький, толстенький инвалид с костылем в правой руке и высокий обтрепанный мужчина. Оба основательно навеселе.

— Подожди, Миша,— сказал инвалид и обратился к ребятам: — Разрешите нарушить ваше уединение?

— Пожалуйста. Что вам угодно? — сказал Зеленин.

Инвалид скользнул нетвердым взглядом, и на его лице появилась добрая пьяная улыбка.

— Мне угодно задать вам ряд вопросов. Вы на вид культурные ребята — по одежде и вообще. Студенты? А я человек с незаконченным высшим образованием. Война помешала закончить. Егоров моя фамилия, Сергей Егоров.— Зажав костыль под мышкой, он протянул Максиму руку и воскликнул: — Чем вы живете? Вот вы, молодежь? Куда клонится индекс, точнее индиффе-

рент ваших посягательств? Мы в вашем возрасте знали, что делать, мы насмерть стояли.

— А сейчас больше по этому делу? — Алексей щелкнул себя по горлу.

Инвалид вскинул голову и неожиданно ясным взглядом впился ему в глаза.

— Мы, фронтовики, и сейчас знаем, что делать, а вы, видно, только по Невскому можете шмалять, и ничего больше.

— Это мы-то?

— Ну да, вот такие, как вы, типчики!

— Отваливайте, Егоров, гуляйте! Мы вас не знаем.

Максимова разобрала злость. Он взял инвалида за плечи и стал осторожно поворачивать.

— Руки прочь! — раздался грозный окрик высокого мужчины. У него было костлявое лицо, скошенное кислотой гримасой, словно во рту он держал ломтик лимона. Он обнял Егорова и зашептал: — Сережа, с кем ты связался, это же мразь, пижонство! А еще оскорбляют героя войны. Вот, друзья, полюбуйте, — обратился он к остановившимся прохожим: — Два ничтожных пижона оскорбляют инвалида войны...

— Мы не пижоны! — воскликнул Зеленин. — И мы не оскорбляли его.

— ...Инвалида войны, который за них кровь проливал, отдал свою правую ногу. При мне ему миной оторвало ногу в сорок первом под Ростовом. Помнишь, Серега, друг ты мой тяжкий, помнишь окопчик тот? Ты с ПТР лежал, а я с автоматом шагах в десяти. Тут как раз и ахнуло. Потом танки пошли.

— Танков я уж не помню, — сказал Егоров.

Вокруг молча стояли люди. Максимов подмигнул Зеленину и деланно рассмеялся:

— Бойцы вспоминают минувшие дни, а ногу, наверное, отрезало трамваем. Заснул в пьяном виде на рельсах...

Он осекся. Высокий молча смотрел на него. Он словно проглотил наконец свой ломтик лимона, — лицо пересекли большие спокойные морщины, и только в глазах Алексей увидел презрение. Жгучее, незабываемое презрение. Алексей выдвинул плечо вперед. Неожидан-

но сзади кто-то взял его под локоть: полковник авиации.

— Вы, ребята, не глумитесь над этим. Бойцам не грех вспомнить минувшие дни. И ты, друг, зря так: не знаешь людей, а называешь пижонами.

— Мы не пижоны, мы врачи.— Зеленин попытался сказать это с достоинством, но голос его дрогнул.

— Что ты оправдываешься? — резко бросил Максимов.— Пойдем.

Они ходили по набережной до темноты, дошли до моста Лейтенанта Шмидта и вернулись обратно. Сильный ветер устроил на воде пляску световых пятен. Пятна плясали каждое что-то свое, прыгали вдоль берега, словно боялись рвануться в сплошную мглу, к темному массиву Петропавловки. Максимов и Зеленин подняли воротники.

— В этой истории, конечно, виноват я,— сказал Максимов.— Зря я подковырнул инвалида. Алкоголики на такие штуки реагируют остро.

— Почему ты решил, что они алкоголики? Может быть, просто отмечали какое-нибудь событие.

— Нормальные люди не лезут в душу к незнакомым.

— А помнишь, у Уолта Уитмена? «Если в толпе ты увидишь человека и тебе захочется остановиться и поговорить с ним, почему бы тебе не остановиться и не поговорить с ним?» Знаешь, я очень ярко представил себе, как они лежали в этом окопчике под Ростовом. Им тогда было столько же лет, сколько нам сейчас, им хотелось жить, не хотелось терять конечности, а они лежали и стреляли— и не помышляли о бегстве. Не думаю я, что эта стойкость шла у них только от храбрости или подчинения дисциплине. Должно быть, они чувствовали свой долг перед всеми поколениями русских людей и свою ответственность за грядущие поколения. А наше поколение, как ты думаешь, способно на подвиг, на жертвы?

— Жертвенность? Вздор! Дикое слово! Что мы, язычники?

— Ну не жертвенность, так долг. Это тебе понятно?

— Обязанность?

— Нет, братец, именно долг, наш гражданский долг. Чувство своего окопчика.

У Максимова погасла сигарета. Никак не мог раскурить ее на ветру. Возился со спичками и говорил сквозь зубы:

— Ух, как мне это надоело! Вся эта трепология, все эти высокие словеса. Их произносит великое множество прекрасных идеалистов вроде тебя, но и тысячи мерзавцев тоже. Наверное, и Берия пользовался ими, когда обманывал партию. Сейчас, когда нам многое стало известно, они стали мишурой. Давай обойдемся без трепотни. Я люблю свою страну, свой строй и не задумываясь отдаю за это руку, ногу, жизнь, но я в ответе только перед своей совестью, а не перед какими-то словесными фетишами. Они только мешают видеть реальную жизнь. Понятно?

Зеленин с силой ударил кулаком по граниту и вроде не почувствовал боли.

— Ты неправ, Алешка! Мы в ответе не только перед своей совестью, но и перед всеми людьми, перед теми с Сенатской площади, и перед теми с Марсового поля, и перед современниками, и перед будущими особенно. А высокие слова? Нам открыли глаза на то, что мешало идти вперед,— так надо радоваться этому, а не нудить, как ты. Теперь мы смотрим ясно на вещи и никому не позволим спекулировать тем, что для нас свято.

Максимов наконец сделал глубокую затяжку и сказал непонятно:

— Да, рыцарь, ты мудр!

...Двое стоят, подняв воротники, на ветру. Им пока не много лет, и временами они чувствуют себя совсем мальчишками, но временами в хаосе весеннего разлива они оглядываются назад и смотрят по сторонам и вперед, смотрят вперед, выискивая тропу.

ГЛАВА II

ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ

— Дикари!

— Голуба, врежь длинного!

— Сделай из него клоуна! Да сделай же клоуна из него! Эх, мазила!

Крики болельщиков не помогали. Команда «дикарей» — Лешка Максимов, Саша Зеленин и другие — с позорным счетом обыгрывала волейболистов дома отдыха «Обувщик». Максимов откинул мяч Зеленину. Тот взмыл в воздух и сильно ударил в первую линию. Удар закончил игру. Конечно, у Сашки упали очки. Они падали у него почти после каждого прыжка, но сейчас ему казалось, что так и должно быть после столь блестящего удара — и лица расплывчаты, и кроны лип слегка набекрень. Максимов хлопнул его по спине:

— Молодец, Сашка!

— Где, где, где? — забормотал Зеленин.

— Эта блондиночка?

— Да. Где же она?

— Собери свои диоптрии и увидишь.

Стройная девушка в узких серых брючках стояла под елкой. Поймав растерянный Сашкин взгляд, она расхохоталась и пошла прочь, ведя сбоку гоночный велосипед. Максимов печально пропел:

— Среди шумного матча случайно...

— Верно! — воскликнул Саша. — Ты угадал мое настроение. Это она, она!..

— Но ты, к сожалению, не во фраке и грязноват, — проворчал Максимов. — Идем купаться.

Пляж был пуст. Даже самые одержимые ныряльщики разошлись по дачам. Друзья прошли на самый край мола и постояли там, не в силах оторвать взгляда от заката. Солнце, как купол сказочного дворца, поднялось над сверкающим горизонтом. Через все море, словно след от удара бичом, тянулась красная дрожжащая полоса.

— Вредное зрелище — закат, — сказал Максимов.

— А по-моему, прекрасное.

— А по-моему, вредное. Утрачивается уверенность — вот в чем штука. Кажется, что за горизонтом раскинулась прекрасная неведомая страна, где говорят на высоких тонах и все взволнованны и очень счастливы. Но на самом-то деле ее нет.

— Поплыли, проверим?

Они разом бросились в воду. Плыли кролем по солнечной полосе. Брызги, слетавшие с рук, казались кап-

лями вишневого сиропа. Максимов оглянулся и обвел глазами хвойную дугу Карельского перешейка, окаймленную снизу желтой полоской пляжей. Это был теплый берег, где в этот час тысячи людей готовили ужин.

— О-го-го! О, радость бытия! — заголосил Алексей.

Рядом вынырнул Сашка с вытаращенными глазами и открытым ртом.

— Рубины из сказочной страны! — крикнул он, ударя ладонью по воде.

Они вернулись к молу и уселись на железной лестнице.

— Через два дня выходить на работу, а Владька еще не вернулся, — сказал Алексей.

Саша вздохнул:

— А мне послезавтра двигаться в свою Тьмутаркань. Последние каникулы, прощайте. Грустно!..

— Да не ездят ты туда.

— Как это так?

— А так. Папа Зеленин надевает черную тройку, идет в горздравотдел, идет туда, звонит сюда — и дело в шляпе. Неделя угрызений совести в высокоидейном семействе, а потом жизнь продолжается. Вот и все.

— Не пори чепухи, Алешка.

— Тебе очень хочется уехать?

— Нет! — сердито отрезал Зеленин.

— Еще бы! Ведь ты горожанин до мозга костей, потомственный интеллигентик. Вот Косте Горькушину везде будет хорошо...

— Костя мечтал о своей Волге, а уехал в Якутию.

— Потому что в Якутии двойные оклады и надбавка.

— Нет, не поэтому, — твердо сказал Зеленин.

Максимов повернулся к другу. Тот сидел на железной ступеньке, по пояс высываясь из воды, белесый, тощий и вдохновенный.

— Мальчик, вернись на землю. Да-да, на земле существуют оклады, простые и двойные, и, кроме того, прописка. Уезжающим в Якутию хоть прописка бронируется. Ты говоришь, что место судового врача перехватили, но Якутия-то осталась!

— Прописка — не приписка. Почему я должен дрожать над ней? Это меня унижает.

— Ну хорошо. Ты же знаешь, что я не только это имел в виду. Ты же будешь в медвежьей дыре, в глухомани, хотя и недалеко от Ленинграда. Якутия все-таки экзотика, просторы...

— Я тебе правду скажу. Никто у меня места не перехватывал. Просто на распределении я услышал, что в этом поселке два года не было врача, и попросил туда назначение.

— Bravo! — воскликнул Максимов. — Твое имя запишут золотом в анналах...

— Сутки езды от Ленинграда, и нет врача — позор! Поехать туда — это мой гражданский долг.

Максимов не понимал, зачем это он затеял такой разговор напоследок, но что-то его подмывало перечить Сашке.

— Иди к черту! — сказал он. — Противно слушать! Тоже мне ортодокс нашелся!

— Не глумись, Алешка. Помнишь, мы с тобой говорили о цене высоких слов? Я много думал об этом и...

— Я тоже думал и понял, что все блеф. Есть жизнь, сложенная из полированных словесных булыжников, и есть настоящая, где герои скандалят на улицах, а романтически настроенные девицы ложатся в постели к преуспевающим джентльменам. А сколько вокруг жуликов и пролаз! Они будут хихикать за твоей спиной и делать свои дела. Мое кредо — быть честным, но и не давать себя облапошить, не попадаться на удочку идеализма.

— А ведь когда-то, Алешка, ты мечтал о настоящей жизни, о борьбе!

— Это и есть борьба, борьба за свое место под солнцем.

— А о других ты не думаешь?

— Опять ты за свое? Опять о предках и потомках?

— Да, о них.

— А что я, Алексей Максимов, могу для них сделать?

— Продолжать дело предков во имя потомков. Мы все — звенья одной цепи.

— А самому сейчас не жить? Я не знаю вообще, что будет после моей смерти. Может быть, ни черта? Может, этот мир только мой сон?

— Дурак! Позер! — отчаянно закричал Зеленин. — Твой солипсизм гроша ломаного не стоит.

В этот момент им показалось, что в море, в метре от них, врезался метеорит. Обрушился столб воды. Когда разошлись круги, в глубине они увидели извивающееся тело.

— Морду надо бить за такие штучки! — сказал Максимов.

Показалась красная шапочка, лицо, бронзовые плечи.

— Владька! — ахнули оба.

Владька подплыл и вылез на мол. Он был красив, мулатоподобный южанин Карпов. Мускулы его играли под глянцевитой кожей, как рыбы. От ослепительной улыбки веяло плакатной свежестью.

— Спорт и джем полезны всем! — крикнул Максимов.

— Ф-фу, коллеги, вы все такие же, — шумно дыша, сказал Владька.

— Как отдохнул?

— Железно. А вы?

— Неплохо.

— Сашка что-то бледный.

— Забыл? Саша у нас всегда бледный. Тревожная душа, высокие порывы! А тут еще любовь поразила его накануне свершения гражданского подвига.

— Любовь? — воскликнул Карпов. — Эх, братцы, что за встреча была у меня в Одессе с одной актрисой!

Максимов охнул и умоляюще воздел руки. Нельзя же сразу начинать все сначала! Эти рассказы о Владькиных «встречах» сидят у Алексея вот где! Карпов сказал «ша» и попросил Зеленина рассказать о его «встрече». Но Саша, ворча, искал очки в куче одежды. Максимов мечтательно повел рукой:

— Встреча была мимолетна, как дуновение... м-м... вечно у меня осечка с этими дуновениями.

— Как дуновение летнего ветерка, — буркнул Зеленин.

— Вот-вот, очень свежее сравнение. Она приехала на гоночном велосипеде посмотреть нашу богатырскую схватку с обувщиками. А потом уехала. Не горюй, рыцарь, сегодня мы увидим ее на танцах.

— Ее на танцах? Лопух!

— Пари?

— Давай разниму! — воскликнул Владька.

В сумерках они шагают по шоссе. Как всегда, в ногу. Над курортным районом динамики разносят ухарский голос и торопливое бормотание гитары. В то лето по всему побережью победоносно, как эпидемия, прошел «Мишка, где твоя улыбка?».

Максимов орет:

— Я сойду с ума! Автора бы мне, автора бы!

— Шире шаг! — командует Карпов. — Шумно в строю!

«Все в порядке, — думает Максимов. — Мы шутим. Мы вместе идем на танцы. Нам девятнадцать лет. Эге, уже не то: каждому по двадцать четыре. И в последний раз так, вместе...»

По сторонам, где редет лес, мелькают огни дач. Трое идут, как всегда, как и раньше, оставляя за спиной картинки постороннего тихого быта. Какая-то решимость сквозит в их движениях. Откуда она? Да нет, просто они идут на танцульки, просто приподнятое настроение, просто каждому всего двадцать четыре года.

Четыре лампы освещали центр танцплощадки и делали ее похожей на боксерский ринг. Ребята остановились в углу, у входа. Неожиданно сзади близко послышалось урчание мотора. Вплотную к площадке подъехала «Победа». Из нее вылезли Генька Бондарь и та самая блондинка, «мимолетное виденье». Поднялись на площадку.

— Батюшки, — ахнул Максимов, — вот тебе и дуновение!

«Светский человек» засмеялся и помахал рукой:

— Пардон за серость. Привет, мушкетеры! Зеленин, привет!

— Вот они, твои иллюзии, — сказал Максимов Зеленину.

— Да-да, — прошептал Зеленин, — что ж...

— Как заиграют вальс, сразу же приглашай. Генька вальсов не танцует принципиально, — зашептал Карпов.

— Не буду, не хочу, — буркнул Саша, сошел с площадки и сел рядом в тени. Посмотрел на звезды и закурил. «Мимолетное виденье», — подумал он. — При-

ехала с Генькой. Конечно, у него машина — это много значит. Владька красавец, Алешка тоже недурен. А я? Рыцарь печального образа. Но там, на матче, она смотрела как-то особенно. Не обольщайся. Ты слишком неуразен. Очкарик».

Когда он вернулся, все было так, как он и предполагал. Карпов с девушкой кружился в вальсе, а Максимов стоял у перил и издевался над помрачневшим Бондарем:

— Еще все впереди, мальчик. Выше голову. «Мерседес» урчит у подъезда.

Музыка смолкла. Сквозь толпу к ним пробирались смеющаяся девушка и Карпов. На девушке было светлое платье, узкое в талии, а книзу колоколом. Зеленин впервые видел такое платье.

— Инна, знакомься с моими друзьями.

Вот ведь что за парень! Уже узнал имя, уже на «ты». Даже неприятно. Ведь любит-то он только Веру Веселину.

— Алексей Максимов.

— Александр Зеленин.

— А меня зовут Евгений, — сказал Бондарь.

— Это еще что? Разве вы не знакомы? Разве вы в детстве не строили вместе песочные башни?

— Нет, — сказала Инна, — просто Евгений предложил меня подвезти.

— Великолепно! — захохотал Максимов. — Бондарь на пути к исправлению. Доверие — это все.

— Разве я рисковала? — улыбнулась Инна.

В репродукторе что-то загудело, что-то лопнуло, и потекла изломанная мелодия танго «Кампарасита».

— Пойдем, что ли? — с жалкой развязностью сказал Бондарь.

Владька многозначительно улыбнулся, Максимов щелкнул каблуками.

— Нет уж, простите, — сказал Зеленин и решительно взял девушку за локоть. Она подняла на него изумленные глаза и пошла вперед, в гущу танцующих. «Что со мной? — подумал Зеленин. — Что со мной происходит?» Синие, темные, как весенние сумерки, глаза смотрели на него вопросительно и ободряюще, смотрели хорошо.

Он начал говорить и говорил без умолку, словно боялся, что молчание спугнет девушку. Они кружились, топтались в толпе, смотрели друг на друга, и лишь иногда в поле их зрения попадали громадные ели, уходящие в звездное небо, и лишь иногда сквозь парфюмерные испарения толпы прорывался к ним таинственный ветер залива, и лишь иногда они понимали особое значение этих минут. Они танцевали танец за танцем, а потом спустились с площадки и исчезли.

— Все в порядке у Сашки. Каков рыцарь, а? — удовлетворенно сказал Алексей.

Они с Владькой сидели на перилах танцплощадки. Максимов развлекался, представляя себе Зеленина в этот момент.

— Пироговский еще в Комарове? — спросил Владька.

— Да, там еще. Мы к нему ездили несколько раз.

— Ну и как? — взволновался Карпов.

— А что? Играли в пинг-понг.

Жалко Владьку. Ни юг, ни «встреча» с актрисой не помогли ему забыть Веру. И сейчас эти жалкие маневры. Хочет спросить и не решается.

— Да, там была Вера. С мужем, конечно... Нет, не болтал... Ну ее!

— А тебе-то что? — сухо сказал Владька.

Правда, ему-то что? Какое дело Максиму до того, что Вера ушла из Владькиной жизни? Он-то ведь к ней равнодушен. Есть девчонки и красивее и искреннее. Какое ему до всего до этого дело?

— Как ты думаешь, — спросил Владька тоскливо, — неужели она вышла замуж только из-за распределения?

— Не думаю.

— Может быть, ты думаешь, что она любит этого?

— Все может быть. Или увлекла идея научного сотрудничества. Мария Скловская и Пьер Кюри... Верочка способна на такие параллели. А ведь ты в этом смысле парень бесперспективный.

— Ты так думаешь? — вскинулся Карпов.

— Это она так думает. Вернее, я думаю, что она так думает.

— Э, тебе бы только...

В первом часу ночи они лежали на даче в темноте

и курили, когда воровато закрипела лестница под окном и на фоне глубокого прозрачного неба появился контур Зеленина. Звездный свет блестел в его очках.

— Те же и Дон-Жуан! — проворчал Максимов.

— Какая девушка! Ах, какая девушка! — сказал Зеленин, не слезая с окна.

— Ложись спать, Паниковский!

— Целовались? — спросил Владька, пытаюсь скрыть зависть.

— С ума сошел! В день первой встречи? Мы говорили. О многом, обо всем. Но, увы, она москвичка и учится в МГУ, а я уезжаю в Круглогорье. Увы!

ПРОВОДЫ

Папа и мама Зеленины стояли возле своего сына. Чрезмерно вежливые и несколько чопорные, они были не к месту здесь, на дебаркадере речной пристани, в суматошной толпе.

— Помни, сын... — сказал папа.

— Да-да...

— Сашенька, сразу же сообщи, как устроишь свой быт. Быт — это все-таки очень важно, — с апломбом, маскирующим ее смятение, сказала мама.

Чуть поодаль стояли друзья. Молчали, грустные.

Инна появилась уже на палубе теплохода.

Зеленин с бессознательным интересом смотрел, как лавирует в толпе стройная девушка в синем свитере. Вдруг в глазах у нее метнулись искорки радости, она разлетелась к Саше и остановилась в замешательстве при виде родителей. Владька и Алексей поспешили к ней на выручку.

— Сейчас Саша подойдет, — сказал Владька, — только выслушает последние наставления.

— И получит пузырек с бальзамом, — сказал Максимов.

— И энное количество экю, — подхватила Инна.

Ребята невесело рассмеялись. Инна почувствовала, что они приняли ее в свою компанию. Ей нравились эти ребята, и она отлично понимала их юмор и грусть. Но

сейчас они грустят, а она радуется. Для нее проводы — только начало истории с этим смешным Сашей.

— Как видите, ребята,— сказал, подойдя, Зеленин,— я раньше вас всех ухожу в плавание.

— Мы к тебе приедем кататься на лыжах,— сказал Карпов.— Говорят, там прекрасные места для катания на лыжах.

— Ой, верно! — обрадовалась Инна.— Давайте поедем туда на каникулы!

— У нас уже не будет каникул,— сказал Максимов,— а в это время мы будем в штормовых условиях писать диссертации.

— Инна, я позвоню вам в Москву,— сказал Зеленин. Раздался первый утробный гудок теплохода.

Дебаркадер покачивался, и оставшимся казалось, что они сейчас тоже тронутся в путь в кильватере теплохода.

— Сашенька, питайся рационально! — кричала мама.— Умоляю тебя, питайся рационально!

Она разрыдалась. Папа, смущенный, тронул ее за плечо:

— Помнишь, как сказано: мальчик создан, чтобы плавать, мама — чтобы ждать.

Инна смотрела во все глаза, а ребята пели институтский гимн. Они были уверены, что Зеленин на корме сейчас поет то же самое.

Зеленин на корме пел и думал: «Она все-таки пришла на пристань, хотя и обещала так, вскользь. Прощайте, ребята, прощайте! Какие вы хорошие, ребята! Да, мамочка, я буду питаться рационально. Да, папа, да...»

Теплоход, словно высеченный из глыбы белого мрамора, постоял немного на середине реки, а потом быстро ушел на восток, в сумерки.

За спиной у Инны смущенно кашлянули.

— Простите,— сказал папа Зеленин,— мы бы хотели познакомиться с вами.

В этот вечер предстояли еще одни проводы. С Московского вокзала отбивала группа «якутян». Они стояли возле вагона, Клара, Костя Горькушин, Амбарцумян, Сема Фишер и другие, все в прорезиненных куртках и тяжелых ботинках, члены туристской секции, мало похо-

жие на докторов. Пели институтский гимн. Думали о дороге и о том, что ждет их там, где дорога кончится. Кричали провожающим:

— Эй, мы все в кадре? Я в кадре?

— Смешно,— сказал Максимов,— всех провожаем мы, уезжающие дальше всех.

В Фонтанке расплывались маслянистые световые пятна. Шум с Невского долетал сюда то сплошным нарастающим гулом, то рвался частыми нелепыми синкопами. Карпов сплюнул в Фонтанку.

— Ох, жалко Сашку,— вздохнул он.

— Эх, хрыч! — прикрикнул Максимов.— Перестань его отпевать! Эка невидаль — поехал человек по распределению! Вернется скоро. Наберется ума, чертяка длинный.

— А мы?

— Что мы? Мы тоже по распределению. Только нам повезло, и все.

— Ты уверен, что мы не струсили?

— Давай-ка без загибов, Владька.

— Понимаешь...— Карпов был серьезен.— Как будто все в порядке, и совесть и логика, но иногда мне кажется, что прошмыгнул в кино по билету с оторванным контролем. Что-то очень уж ослепительно выходит.

— Посмотри, какие девочки,— сказал Максимов.

— Где? — встрепнулся Владька.— Ого! Вот это да! Блеск! Привет, девочки. Вы куда? И мы туда же. Пошли, Макс.

ФАНФАРЫ МОЛЧАЛИ

Первый день работы. Первый день трудовой деятельности. Первый день самостоятельной жизни. Обычный жаркий августовский день. Не гремели фанфары с небес, и даже тучные, усталые деревья не шелохнулись. Начался этот день с аудиенции у начальника.

Максимов, Карпов и Петр Столбов сидят на диване. Черное клеенчатое великолепие кабинета несколько подавляет их. Начальник за столом выглядит иначе, чем на распределении. Он строг, суховат.

— Трудности неизбежны,— говорит он.— Я говорю

это вам для того, чтобы вы не настраивались на легкую жизнь, а потом не хныкали и не помышляли об уходе. Нам нужен крепкий кадровый костяк, а не гастролеры.

Начальник вырывает лист из блокнота, что-то пишет.

— Пока я откомандировываю вас в распоряжение санитарно-карантинного отдела. Там у меня опытные специалисты. Они познакомят вас с санитарной техникой судов и с нашими гигиеническими установками. Что? Хотите заниматься хирургией? Никаких совместительств! Это мне не нравится, товарищ Карпов. Как лечебники вы не снизите квалификацию. Вы сможете периодически повышать ее в нашей клинической больнице. Но главное в морской медицине — про-фи-лак-тика. Ясно? Ну вот. Сейчас идите в отдел кадров заполнять выездные дела. Анкеты, пожалуйста, пишите четко — папа, мама и тэ дэ. Бабушек сейчас вспоминать не нужно. Жить будете в порту, на Карантинной станции. Отправляйтесь, друзья, и за работу.

Анкеты, автобиографии, справки и характеристики, разговоры в бухгалтерии, звонки по телефону, знакомства, рукопожатия, и вот рабочий день кончается. Максимов, Карпов и Петр Столбов идут к порту. Жарко. В середине августа всегда жарко.

ПОРТ

Возле главных ворот боец охраны объяснил им:

— Идите, сынки, все время прямо до холодильника. Свернете налево, в Лесную гавань. Дойдете до Частой Пилы и топайте по ней все время прямо до самого до желтого дома. Это и есть «карантинка». Далеко ли? Да километров пять с гаком будет.

— Весело было нам! — крикнул Петя Столбов. — Ну, пошли.

— Идите, сынки, идите, — хихикнул старый боец. — Протрясетесь как следует, аппетит будет отменный, — правда, жрать-то там нечего.

— Не ехидничай, папаша Цербер, — хлопнул его по плечу Максимов. — Оревуар!

— Гуд бай,— неожиданно сказал старик.

Максимов и Карпов переглянулись. Заморское слово в устах усатого сторожа как бы возвестило о том, что в эту минуту они вступают в особенный уголок земли, доступный голосам фантастически далеких стран, что сейчас они пойдут по последним бетонированным выступам суши, пойдут по территории порта, где хлопают флаги разных наций, где всерьез звучат слова из детских книжек: «Трави конец! Самый малый! Вира! Майна! Каррамба! Доннерветтер!»

Навстречу идут люди в кителях, спецовках, пиджаках. Нет ли среди них кого-нибудь в ботфортах, с кортиком и с пистолетами за поясом? Нет, обычный рабочий люд идет вдоль серых складских строений. И вдруг над крышей возникают мачты парусного корабля. За складами, оказывается, скрываются причалы. А дальше уже небо повисает на высоких распорках порталных кранов и мачт. Все гуще закипает вокруг портовая жизнь. Здесь нет светофоров — посматривай! В метре от ребят с бешеным жестоким грохотом проходит железнодорожный состав. «Эй, с дороги, так вашу и не так!» Крутятся коротышки автопогрузчики, бегают мужчины в кителях, неторопливо, но так же сокрушительно, как паровозы, передвигаются фигуры грузчиков. Максимов, Карпов и Столбов оказались в самом центре погрузочных работ. Из-за угла холодильника выдвигается и растет белоснежная громадина.

— Что за пароход? — спрашивает Максимов проходящего грузчика.

— Пароход! — ухмыляется тот. — Це дизель-электроход «Балтика», юноша. Регулярный лайнер: Ленинград — Лондон.

«Балтика» идет мимо них, посвечивая зеркальным стеклом, чуть-чуть дымя конической трубой, гудя непонятным на расстоянии радиоголосом. На палубе стоят заграничные люди в темных очках, помахивают. Прямо из Лондона, из туманного Лондона!

Мыс Частая Пила назван так потому, что он весь с обеих сторон изрезан геометрически правильными пожарными водоемами. Здесь просторно и свежо, в воздухе бродят волны приятных запахов. То пахнет сосна-

ми от штабелей досок, то прелью от песка, покрытого зеленой морской плесенью. Вокруг расстилается темно-голубой морщинистый плац Малого Баржевого бассейна. Визгливо галдят чайки, кружащие над плотами.

На конце мыса стоит желтый трехэтажный дом с башней. Это «карантинка». Периодически здание это используется как гостиница для репатриантов и экипажей судов, встающих на дезобработку, но большую часть года постоянными его обитателями являются голуби на чердаке, сквозняки и шорохи на всех трех этажах. В четырех комнатах башни находится дежурная карантинная служба. Ночью дом высится, покинутый и одинокий. Огни порта проплывают в его темных окнах, страшновато гремит под взмахами ветра одряхлевшая кровля.

Максимов и Карпов поселились в угловой комнате. Одно громадное окно смотрело на запад, два других на юг. Только узкие простенки прерывали сплошную линию стекла. Не вставая с постели, можно было наблюдать работу кранов на Западной дамбе и Кирпичном молу, движение судов на рейде. Столбов презрительно заявил, что это не комната, а бутылка. Без пробки к тому же.

— Тут же ветер гуляет. Вот посмеюсь, когда услышу стук ваших костей!

— Идем на жертвы, Петечка, ради природной тяги к водному пространству,— сказал Карпов.

— Если ты за сероводород, Столб, то мы за озон,— добавил Максимов.

Столбов чертыхнулся и отправился искать себе теплую комнату. Мало кто в институте понимал этого парня, Петю Столбова. Он был расчетлив, давал деньги взаймы и строго взыскивал долги в назначенный срок, аккуратно записывал все лекции, прилично сдавал экзамены, горделиво отрывивал после еды, оглушительно храпел, временами напивался и грубо приставал к девочкам.

— Зачем тебе, Столб, вторая сигнальная система? — допытывался в такие моменты Максимов.— Тебе бы лапы подлинней, шерсти побольше, и качался бы ты спо-

койно в джунглях, не испытывая потребности в высшем образовании.

Столбов лениво отругивался.

Максимов пошел в кладовую за чайником. Кладовщица сидела за столом. К уху ее опереточным соблазнителем склонился Карпов. Он небрежно кивнул Максиму:

— Забирай обстановку, Макс.

«Бутылка» приобрела обжитой вид. Два письменных стола, отделанные полированной фанерой, и приемник «Нева» придавали ей комфорт. Роскошное Владькино одеяло и настольная лампа создавали уют. Картина «Мишки в лесу» вносила в быт успокоительное ощущение близких перемен. На стены были брошены текущие лозунги: «Больше Баха, меньше джаза» и «Работай над обменом своих веществ».

По ночам в комнате ходили пятна света. Луна, прожекторы, топовые огни судов, зарницы электросварки, багровый султан завода сплетали свои лучи и создавали таинственное брожение портовой ночи. В окно густым клином входил пахучий портовый воздух. Мерный далекий гул, отрывистые гудки, переплеск волн — это был звуковой фон ночи. Алексей обычно долго лежал на спине и созерцал звезды. Сейчас он чуть иронически относился к своему страху перед этим зрелищем, когда начинала кружиться голова и терялось ощущение своего «я». Это началось еще давно, в детстве. Когда лежишь на крыше или в траве лицом к звездам, внезапно содрогаешься от ощущения, что вот-вот, еще миг, и ты превратишься в пылинку, растворишься в ошеломляющем звездном мире, перестанешь существовать. Уже тогда он нашел уловку — потрянуть головой и вспомнить о чем-нибудь простом (о задачках по арифметике или о Рыжем с «того двора») — и смутно догадался, что в этом и заключается высокое мужество человека. А сейчас? Сейчас не было страха. Ясно, не все пойдет гладко, но ночью, глядя на звезды, он улыбался, и ему казалось, что койка, тихо покачиваясь, летит в какие-то теплые, жизнотворные глубины.

Утро. Ишачьи вопли «грязнух», паровых шаланд, вывозящих донный ил, добытый землечерпалкой. Грохот

и скрежет земснаряда. Вот это марш! Максимов и Карпов вскакивают. Начинается работа над обменом веществ. Пол содрогается от прыжков. В воздухе вращаются гантели и утюги. Свежие, выбритые друзья поднимаются в служебные помещения. Карпов сразу бросается с бинноклем на балкон.

— Кто сегодня на подходе, Тamarочка? — кричит он телефонистке.

— На подходе германский «Хапаранда», польский «Гливице», один англичанин, очень трудное название, и два наших — «Белосток» и буксир «Котельщик» с лихтером «Двина», — будничной скороговоркой отвечает Тамара, не подозревая, какой музыкой отдаются эти слова в ушах ребят. Все здесь нравится Карпову: и панорама, и чайки, прорезающие воздух, и сам воздух, настоящий на водорослях, на угле, на сосне и железе. Владька вырос в рыбацком поселке на берегу моря. Сейчас в нем всколыхнулось забытое ощущение беспричинного счастья. И Максиму тоже здесь нравится. Катер летит прямо в слепящий солнечный блеск, словно стремится расплавиться, лавирует у подножия гигантов, пришедших из дальних морей. И мы будем плавать на них!

Работа. Обследование судов, проверка камбуза и санитарных книжек, акт под копируку — скучная процедура. Но зато потом снова на катер!

К причалу бегут женщины. Бегут молча в одном темпе, как взвод солдат на учении. Бегут встречать теплоход, который не был на родине полгода. Приближается борт теплохода, и женщины стоят на причале, толстые тетki и изящные модницы, разные женщины, связанные одной судьбой, — морячки. А на борту теплохода мужья только молча странновато улыбаются. Кажется, они не верят, что это реальность, что вон там, в двадцати метрах, стоят женщины, народившие им детей, подарившие им любовь. Это неизбежные минуты смутного анализа нахлынувших чувств, а потом уже начинаются крики, смех, беготня по трапу, поцелуи.

За пять дней теплоход разгрузился, погрузился снова и вечером ушел в Индию. Наблюдая его темную массу, растворяющуюся в сумерках, Максимов представил се-

бе женщин на причале с платочками у горестных глаз, подернутых пеленой похмелья.

— Верное средство от пресыщения,— сказал он Владьке.— Вот как надо жениться, чтобы чувства были натянуты, как струна, чтоб о встрече мечтать полгода, чтоб о жене думать, как о прекрасной любовнице...

— А по-моему,— тихо сказал Карпов,— это единственное, что может отпугнуть от моря. Если бы я... если бы мы с ней... Как ты думаешь, был бы я здесь?

Максимов твердо посмотрел ему в глаза и промолчал. Лишний раз он понял, что образ Веры прочно связан для Владьки с сентиментальным понятием о «настоящей любви». Удивительное дело! Владька — легкий, веселый малый, красавец, атлет. Кажется, несется человек по жизни, хохоча от удовольствия. Собственно, так он и есть. Может, раньше чахли из-за обманутой любви, а Владька по-прежнему наращивает мускулы, носит яркие галстуки, целует девушек. Мало кто относится к нему серьезно, мало кто знает о двух его страстях. Вера и Хирургия. Владька давно мечтает о Большой Хирургии, о работе в знаменитой на весь мир клинике. Все это кончилось нелепым провалом. Он потерял все сразу.

Максимов тряхнул головой. Ему было неприятно вспоминать подробности, потому что Владька был ему дорог. Ладно, что было, то прошло. Кажется, сейчас хирургия вытесняется морскими путешествиями, а Вера... что ж, время залечит и это. Время все лечит. Понял, Максимов?

Они стояли возле окна в коридоре «карантинки». Немного неприятно было чувствовать за спиной скрипучую пустоту большого дома. Вдруг на лестнице затопали шаги, и в коридоре появился невысокий человек в синем макинтоше, морской фуражке и с чемоданом.

— Хелло! — сказал он.— Мальчики, где здесь свободная каюта?

— Все судно к вашим услугам,— вежливо ответил Карпов.

Человек подошел поближе.

— Будем знакомы. Капелькин Вениамин. Летучий Голландец.

Явственно запахло водочкой. Вошедший был круглолиц, плотен. Улыбался довольно игриво и очень располагал к себе. Он пошел с ребятами в «бутылку», достал из чемодана французский коньяк «мартель» и разлил в два имеющихся стакана и в чашку для бритья.

— Будемте сами здоровы, чего желают нам наши мамы,— сказал он.

Элегантный напиток, предназначенный для смакования и причмокивания он опрокинул залпом, по-русски, и закурил «мануфактуркой», то есть понюхал рукав своего пальто. Потом он понес. Максимов и Карпов ловили каждое его слово. Капелькин поучал, делился своей житейской мудростью, рассказывал о женщинах, пароходах, спиртных напитках, коврах, отрезах, о Гамбурге, Лондоне, Бомбее, ругал нехорошими словами старпома с парохода, на котором плавал последнее время.

— Это серый человек, мальчики, серый, как штаны пожарника. Он не мог понять высокого парения моей души.

Капелькин понравился Алексею и Владьке. Им было приятно, что по соседству поселился этот «заводной» малый, оморячившийся врач, списанный с судна за то, что во время участвовавших «воспарений» стал достигать недозволённых высот.

Кончался август, но солнце продолжало безраздельно царить над Финским заливом Балтийского моря. Лишь по ночам ехидный ветерок намекал на то, что по его стопам движутся передовые отряды осени. Максимов писал письмо Зеленину:

«...Иногда я просыпаюсь с чувством, что мимо меня проходит какой-то массивный сгусток энергии. Поднимаюсь на локте и вижу: прямо под нашими окнами скользит в темноте тяжело груженное судно. Два-три огонька горят на нем, бредет по палубе какая-то фигура. Судно поворачивается кормой, кто-то чиркнул спичкой, кто-то бросил окурочок в воду. Прощай, земля, до новой встречи! Никогда я не перестану считать тебя лопухом, дорогой Сашок. Почему не сообщаешь о своих подвигах на сельской ниве? Сеешь ли разумное, доброе, вечное? Сей, милый, засевай квадратно-гнездовым методом! Серьезно, черт, пиши. Мы по тебе скучаем».

ГЛАВА III

ВДВОЕМ С ГЕНРИХОМ IV

Райздравский «Москвич» выбрался на дорогу, несколько раз моргнул красными огоньками, словно прощаясь, рванулся и сразу исчез за поворотом. В лесу, вероятно, было уже совсем темно: шофер зажег фары. Дымящееся световое облако поплыло по елкам. Вскоре скрылось и оно. Зеленин некоторое время еще смотрел на дорогу. Она белела в густых сумерках и казалась ровной и удобной. Но Зеленин уже испытал на себе ее качества и сейчас с тоской подумал, что зимой эта безобразно разбитая колея станет единственной жилкой, соединяющей Круглогорье с внешним миром, со станцией железной дороги, с районным центром, с Ленинградом. Шоссе что надо — зимой заносы, весной разливы, только летом можно благополучно отбить себе печень.

По озеру в темноте бродила электрическая жизнь: слабые светлячки барж, прожекторы буксиров, сигнальные огни тральщиков. Суда торопились уйти на север, к каналу. Темные домишки Круглогорья были для них лишь мимолетной картинкой, промелькнувшим кадром киноленты на пути из Ленинграда в Белое море. Зеленин спустился с крыльца и побрел через больничный двор к флигелю, где находилась его докторская квартира. Квартира была непомерно велика и пустынна. Долгие годы до революции ее занимал земский врач с многочисленными чадами и домочадцами. Как уже узнал Зеленин, врач этот поддерживал связь с революционными организациями Петербурга, а в гражданскую войну вместе с другими членами сельского Совета был расстрелян белыми. Последние два года комнаты пустовали. Перед приходом Зеленина кто-то попытался придать им жилой вид — в столовой на окнах трогательно белели бязевые занавесочки.

Зеленин осмотрел дубовые панели в столовой и попытался представить себе прежних владельцев квартиры. За этим монументальным столом, вероятно, рассаживались на чаепития, читали вслух Короленко, спори-

ли о судьбах России. Приезжали из Петербурга бородатые вдохновенные конспираторы, из сапога в сапог передавались листовки. Потом он вздохнул, открыл свой чемодан и, чувствуя, что совершает кощунство, брякнул на стол похожую на палицу твердокопченую колбасу, батон и нож. Он ел, глядя перед собой в стену, но знал, что за спиной у него есть дверь, которая ведет в такую же обширную комнату, а там тоже дверь и опять комната, такая же пустая, как и две первые. Никогда он не думал, что ему будет неприятно из-за избытка жилплощади. Что он будет делать здесь один? Надежды на прибавление семейства никакой: Инна в Москве. Ха, приедет она сюда, как же! Из Москвы сюда? Из Москвы, где столько интересных ребят, артисты, художники, поэты, где будущим летом будет всемирный фестиваль. Нет, брат Зеленин, ищи-ка ты себе северную красавицу.

Сегодня, когда он вылез из райздравской машины, на крыльцо больницы вышла очень молоденькая девушка с удивительными льняными волосами, медсестра Даша Гурьянова.

«Да ведь это же Любава! — подумал склонный к подобным параллелям Зеленин. — Такие женщины снаряжали челны новгородцев, ткали лен, тянули в голос грустные песни, а в лихую беду волокли на башни камни и кипящую смолу».

Вечером, когда Даша сдала дежурство и сняла халат, он заметил у нее на груди черный клеенчатый цветок из тех, что несколько лет назад были модны в Ленинграде.

«Цивилизация порой принимает кошмарные формы», — подумал он сейчас, но все же улыбнулся, смахнул со стола крошки, встал, прошелся по скрипучим половицам и заглянул в окно. Должно же, черт возьми, хоть что-нибудь виднеться! Он бросился к выключателю и повернул его. Теперь окно выступило из мрака серым четырехугольником. Зато за спиной слышался тихий шорох. Саша вздрогнул и вызывающе заорал:

Жил-был Генрих Четвертый...

Ночь в их ленинградской квартире — это всегда приятно: за стенкой скрипит пером папа, а на полу дрожат уличные огни. А тут... Почему это темнота так подозрительно сгущается там, в углу? Кто-нибудь вышел из той комнаты? Кто-то совсем не такой, как все... Ха-ха, рыцарь, вы, кажется, начали бояться темноты?

Зеленин сжал кулаки и запел еще громче:

Еще любил он женщин,
Имел у них успех,
Победами увенчан,
Он был счастливей всех.
Ля-ля-ля бум-бум, ля-ля-ля бум-бум...

Бум! Бум! — перекатывалось под потолком. Когда вспоминаешь о женщинах, сразу становится не так страшно.

Он не зажег огня до тех пор, пока не допел до конца песенку о веселом французском короле. Потом он, громко стуча каблуками, прошел в спальню.

Саша долго лежал в темноте с открытыми глазами, и ему казалось, что он о чем-то напряженно думает. О чем же? На самом деле перед ним просто возникали очень непоследовательно картины двух последних суток. Речная пристань, и райздравский «Москвич» на высоком шасси, огоньки на берегу, и он сам, Зеленин, стоит один на длинной палубе теплохода, мама и папа, такие «стойкие», что сердце рвется, и друзья — поют, черти! — и Даша. Инна улыбается и поправляет волосы. Даша улыбается и поправляет черный цветок на груди. Лешка Максимов стоит на молу, весь красный как индеец, и разглагольствует о неведомой стране. И не видит вокруг себя этой страны. А он, Зеленин? Вот приехал сюда, хотя мог... Ну, уж Ионычем-то он никогда не станет. Гражданский долг... Смешно? Инна, ты тоже будешь смеяться? Вот ведь какие девушки ходят по земле! А Даша? Тоже ничего. Любава. Лен. Челны. Цветы. Долой черные цветы! В окнах черно. Долой! «Завтра начну с историй болезней», — отчетливо подумал он и заснул.

ПЕРВЫЙ БЛИН

Зеленин не собирался отступать от своих городских привычек. Утром он открыл все окна и приступил к гимнастике. Во время «прыжков на месте» вдруг молниеносно налетели легкие шаги, распахнулась дверь, и на пороге появилась Даша.

— Ой! — вскрикнула она, увидев застывшего в нелепой позе доктора.

Секунду они смотрели друг на друга, вытаращив глаза. Потом Зеленин начал делать суетливые, дурацкие движения, а Даша юркнула за дверь. Саша почувствовал тоскливый стыд, увидев себя глазами Даши. Застывший в журавлиной позе, очкастый, тощий верзила в длинных неспортивных трусах. Как назло, сегодня он раздумал надеть голубые волейбольные трусики. Пытаясь унять дрожь в коленях, он крикнул:

— В чем дело?

— Больного привезли, доктор, — слабо ответили из-за двери.

— Сейчас иду.

Торопливо натягивая брюки, он смотрел в окно. Даша, пробегая по двору, все-таки прыснула в ладошки.

Больной, вернее раненый лежал на кушетке в предоперационной. Лицо его, белое как лист бумаги, было покрыто капельками пота. Тяжелая узловатая кисть свисала на пол. Зеленин схватил пульс — нитевидный! — поднял веко: зрачки слабо реагируют на свет; выпрямился и только тогда увидел огромную, всю пропитанную кровью повязку на правом бедре. Шок!

— Что с ним случилось?

— Электропилой зацепило. Это Петя Ишанин с лесозавода.

— Камфару, кофеин! И готовьте систему для переливания крови. Рану сейчас начнем обрабатывать.

Когда Зеленин вымыл руки и вошел в операционную, повязка с ноги пострадавшего была снята. Огромная, все еще кровоточащая рана зияла на бедре. Водном месте свисали аккуратно вырезанные пилой лохмотья кожи. Даша, сосредоточенная, со сжатыми губами, протянула шприц.

— Вы сможете проверить группу крови? — шепотом спросил ее Зеленин.

— Да, нас учили,— так же шепотом ответила она.

— Сделайте и покажите мне, а я пока попытаюсь остановить кровотечение.

Он наспех обколот рану новокаином и стал накладывать зажимы. Краем глаза он следил за точными движениями сестры. Группа крови оказалась третьей. Даша придвинула к столу систему для переливания и протянула Зеленину иглу. Он ввел ее в вену и взглянул в лицо больному. Глаза того были открыты и устремлены в потолок.

— Ну, как, брат? — бодреньким, докторским тоном спросил Зеленин.

— В порядке,— тихо ответил парень.

Зеленин начал иссекать скальпелем края раны и совсем успокоился. Собственно говоря, он и не волновался: у него не было ни секунды для того, чтобы поволноваться. Но теперь, когда раненый выходил из шокового состояния и обработка шла успешно, появилось такое чувство, словно его, как станок, перевели на меньшее число оборотов. Про себя он даже начал что-то на свистывать. Чуть рисуясь перед Дашей, он лихо наложил последние швы, выпрямился и глубоко вздохнул. Только сейчас он понял, что действовал почти с автоматической четкостью, ни на секунду не усомнился в своем умении. Все-таки институт крепко вбил в них врачебные навыки и инстинкты.

— Я вернусь через двадцать минут,— сказал он сестре.

С радостным чувством вышел на крыльцо и вздрогнул, словно от удара током. Противостолбнячная сыворотка! Ее же надо ввести в первую очередь! Сколько раз им повторяли это на цикле травматологии. Он бросился назад, распахнул дверь в дежурку и уставился в спокойные глаза Даша:

— Я... я... я говорил вам, чтобы вы ввели противостолбнячную сыворотку? — Первая часть этой фразы прозвучала жалко, а конец сурово. Тут же он почувствовал отвращение к самому себе: «Подлец, хочешь свалить вину на эту девочку?» Он открыл было рот...

— Да, Александр Дмитриевич, вы говорили,— сказала Даша.— Я ввела. Вот и серия записана.

Зеленин прислонился к притолоке. Они понимающе улынулись друг другу, и он понял, что она никому не расскажет, в каком смешном виде застала его сегодня утром. И вообще на нее можно положиться.

Волноваться Зеленин начал во время обхода больных. Было несколько чрезвычайно сложных случаев. Без лабораторных данных невозможно разобраться, а лаборатория не работает за неимением лаборанта. Значит, придется самому осваивать лабораторную технику, а ведь он даже забыл, как считать лейкоцитарную формулу. Сколько придется читать! И с кем посоветоваться? Не с фельдшером же!

Зеленин испытывал страх. Как он будет лечить этих людей? Стремясь заглушить беспокойство, он стал увлекаться новокаиновыми блокадами. Во время работы шприцем или скальпелем он всегда успокаивался. Есть под рукой что-то осязаемое, и сразу можно видеть результат. Но терапия без анализов... На третьем курсе профессор Гуцин как-то сказал студентам: «*Chirurgia est obscura, terapia — obscurissima*»¹.

Слова этого старого, чуточку циничного врача тогда изумили их. Томографы, электрокардиографы, аппараты для исследования основного обмена, самое сложное и самое современное оборудование было у них на вооружении. Им казалось, что достаточно только овладеть этой блестящей техникой и все тайны будут раскрыты. Но сейчас Зеленин чувствовал себя словно древний мореплаватель, только что миновавший Геркулесовы столбы. Безбрежный неведомый океан колыхался перед ним. И его надо было пересечь. Здесь, в Круглогорье, он как будто переселился в прошлое, трансформировался на несколько десятилетий назад.

Вот уже больше трех лет фельдшер Макар Иванович благополучно обходился без рентгена и лаборатории. К нему стекались больные из дальних лесных командировок, с лесозавода, из деревень, приходили матросы с проходящих судов. Макар Иванович врачевал

¹ Хирургия — темна, терапия — еще темнее.

без страха и сомнения. В райздраве он славился лихо-
стью своих диагнозов. Перебирая старые истории бо-
лезней, Зеленин то и дело натывался на такие, напри-
мер, перлы: «Общее сотрясение организма при падении
с телеги».

...В конце недели Зеленин собрал производственное
совещание. Пришли все: пять медсестер, фельдшер,
санитарки, бухгалтер, завхоз и кучер Филимон. Все эти
люди, тесно переплетенные родственными и кумовски-
ми связями, со скрытой насмешкой, с любопытством и
недоверием поглядывали на чужака, на беспокойного
худого юношу, который теперь стал их начальником.
За те два года, что прошли со смерти Клавдии Ники-
тичны, последней докторши, проработавшей в Кругло-
горье несколько лет, персонал привык к тишине и спо-
койствию. Больных было мало, потому что всех мало-
мальски серьезных отправляли за сорок километров, в
район. Для того чтобы выполнить план койко-дней,
Макар Иванович клал в больницу знакомых старушек и
упражнялся на них в диагностике. Даша Гурьянова и
Зина Петухова, вернувшиеся весной с сестринских кур-
сов, написали письмо в райздравотдел: «Или давайте
нам врача, или закрывайте больницу, а работать так —
это не по-советски».

Зеленин еще по рассказам в райздраве знал о делах
больницы, знал, что опираться надо только на сестер-
комсомолок, а что остальной коллектив — это «шараш-
кина контора». Однако сейчас, спустя неделю, он сидел
за своим столом, разглядывал сгрудившихся в тесной
комнате людей, и думал, что все это, может быть, со-
всем не так. Он думал о том, что этого старого медведя,
Макара Ивановича, нужно только слегка раскатать, за-
деть в нем живую жилку, о том, что облупленная сине-
багровая от пьянства физиономия кучера Филимона
становится нежной и углубленной, когда он трет скреб-
ком круп больничного жеребчика, о том, что надменное
и подозрительное величие бухгалтера вызвано боязнью
того, что в нем не распознают интеллигентного челове-
ка, о том, что у девушек открытые, приятные лица, а у
Даши так просто красивое... Эй, об этом не стоит думать

на производственном совещании. Он постучал авторучкой по столу и неожиданно густым голосом сказал:

— Тише, товарищи! — «Р-р-руководитель», — подумал он и представил, как бы комментировали эту сцену его друзья. Стало совсем весело. — Товарищи! Наша больница является самым крупным лечебным учреждением на всем пространстве Круглогорского куста. Поселок Круглогорье, пристань, лесозавод, пять колхозов, лесные командировки — все это находится в районе нашей деятельности. Кроме того, как мне рассказали, в шести километрах от нас, у Стеклянного мыса, начинаются крупные гидротехнические работы. Пока там построят больницу, пока приедут врачи, мы должны наладить обслуживание этой стройки. Как видите, задачи перед нами стоят большие, и мы, как единственное лечебное заведение со стационаром на двадцать пять коек, должны быть на высоте. Но на текущий момент мы не на высоте, товарищи! («Как быстро усваиваются эти словечки!») Больше того, не в обиду будь сказано, мы представляем из себя совершенно невероятный экспонат прошлого столетия. («Попроще, сэр, попросите!») В наш век телевидения и электроники мы работаем вслепую, без лаборатории, без рентгена. А между тем у нас есть и рентгеновский аппарат и лабораторное оборудование. Я смотрел — все поломанное, грязное. В чем дело? Некому было заняться? Нет, товарищи, дело в равнодушии и косности. Вот вы, Макар Иванович...

Макар Иванович слегка вздрогнул и пошевелил сцепленными на животе пальцами. Полчаса назад он отобедал, и сейчас по его голове под белым колпаком, семена ножками, бегали крохотные человечки, предвестники мягкой дремоты. Взволнованные восклицания молодого доктора с шипением, как ракеты-шутихи, летели из далекого далека. Все расплывалось перед его стекленеющим взором.

«Фу, нехорошо получилось, — подумал Зеленин. — Еще обидится старик». Но отступить было поздно.

— Вот вы, Макар Иванович, расскажите, как вы лечите, что вы назначаете больным на приеме?

— Как что?

— Ну что все-таки, что?

— В зависимости от индивидуальных реакций организма,— ответил Макар Иванович и привычно напылился.— От головы даю пирамидон, от живота бесалол...

— Клистиром еще Макар Иванович увлекается,— лукаво улынулась Даша.

— Макар Иванович! — воскликнул Зеленин.— Это недопустимо. Ведь так, наверное, во времена Чехова уже не врачевали. «От головы, от живота...» Скажите, вы вот эту книжку давно не перечитывали?

Он протянул ему толстый том «Пособия для сельских фельдшеров».

Это была замечательная книга старого знаменитого профессора, великого гуманиста. В Ленинграде Зеленину настоятельно советовали всегда иметь ее под рукой как незаменимое практическое пособие и в то же время как лекарство против пресловутого «фельдшеризма». Макар Иванович протер очки, отставил книжку на длину вытянутой руки и прочел название.

— Мол-лодой человек,— сказал он после этого дрожащим голосом,— я тридцать лет здесь практикую, я... я...— он встал и неловко стал стаскивать с плеч халат,— я на фронте... знаете... Эх... постыдились бы!..

Толстый и неловкий, он боком выбрался из дежурки, Минуту спустя Зеленин, чувствуя острую щемящую жалость, увидел в окне и проводил взглядом нелепую бочкообразную фигуру в полувоенном костюме на тонких ножках в хромовых сапогах.

Александр несмело обвел взглядом оставшихся и так и не смог понять, как они относятся к инциденту. Только Даша смотрела весело и ободряюще. Он подумал, что она довольно безжалостная особа. Тут же он понял, что эта мысль появилась у него из соображений предосторожности — слишком уж симпатична ему девушка. Слишком у нее яркие глаза, слишком правильная линия шеи. Он отвернулся, и перед ним проплыл прекрасный, но словно наспех набросанный карандашом образ Инны. Что же теперь сказать? Ему было жалко Макара Ивановича, хотелось оправдаться перед людьми, но, боясь «подорвать авторитет», он продолжил свою речь, словно ничего не случилось:

— Итак, товарищи, значит, мы должны наладить работу своими руками, и начать придется с рентгеновского кабинета и лаборатории. Правда, для ремонта аппарата придется вызвать техника из района. Григорий Савельевич, работу оплатим?

— Средства изыщем.

— Потом мы командирuem кого-нибудь из сестер на курсы рентгенолаборантов. («Только не Дашу!») Снимки будем делать, товарищи! В лаборатории займусь я сам вместе с Дарьей Ивановной. Вы согласны, Дарья Ивановна?

«ДОКТОР ЗЕЛЕНИН»

На следующий день, в обед, Зеленин сидел в чайной и смотрел в окно на бескрайнюю ширь озера. Было ветрено, мрачно, ходуном ходил темно-серый взлохмаченный горизонт. Чайки, хохлясь, прятались на берегу за перевернутые лодки.

«Настоящий морской шторм»,— подумал Саша, и в это время вид в окне стал быстро и бесшумно размазываться косыми тонкими струйками дождя.

— Александр Дмитриевич, дождик начался,— крикнула буфетчица,— посидите полчасика, может, пройдет.

Она поднесла к его столику кружку пива с тяжелой, свисающей, как парик, пеной.

— Скучно вам у нас, Александр Дмитриевич? После Ленинграда-то? Я бы, чай, заболела.

— Некогда, тетя Люба, скучать, работы много.

— А что же вы тогда печальный такой, тонкий с лица?

Он поднял глаза от кружки, скользнул взглядом по круглой фигуре буфетчицы.

— Непокойно на душе, тетя Люба.

— Непокойно? Это молодая кровь в вас бродит. Это лучше, чем скука.

Зеленин не только обедал в чайной, он заходил сюда почти каждый вечер. Сам себе он объяснял это «познавательным интересом», но понимал, что его влечет по вечерам в чайную что-то другое. Этот домик, почти ничем

не отличающийся от остальных домишек Круглогорья, светился до полуночи. Кольхался сизыми спиралями табачный дым. Бесперывно хлопали двери, гудели голоса, раскатывался могучий хохот, вскрикивала гармошка. Здесь вели степенные разговоры, балагурили, ссорились. Но главное — здесь собирались шоферы, веселые люди. Вчера они были в Петрозаводске, завтра укатят в Вологду, Архангельск, Беломорск, Ленинград. Александр подолгу простаивал возле заляпанных грязью машин, проходил в чайную, садился поближе к шоферам, жадно прислушивался к их рассказам о городах, словно хотел убедиться, что кроме Круглогорья существуют на свете и другие населенные пункты. Но признаться себе в том, что галдящая забегаловка стала для него неким окном в мир, он не мог.

«В стеклах дождевики серые свились, гримасу громадили...» Пиво невкусное, водянистое. Неужели тетка Люба разбавляет? Вряд ли, должно быть, снабженцы. Сегодня Макар Иванович не вышел на работу. Филимон говорил, что старик лежит на сундуке с полотенцем на лбу и молчит. Какая я сволочь! Эгоист. Надо пойти к нему, попробовать поговорить по душам. Нет, я должен быть тверд. Что из того, что он стар? Если работаешь — изволь работать добросовестно. Ого, как вы непримиримы, рыцарь! От других вы требуете кристальной ясности, а сами скулите по ночам, как хлюпик. Или вот с Инной. Почему я не звоню до сих пор в Москву? Робость или что-то другое? Вдруг она скажет: «Саша? Простите, какой Саша? Ах, Са-а-ша!..» Москва, Москва! Круглогорье вызывает. Потеха! Интересно, долго ли я продержусь здесь? Оказывается, это пострашней, чем думалось. Как ни заполняй свой день, как ни мечись, неизбежно наступает час, когда остаешься совсем один и только черные глазищи — окна. И завтра, и послезавтра, и послепослезавтра... Правда, не будь того матча с обувщиками, того вечера танцев, сейчас мне было бы не так тоскливо и вечера уже были бы заполнены Дашей, ею самой или бесконтрольными мыслями о ней. Неужели я жалею, что встретил Инну? Это уже просто мерзко.

Он со страхом почувствовал, что не может вспомнить Инниного лица. Образ девушки, мелькнувшей залетной

птицей на рубеже его прежней жизни, теперь стал расплывчатым и отдаленным, как персонаж очень давно прочитанной милой книжки. Не может вспомнить лица друзей. «Кампарасита»... Трам-па-па-па... Ага, стоило промывать несколько тактов вычурного танго, как ясно выступили в памяти синие, словно весенние сумерки, глаза, полуоткрытые, будто готовые к поцелую губы, чуть растрепанные светлые волосы. Но как удержать мелькнувший образ? Даже нет фотокарточки. А Даша здесь, каждый день рядом, и его тянет к ней, и он чувствует, что она тоже тянется к нему. Утешаться видением девушки, которая наверняка уже о нем забыла? Что ему мешает броситься с головой в эту волну сочувствия? Ведь так тяжело смотреть одному в слепые глаза ночи!..

Зеленин вздохнул, посмотрел на часы. До приема оставалось еще сорок минут. Выходить в дождь не хотелось. Он решил написать письмо Максимову.

На озере буря разыгралась вовсю, но сюда, в поселок, из-за Стеклянного мыса долетали только самые сильные и самые верткие струи ветра. Через ровные промежутки начинал дико скрежетать отставший лист железа на крыше чайной. В окне уже почти ничего не было видно.

«...В первый день мне предложили гордость здешней кухни — «гуляш со сбоем». Несмотря на известную тебе любовь к экзотике, я все же осторожно уклонился и попросил честную котлетку. Котлетка оказалась действительно честной — в ней было больше мяса, чем хлеба. Сюда бы наших институтских поваров для обмена опытом. Я влюблен в здешних людей. Мужики все рыболовы и охотники, суровые, кряжистые. Женщины, ну, женщины самые обычные, но есть и удивительные. Но дети, Макс! Я раз шел мимо детского садика, заглянул через забор и ахнул: спелая рожь с васильками! Как мне кажется, народ здесь удивительно честный. Правда, говорят, что пьют по праздникам зверски, но я пока ничего из ряда вон выходящего не видел. Любопытный факт. Я живу в огромной трехкомнатной квартире один. Предложил потесниться, отдать кому-нибудь две комнаты — что мне, мышей разводить, что ли? — все встали на дыбы. Это квартира докторская, неприкосновенная.

Вроде Белого дома — президенты меняются, а дом остается.

Алексей, ни ты, ни Владька до сих пор не удосужились мне написать. Между тем ваши письма мне сейчас очень нужны, и ты сам понимаешь почему. Пиши обо всем: о работе, о спорте, что читаешь, о чем думаешь, за кем ухаживаешь (Вика?). Заходил ли к моим старикам?

Я ничем сейчас не занят, кроме работы. Ежедневно на приеме до сорока человек. Округа гудит слухами о «ленинградском докторе». Стекаются болящие и неболящие — провериться. Восстанавливаю лабораторию и рентген. Все это было запущено, заброшено до омерзения. В общем, работы столько, что не остается времени для студенческих сомнений, для грусти...»

В дверь бухнули сапогом, и появился Филимон, больничный кучер. Он откинул капюшон, вытер мокрое лупящееся лицо, весело подмигнул буфетнице и протопал к столику Зеленина.

С Филимоном у Александра за неделю уже установились простецкие, дружеские отношения. Легкий был человек Филимон. Находясь частенько под хмельком, он считал, что весь мир населен такими же, как он сам, покладистыми мужиками, не дураками выпить и подзакусить. За сорок лет жизни он так и не разубедился в этом.

— Слышь, Митрич, — сказал он Зеленину, — председатель наш тебя вызывает.

— Какой председатель? — удивился Зеленин.

— Ну, Самсоныч, председатель Совета. Сейчас в больницу телефонил. Прошу, говорит, доктора прибыть в пятнадцать ноль-ноль. Поехали?

Через пять минут они подкатили к бревенчатому двухэтажному дому, на крыше которого щелкал выцветший флаг Российской Федерации. На первом этаже этого дома помещался народный суд, на втором — библиотека-читальня и поселковый Совет. Зеленин еще ни разу не был здесь. Собственно говоря, он вообще еще не видел поселка: утром обход, работа в стационаре, днем прием больных в амбулатории, а после работы возня в рентге-

новском кабинете и лаборатории. Иногда ему казалось, что, чрезмерно загружая себя, он поддается панике, стараясь не думать ни о чем «постороннем», стараясь оттянуть как можно дальше знакомство с этим маленьким серым поселком, ставшим теперь всем его внешним миром.

За дверью с надписью «Председатель поссовета» шумели голоса. Зеленин дважды постучал и, не дождавшись приглашения, вошел. В большой низкой комнате стояло несколько мужчин в таких же, как у Филимона, брезентовых плащах. Они громко разговаривали и махали шапками на человека, сидящего за письменным столом. Человек этот, в темно-зеленом френче, черноволосый и широколицый, барабанил пальцами по столу и исподлобья смешливо на всех поглядывал. Заметив Зеленина, он хлопнул ладонью по столу:

— Тише, граждане! — И, быстро улыбнувшись: — Доктор Зеленин? — протянул руку.

Зеленин пожал эту широкую руку — ему не нравилось жать широкие руки, — шлепнулся, не дожидаясь приглашения, в клеенчатое кресло и вяло подумал: «Обычный гигант районного масштаба. Даже не удосужился приподнять свой ответственный зад». Он еще раз искоса взглянул в узкие, какие-то оскорбительно смешливые глаза председателя и совершенно отчетливо почувствовал, что где-то уже встречал этого человека.

Детины в брезентовых плащах один за другим покидали кабинет. Последний остановился в дверях и чуть ли не угрожающе буркнул:

— Понял, Самсоныч, нашу позицию?

— Понял, понял, Иван, чего же не понять, — весело ответил председатель. — Вот в райкоме и потолкуем обо всем.

Он покрутил головой, сокрушенно сказал:

— Народ, я вам доложу... Сплавщики. Вы еще столкнетесь, — и протянул Зеленину коробку «Казбека».

— Спасибо, я сигареты курю, — сухо сказал Александр и полез в карман за пачкой «Авроры».

— А я вот, знаете, не могу сигарет курить: табак в рот лезет. Вот мои коронные, — он показал пачку «Пробоя», — а «Казбек» — это так, для посетителей.

Председатель захохотал, как будто это было очень смешно, и сразу расположил к себе Зеленина.

— Я, доктор, собственно говоря, просто хотел с вами познакомиться. Вы уже больше недели здесь, а к нам не зашли.

— Работы очень много,— сказал Зеленин.

— Да-да, работы у вас много, я знаю. И вот по части вашей работы у меня уже есть к вам дело. Поступил, так сказать, сигнал.— Он посерьезнел и застучал пальцами по столу.— Прошу правильно меня понять. Речь пойдет о фельдшере Завидонове.

Зеленин вздрогнул.

— Да, и что?

— Я говорю с вами совершенно неофициально, прошу понять. В порядке дружеского совета. Зря вы обидели старика. При всех. Негуманно это.

Александр сидел, задрал подбородок, сжав ручки кресла, и медленно краснел.

— Вы еще мало знакомы с нашей жизнью,— продолжал председатель.— Макара Иванович тут по меньшей мере треть детей крестным зовет. А скольким он, извиняюсь, пуповину перевязывал! Вы не знаете? А здесь все знают, и все его любят.

Зеленин резко повернулся в кресле.

— А вы знаете, как он лечил своих благодарных земляков?— воскликнул он.— Неправильно, нелепо, по старинке! Я сам вижу, что Макар Иванович хороший человек. Поверьте, хорошего человека сразу видно. Но закован, застыл, работает на авось. Понимаете? А я не могу этого допустить. Вы говорите о гуманизме, но я по-другому понимаю это слово. Да, я обидел, оскорбил этого старика, но я думал о десятках и сотнях больных.

— Да, гуманизм...— протянул председатель,— сложное понятие.

Он смотрел на собеседника внимательно и весело. Зеленин загасил сигарету.

— Да, конечно,— сказал он, успокаиваясь,— в чем-то вы правы.

Спускаясь по лестнице, он мучительно пытался вспомнить, где же он встречал этого человека.

В восемь часов вечера Саша пришел на почту и заказал разговор с Москвой.

— Скажите, здесь можно курить? — спросил он телефонистку.

— Пожалуйста, курите.

Он сел на стол в неосвященной пустой комнате и стал смотреть, как телефонистка втыкает и вынимает из коммутатора вилочки. «Вероятно, это очень древняя машина», — подумал он.

Для того чтобы дозвониться до Москвы, потребовалось прежде всего вызвать район, у района попросить Ленинград, а у Ленинграда уже Москву. И в довершение всего подойдет к телефону Иннина мама и скажет: «Ах, как жаль, Инночка ушла в театр!» А с кем ушла, неизвестно.

За окном ветер гнал уже разорванные волокнистые клочья туч. К озеру уходила шеренга стройных елей с пригнутыми верхушками. Ближайшая ель тихо шуршала по стеклу своей широкой мохнатой лапой. Быстро сгущался мрак, тускнели редкие головешки заката. Саша курил уже седьмую сигарету. Волнение медленно охватывало его с ног до головы. За фанерной стенкой немело ругалась телефонистка. Вдруг она стукнула в стенку.

— Снимите трубку!

Трубка рычала, свистела, пела, кашляла. Издалека, как сквозь шум моря, доносились раскаты рояля, диктор по слогам читал статью для районной печати, скороговоркой, словно дразня друг друга, что-то бубнили непонятные голоса, раздавались удары, похожие на метроном, нарастая, летел в ухо какой-то далекий космический вой. И вдруг среди этого хаоса послышался слабый, будто с другой планеты, голос:

— Алло, алло, Саша, Саша!

С минуту Александр, чуть не задыхаясь, орал в трубку. Потом замолчал. Голос невероятно далекой девушки сначала ощупью, потом все уверенней и уверенней пробирался сквозь путаницу проводов. «Саша, алло, Саша...»

И когда он понял, что можно уже не кричать, он вполголоса сказал:

— Элио утара, Аэлита.

— Саша? — изумленно вздохнул возле самого уха родной голос. — Ну конечно. — Инна с хрипотцой рассмеялась. — У меня тоже было такое чувство, словно я лечу с Марса. Почему ты не звонил? Я все время сижу и жду...

Зеленин заплатил тридцать пять рублей, с грохотом слетел с крыльца и выскочил на середину улицы. Он поднял голову и раскинул руки, словно хотел заключить в объятия ночное небо. Он шатался, как пьяный, и смотрел на созвездия, весело горящие в разрыве туч. Над головой его ровно гудели под ветром провода. Великие металлические нити, связывающие всех людей на земле! Провода, электромагнитные сигналы, бороздящие эфир, раскаты рояля, голос диктора, голос Инны...

По озеру тянулась цепочка огней, и вдруг с буксира соскользнул голубой дымный луч и вырвал из мрака сигнальную вышку пристани. Зеленин дышал полной грудью. В этот миг он почувствовал, что его мир не замыкается бревенчатыми домиками Круглогорья, что он живет во второй половине двадцатого века, во всем огромном современном мире. Люди оплели мир сетями для связи друг с другом и для помощи. Транспортная связь, телеграфная, сеть обучения, лечебная сеть, в которой он является составной частью. Упади здесь случайный самолет из Москвы, Игарки или Гваделупы, об этом будет немедленно сообщено куда следует, а летчикам и пассажирам окажет помощь он, Александр Зеленин.

Он размашисто шагал по дощатому настилу, гудя под нос какой-то «свой» мотивчик. Он мчался мимо заборов, мимо крохотных садиков, за листвой которых светились слабые огни, и вдруг впереди возникла неподвижная темная фигура. Зеленин зажужжал карманным фонариком, увидел короткий седой бобр и пучки бровей. Это был Макар Иванович.

— Александр Дмитриевич, — глухо пробормотал старик, — ты, брат, того... дал бы мне книжечку эту почитать, пособие это самое...

ГЛАВА IV

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ

Максимов стоял на причале возле нефтебаков. Рядом попрыгивал шофер Петров со своей странной улыбкой, обнажающей десны. Эта улыбка делала его лицо зловещим, но на деле Петров был безобидным светлым мужичком, самым бойким шофером санитарного отдела.

— Видать, Леша, по штормтрапу тебе лезть придется, — сказал он.

Они смотрели на приближающийся черный, облупленный борт теплохода «Новатор», пришедшего с острова Кубы с грузом сахара. На причал полетели швартовы, и чей-то голос прогудел в мегафон:

— Доктор, по штормтрапу влезете?

Максимов махнул рукой: давай, давай! Он подошел к краю причала и заглянул вниз. Там, между бортом судна и сваями, тяжело качалась маслянистая вода. А наверху ухмылялись краснорожие матросы.

«Уверены, что я не полезу, пока теплоход не встанет вплотную к стенке. Наверно, думают: сухопутный хлюпик, карантинщик. Эх, где наша не пропадала!»

Он с силой оттолкнулся от причала и, пролетев метра три в воздухе, вцепился в веревочную лестницу. Позади слабо ахнул Петров. Максимов на миг опустил глаза, увидел внизу черную щель и содрогнулся, представив, как он барахтался бы в холодной грязной воде, как его сплющило бы в лепешку.

«Идиот я, самый последний идиот. Чего ради?»

Он перелез через борт и прочитал на лицах моряков насмешку.

— Где чиф? — спросил он сурово.

— Я здесь, доктор. — С палубы спардека спускался высокий молодой человек в синей тужурке. Он приветливо улыбнулся и протянул руку: — Перов.

— С благополучным прибытием! Есть на судне больные? — произнес Максимов две первые стандартные фразы и удивился, услышав ответ:

— Двух больных привезли.

— Да ну? Что с ними?

— Понимаете, доктор, стрела сорвалась и шарахнула одного парня по ноге. Кажется, перелом. А что со вторым, не знаю — температура высокая. Хотите, пройдем в лазарет?

Они полезли вверх. Сзади кто-то тихо сказал:

— Тарзан.

Максимов резко обернулся. Моряки молча улыбались. Старпом взял Алексея под руку и повел по декам, переходам и коридорчикам, по дороге оживленно рассказывая. Видимо, был рад свежему человеку.

— Рейс был не из приятных. В океане штивало по-дикому, да и на Балтике у нас осенью, сами знаете. Вы, кажется, плавали на «Ползунове»?

— Я еще только собираюсь плавать.

— Вот как? Тогда милости просим к нам. Наш старик скоро на пенсию уходит. Серьезно, доктор, проситесь на наш дубок. Народ у нас классный.

— На этой железной скорлупке дубовые люди живут? — съехидничал Максимов и тут же испугался, что старпом обидится. Но тот отпарировал:

— Зрелище было необычное — такой резвый доктор...

Он открыл какую-то дверь и пропустил Максимова вперед. Это был лазарет. Вдоль переборки, в два яруса стояли четыре койки. Напротив, у наклонной стенки, была еще одна, на которой лежал человек с подтянутой на вытяжение ногой. Стоявший спиной к дверям человек в белом халате обернулся. В руках у него был шприц. «Пенициллин, должно быть, колет», — подумал Максимов. Он удивленно отметил, что с удовольствием вдыхает привычный больничный запах и что ему приятно видеть застекленный шкафчик с медикаментами, биксы, кипящий стерилизатор. Судовой врач, жилистый, загорелый старик, смотрел на него нудно и боязливо.

— Вот вытяжение соорудил, — сказал он виновато, показывая на больного с поднятой ногой. — Не знаю, правильно или нет. На курсах давно не был, забывается все, знаете ли. А вы, коллега, кажется, в Бассейновой клинике работали?

«Один меня принимает за моряка, другой за клини-

циста, а я всего лишь жалкий пошляк. А может быть, они издеваются?»

Алексей подошел к койке, для отвода глаз потрогал ногу и сказал баском:

— Правильное вытяжение.

Старик явно повеселел.

— Может быть, и второго заодно посмотрите? Я диагностировал пневмонию справа, но, знаете, в наших условиях, без рентгена...

«Удивительно, до чего он не уверен в себе! Старый врач, стаж, должно быть, лет сорок, и заискивает передо мной, молкоксосом. Про клинику, должно быть, ввернул только для подхалимажа».

Со вторым больным было проще: в трубочке явственно трещали хрипы.

— Нужно немедленно обоих отправить в больницу,— сказал Максимов.

После лазарета он в сопровождении старпома и судового врача обошел все судно, осмотрел каюты, машинное отделение, кладовые, камбуз. Здесь он долго и придирчиво изучал колоду для рубки мяса. У каждого карантинного врача был свой конек. Старый доктор Дампфер, наставник Максимова и Карпова, особенно был пристрастен к колодам для рубки мяса. Обычно он сам тщательным образом выискивал на них трещины, дико орал на кока, если колода не была засыпана солью, а те суда, которые не обзавелись этим полезным инвентарем, просто не выпускал в рейс. Считая себя представителем школы Дампфера, Максимов тоже наорал на повара, приказал заменить колоду. Потом он прошел в каюту старпома для составления и заполнения многочисленных бумаг. Старпом поскуцнел. Он подписывал листочки, протягиваемые ему Максимовым, и вздыхал:

— Придешь в порт, прямо рука отваливается.

— Когда последний раз хлорировали питьевые танки? — нудно бубнил Алексей. — Где в последний раз забирали воду? Сколько у вас пассажиров и пилигримов?

— Что? — встревожился старпом. — Ну, вы шутник, доктор. Ха-ха-ха! Пассажир у нас один — щенок Билли. Забежал на палубу в Гулле. Может быть, он и пилигрим,

в Москву на Собачью площадку пробирается, кто знает. Показать вам его?

— Потом. Не заметили ли вы во время плавания пляски крыс?

Старпом беспомощно посмотрел на судового врача, потом заглянул в глаза Максимову и угрожающе прошептал:

— Я все-таки попрошу относиться ко мне серьезно.

— Да вы что? — удивился Максимов. — Это же обычные вопросы опросного листа. Понимаете, чумные крысы прыгают так, вроде пляшут.

Старпом расхохотался. Он хохотал при каждом удобном случае.

— Извините, доктор, первый рейс делаю старпомом, не знал этих вопросов. Значит, пляшут? Умора. Что же, рок-н-ролл они, что ли, пляшут?

— Что за рок-н-ролл?

— Не знаете? Это новый танец. В Англии все с ума посходили.

— Нечто вроде буги-вуги?

— Устарело. Вы бы видели рок-н-ролл — психиатричка настоящая. Со смеху можно подохнуть.

Старпом открыл ящичек стола и достал пузатую бутылку, оклеенную яркими ярлычками.

— Скож-виски! — торжественно сказал он.

— Э нет, пить я не буду.

— Не нарушайте традицию, доктор. Просто для порядка одну рюмку...

.....
— Ну, пока, Сергей. Очень было приятно познакомиться.

— Пока, Леша. Значит, так и скажешь в кадрах: сажайте, мол, на «Новатора», и все.

— Будь спок.

У Максимова позванивало в голове. Он размашисто прошел по палубе, помахал рукой краснолицым матросам и скрылся за бортом.

Отсюда он на машине поехал на Карантинную станцию, рассчитывал выпить там чаю и отдохнуть до вечера, до прихода большого каравана судов. Однако, когда он открыл дверь, телефонистка сразу же передала ему те-

лефонограмму: в Морской канал вошел английский пароход «Дюк оф Норманди». Нужно идти на катере встречать. И снова перед ним вырос борт, на этот раз шаровой окраски, на этот раз движущийся — лезть по штурмтрапу нужно было на ходу. Мотнулось тело, снова появилось ощущение пустоты и чужеродной среды под ногами, и Максимов подумал: «Приличные люди сидят в чистых, теплых амбулаториях, выслушивают больных и умственно хмурят лобики, а ты тут болтаешься, как сосиска, между небом и водой». Это были мысли из писем «бедной морщинистой мамы», над которыми посмеивались, но которые веским грузом все же оседали в душе.

На палубе «Герцога Нормандского» так же, как и на «Новаторе», болтались свободные от вахты матросы. Стройный негр, от щиколоток до горла покрытый «молниями», сверкнул снежной улыбкой и приложил два пальца к непокрытой голове. Максимов объяснил ему, что он хочет видеть капитана. Негр щелкнул пальцами, предложил следовать за ним. Вместе с негром пошли еще два каких-то парня. Они показывали друг другу на Максимова, легонько похлопывали его по плечу и приговаривали:

— О, стьюдент, стьюдент — хорошо!

Максимов строго сказал, что он не студент, а доктор, что он уже давно окончил медицинский институт. Ребята, кажется, ничего не поняли, бешено захохотали, хлопнули его посильнее: «О, стьюдент! Вери велл!» Сухопарый кэптэн поднялся ему навстречу, протянул руку, довольно долго что-то говорил. Максимов различил только «садитесь, пожалуйста» и несколько раз повторенное слово «сэр». Это он-то, Леха Максимов, сэр? Набравшись духа, он прополоскал рот двумя десятками английских слов. Капитан, сморщив лицо, слушал, а потом спросил:

— Ду ю спик инглиш? Френч? Джермен?

Вот когда Алексей начинал жалеть о тех временах, когда манкировал занятиями по иностранному и нагло переписывал у девочек словари «внеаудиторки».

Наступил вечер. В свете прожекторов катер мотался по акватории. Максимов ползал по штурмтрапам, вдыхал чадный воздух камбузов, строчил акты, воздавал дань морским традициям. То тут, то там в мигающей пестрой

мгле возникали массивы подходящих судов. Редкие мгновения, когда попадались на глаза неподвижные звезды и контуры портовых строений, напоминали Алексею, что он не всегда жил такой жизнью, и вселяли курьезную мысль, что все это происходит с кем-то другим.

Утром следующего дня Максимов передал дежурство доктору Козлову, спустился вниз и заснул как убитый. После суточного дежурства карантинным врачам полагалось трое суток отдыха. Первые сутки — он уже смирился с этим — проходили во сне почти полностью. На сей раз он проспал часов десять. Открыл глаза в мягком сизом сумраке, секунду размышлял: «Где это я?», потом бессознательным движением достал с подоконника сигарету. Кровать напротив была пуста. Они уже несколько дней не виделись с Карповым. Владьку окончательно засосала цивилизация. Он запутался в своей телефонной книжке, в таинственных инициалах, забытых именах, начертанных неверной рукой при свете уличного фонаря. Максиму приходилось одному убивать свободное время. Первые вечера после дежурства он пристрастился проводить в Публичной библиотеке, до одури копаясь в периодике.

СНОВА ОСЕНЬ

По коридору прогуливались очкастые эффектные парни, худенькие девицы. Как всегда, несколько парочек стояло у окон, будто вглядываясь в цепочки огней, протянутые сквозь осеннюю темень. Немало студенческих романов началось здесь, в здании Публичной библиотеки.

Максимов вышел в коридор, держа под мышкой кипу ярких журналов. Он иронически взглянул на парочки у окон и вспомнил, как несколько лет назад по-мальчишески мечтал встретить здесь тоненькую девочку с большими глазами и с томиком стихов Блока в руке. Позднее он пришел к выводу, что гораздо легче и приятней знакомиться с девушками на танцевальных вечерах, где не надо придумывать предлогов и умных фраз.

«Воображаю, что сейчас бубнит этот гривастый субъект своей блондинке. Наверное, что-нибудь насчет Пикас-

со заворачивает, а сам думает, как бы встретиться с ней в интимной обстановке». Блондинка повернулась, и Максимов узнал Веру. Сворачивать было поздно — он пошел вперед на ватных ногах.

— Привет! — мимоходом бросил он, но Вера улыбнулась и протянула руку. Пришлось подойти, и пожать руку, и смотреть в эти глаза и на смеющийся, что-то быстро говорящий рот.

— ...Думала, что ты уже где-нибудь в Атлантическом океане. Познакомься, это Фома Бах.

— Приятно, — глухо буркнул гривастый, всем своим видом показывая, что ему на все наплевать.

— Что это за тип? — спросил Максимов, когда они остались вдвоем. — Интересная как будто личность.

— Очень интересная. Он студент художественного училища. Мы болтали о постимпрессионистах.

Максимов хихикнул. Вера удивленно подняла брови:

— Ты что?

— Да так. Не думал я тебя здесь встретить.

— Почему?

— Трудно здесь наукой заниматься.

— А я не наукой, я сюда хожу для...

— Понятно, для общей культуры. Как на абонементные концерты в филармонию, да? Доцент не боится, что ты одна? Тут ведь много всяких постимпрессионистов шатается.

Вера посмотрела на него исподлобья и тихо, с какой-то беспросветной горечью спросила:

— Почему ты всегда ехидничаешь, Лешка? Почему ты надо мной издеваешься?

«А почему ты не пошлешь меня к черту? Почему не ударишь по щеке? Почему ты стала такой противно беззащитной, как раскаявшаяся блудница?» — думал Алексей. Вдруг, увидев ее горькие глаза, он наконец почувствовал, что Вера уже не та девчонка, с которой он ехал на возу сена как-то во время работы в подшефном колхозе, с которой на первом курсе ходил на каток, с которой играл в капустниках. Он понял, что та Вера закончила свое существование и на него сейчас смотрит незнакомая женщина с неизвестными ему запросами.

Вера подняла голову, поправила волосы и улыбнулась,

словно освобождаясь от тягостных мыслей сама и освобождая его.

— Который час?

— Восемь.

— Я уйду. Может быть... проводишь меня?

— Момент,— неожиданно для самого себя заторопился Максимов,— только сдам журналы.

...Мокрый асфальт был усеян широкими кленовыми листьями. В зыбком свете фонарей казалось, что по тротуару недавно прошло бестолковое стадо гусей. Максимов и Вера медленно шли по гусиным следам осени. Алексей опустил голову и будто с большой высоты наблюдал взмахи своих тяжелых ботинок и частое мелькание Вериных замшевых туфелек. На Вере было новое пальто: суженный книзу мешок. Непокрытые волосы ее шевелил мокрый ветер. Дождя не было, но воздух был густо пропитан влагой. Казалось, его можно было пить, цедить сквозь зубы. Вопреки здравому смыслу, Алексей любил такую погоду и знал, что Вера тоже ее любит...

— ...наверное, не раньше весны. Скучно? Это тебе только так кажется. Да, сплошная санитария и гигиена, но зато морские традиции... Что это такое? Этого нельзя объяснить словами. Да, все наши там же. Столбов-мудрец в пищевом секторе пристроился, обеспечил себе булку с маслом, а Владька, так же как я, на дежурствах. Чувствует себя прекрасно, развлекается. Черт его знает, где он сейчас. Да, друзья, ну и что? Очень уж он общительный. Сашка? Верно, с ним-то мы были как сиамские близнецы. Он сейчас в Круглогорье. Где-то на Онежском озере. Одно письмо получил большое. Вкалывает по-страшному, скучать некогда. Да, нам хорошо рассуждать здесь, а у него девушка в Москве. Именно у Зеленина. Что же в этом смешного? Девушка как девушка, на тебя немного похожа, только...

— Что только? — заглянув ему в глаза, спросила Вера.

— Ну, помоложе года на три.

— Нет, ты не то хотел сказать.

— Правильно.

Они молчаливо согласились не развивать эту тему. До Садовой, где они должны расстаться, было совсем

близко. Они остановились, разглядывая консервные горки за витриной Елисеевского магазина. Вера вздохнула.

— Ты что? — спросил Максимов. Почему-то в этот момент она показалась ему какой-то удивительно близкой. Захотелось положить ей руку на плечо, вместе войти в магазин и взять чего-нибудь на ужин.

— Ничего, просто так, — ответила Вера и, помолчав, полуутвердительно сказала: — В общем, ты доволен своей теперешней жизнью?

— Доволен ли? Не знаю, еще не разобрался. Вчера мне показалось, что я скучаю по лечебной работе. Но зато передо мной перспектива — море!

— Насколько я понимаю, лечебной работы в плавании тоже будет маловато.

— Зато будет другое. Ты представляешь себе: увидеть весь мир? Я в детстве марки собирал, грезил дальними странами. Остров Тасмания! Марки, разноцветные кусочки карты, цифры, слова... Иногда появлялась шальная мысль: вдруг все это кем-то придумано просто так, для интереса! Ну, а теперь мне представляется возможность самому увидеть, понюхать и попробовать на вкус.

— А дальше что? Не будешь же ты весь свой век путешествовать?

— Не знаю. А почему бы и нет?

— Наскучит, потянет к настоящей работе.

— А это разве не работа?

— Какая же это работа! — сказала она убежденно.

Он махнул рукой:

— Все равно. У меня нет пятилетних планов. Я человек, а не государство, а человек в наше время должен жить сегодняшним днем.

— Чушь! — резко сказала Вера.

Максимов усмехнулся.

— Ты, как и все другие, тешишься самообманом. Ах, ах, планы: на будущее, творческий труд... Ты произносишь слово «работа» с каким-то священным трепетом. Для чего люди работают? Работа для работы? Ерунда! Одни для того, чтобы есть, пить, защищать тело от холода, развлекаться, у других более высокие мотивы: ученая степень, известность, слава. Найдется только сотня-дру-

гая людей, какие-нибудь поэты-бессребреники, которые работают ради сокровенных минут созидания. Конечно, хорошо, когда работа интересная, но не она главное в жизни человека.

— Я не согласна с тобой, Лешка,— сердито сказала Вера.— Что же главное — еда?

— К сожалению, для многих.

— А для тебя?

— Для меня? А! — Он махнул рукой.— Не хочу, чтобы ты считала меня позером.

— Мое мнение для тебя что-то значит? — быстро спросила она.

Он с изумлением взглянул на нее. Вот это переходики! Но тут же он забыл все свои рассуждения, заметив странный, слепящий блеск в глазах Веры.

«Не может быть. Но почему не может? Что я, урод, кретин? Да нет, ведь мы шесть лет были друзья, и она не знает, что я ее люблю. Но почему она так странно смотрит?»

— Пошли,— сказал он, вынул сигарету и закурил.

Только когда они подошли к автобусной остановке, он решил взглянуть Вере в лицо. Оно было печальным и изучающим. Алексею стало не по себе. Неожиданно она тряхнула головой, будто снова освобождаясь от чего-то тягостного, и улыбнулась своей спокойной, ласковой улыбкой.

— Послушай, Лешка, почему ты к нам никогда не зайдешь? Папа о тебе несколько раз спрашивал. Что из того, что я вышла замуж? Я знаю, Владька обижен, он ведь ухаживал за мной. Но мы же с тобой просто друзья. Не так ли?

— Совершенно верно,— холодно заметил Максимов.— Вот твой автобус. Я зайду как друг дома. Привет папе и... Доцент не рассердится?

Верино спокойное лукавство выбило Алексея из колеи. Он понял, что сегодня между ними произошло что-то такое, что помогло ей прочно захватить инициативу. И действительно, она рассмеялась, похлопала его на прощание по щеке и вспрыгнула на подножку.

Максимов остался стоять, провожая взглядом тяже-

лый горб автобуса, увозящего на Петроградскую сторону его любимую девушку. Потом он прицелился, метко бросил окурочок в урну и отправился ужинать в кафе-автомат.

ЭТО ИХ ДОМ

Порт не казался им теперь хаотическим, странным миром. Пройдя через главные ворота, они как бы отрешались от городской суетливой жизни, где все так сложно, и попадали в другой, стопроцентно мужской мир, где властвуют точные понятия: топливо, груз, спирт. В ночной тишине иногда отрывисто, как во сне, вскрикивали маневровые паровозы, долетали обрывки музыкальных фраз из репродукторов жилого поселка, гулко стучали по асфальту шаги. Максимов и Карпов шли в ногу очень энергично. Молчали и думали. Каждый о своем.

Алексей Максимов: «Я трепач, что ли? Перед Верой позирую нигилистом, а ведь люблю ее. Где логика? Завтра же пойду к Вере и скажу ей обо всем, пусть знает. А вдруг она начнет смеяться? Что ж, тогда все будет кончено. Рассказать Владьке? Нет, нельзя лишаться друга. Вдвоем идти легче в такую темень. Как солдаты, как в песенке Монтана. Позвякивает фляжка на боку, и весело шагается полку. А что сделал бы Сашка? Да, Сашка! Как он там, в своем Круглогорье? Чертов идеалист, придумал тоже... чувство своего окопчика... ответственность перед поколениями... Изящные словеса. Посмотрим, как он вззоет через год. Как бы не запил. Ну, хорошо, предположим, окопчик. Почему мой окопчик должен быть там, где скучно, нудно, паскудно? На фронте тоже — одни копались в земле, а другие взмывали в небо. Вот и буду взмывать и лезть туда, куда я сам захочу. В конце концов, мы всего лишь несчастные, маленькие людишки. Как это сказано в каких-то стихах: «...гости земли, мы пришли на один только вечер...» Так стоит ли вообще драться? Нет, драться стоит. За любовь, например, стоит, за честь своей родины стоит

драться, за социализм. Значит, я гражданин? Следовательно, я должен иметь чувство своего... Скорей бы в море. Там будет проще — только волны и небо. Разберусь. Обязательно попрошусь на «Новатор». А пока надо бросить нитье и время использовать с толком: почитать всякие умные книжки, концерты послушать, на выставки походить».

Владислав Карпов: «Стеклянные стены операционной, треск электрокоагуляторов, отрывистые слова... Возьмется белые шапочки, мелькают проворные пальцы. Все это совсем недалеко от ее дома, каких-нибудь триста метров по набережной. Вода отражает берега с исключительной точностью, удваивает этажи, деревья растут вниз, люди стоят вверх и вниз головой, как карты. Я бубновый король, она бубновая дама. Так было. Сейчас она уже дама червей. А я все тот же, но живу в другом краю. Фактически в одном городе, а кажется — за тридевять земель. Все, что было, прошло, прыгнуло сразу в далекое прошлое. Она меня никогда не любила, не верила в меня. Может быть, мы столкнемся случайно лет через пять — десять. Располневшая ученая дама и морской бродяга. Скорей бы в море. Представляю, какой поднимется шум среди знакомых, когда я вернусь из первого рейса. Наверное, и до Веры дойдет. Я привезу кустик кораллов и... подарю его какой-нибудь крошке Маргарет. Потеха! А вот возьму и женюсь на первой попавшейся девушке! Может быть, посоветоваться с Лешкой по этому поводу? Привет, Макс, дружище! Что-то он сегодня какой-то странный, то веселый, то мрачный, возбужденный какой-то. Ишь вышагивает, как солдат! Раз-два, раз-два! Бьет барабан, красотки смотрят вслед, в душе весна, солдатам двадцать лет...»

Он запел вслух. Максимов вздрогнул и с изумлением взглянул на него. То, что он мычал про себя, Владька запел вслух. Такие случаи бывали у них раньше с Сашкой Зелениным, когда мелодию, вертящуюся в голове у одного, начинал напевать другой.

— Видно, наши мозги на одну волну настроены.

— Ты мистик, Леха.

— А как ты это объяснишь?

— Мир полон загадочных явлений,— вздохнул Карпов.

Блуждающие огни третьего района порта остались позади. Впереди очень темно. И тихо, как дома. Вот начали проступать из мрака очертания «карантинки». Единственное освещенное окно висело в ночи, как батисфера в больших глубинах. Это их дом. Огромный, пустой, скрипучий, страшноватый, нетопленный, но это их дом. «Мой дом — моя крепость», — говорят англичане. Максимов стал вспоминать все свои временные жилища. Он каждое из них любил, и из каждого ему хотелось поскорей убраться. Куда?

Через все небо гигантским циркулем прошел луч прожектора. Упал и вырвал из мрака профиль порта. А там, далеко-далеко, сверкнула линия горизонта. Как хорошо жить на земле, когда всегда перед глазами линия горизонта! Как хорошо, что земля — шар!

ГЛАВА V

ДАША

— Ну что вы, мам, какие несуразности говорите!

— Я тебе, Дарья, все точно передаю, сама видела: бегают твой доктор в исподнем вдоль озера и с мальчишками, со школьниками, мяч гоняет.

— Какое же это исподнее? Это тренировочный костюм. Александр Дмитриевич решил волейбольную команду организовать. И очень хорошо: спортивная работа у нас не на высоте.

Мать сердито брякнула на стол перед Дашей сковороду с яичницей.

— Не на высоте-е? Умная ты больно стала, Дашка. Смотри, поднимет он тебя на высоту.

— Что вы имеете в виду?

— То, что вижу.

Она повернулась и ушла в сени. Вернувшись через минуту с миской малосольных огурчиков, присела возле Даши, погладила ее по голове.

— Боязно мне, дочка. Бабы болтают: обхаживает он тебя. А ведь в Москве у него вроде невеста. Чуть ли не каждый день по телефону с ней калякает. Зойка с почты говорила: надысь полсотни рублей отдал за пустяковый разговор.

Даша зарумянилась.

— Перестаньте, мама, это уж слишком! У нас с Александром Дмитриевичем чисто служебные отношения.

Она схватила пальто, портфельчик и выбежала на крыльцо.

«Вот, значит, как,— подумала она, глубоко вдыхая холодный воздух,— вот, значит, как: я стала соперницей. И кого — москвички!»

Ей захотелось пуститься бегом, но, помня о своем медицинском звании, Даша, высоко подняв голову, степенно пошла по мосткам, быстро, не в такт размахивая портфельчиком.

«Я красивая. Да-да, не просто симпатичная, а красивая. А она, интересно, какая? Худенькая, должно быть, москвички, они все худенькие, бегают по эскалаторам».

Мать, сама не ведая того, направила Дашины мысли в определенное русло. Ее недовольство мамиными разговорами было притворным. Наоборот, она испытывала безотчетную радость и непоседливое ожидание, как в кино перед новой картиной. Мать расставила все по своим местам. Доктор ее обхаживает, а в Москве имеется соперница. Ой, да ведь Даша совсем уже взрослая!

«Да что это я,— вдруг смутилась она,— ведь не влюбилась же я в него? Просто он работает с душой и, как видно, хороший общественник. Поэтому он мне и приятен. Ведь он же совершенно некрасивый, не то что Федор. А Федор красивый, но неприятен. Значит, я не люблю ни того, ни другого. Уж если я полюблю, то как Ваня Ваня. Кто же это будет? Но уж конечно не Александр Дмитриевич. Он мне просто приятен по служебной линии».

Погруженная в такие мысли, она дошла до больницы и, войдя в ворота, увидела, что через двор, на ходу что-то дожевывая, бежит Зеленин в одной рубашке.

«Сумасшедший! — мысленно вскрикнула она.— Простудишься. Какой же ты смешной! Разве в такого можно влюбиться?»

СТЕКЛЯННЫЙ МЫС

Зеленин выбежал из дому, не накинув даже пиджака, потому что его позвали к телефону. «Неужели Инна в такую рань?» — подумал он. Они звонили друг другу теперь по очереди, чтобы расходы пришлись пополам.

В дежурке возле телефона сидел бухгалтер. Каждое утро он приносил Зеленину кипу бумаг, «присланных с центра» или сочиненных им самим. Зеленин вскрывал объемистые пакеты, читал длинные инструктивные указания, методические письма, запросы и с грустной покорностью засовывал их в ящик стола. С еще большей грустью он просматривал умопомрачительные вычисления бухгалтера.

— Подпишите, Александр Дмитриевич, расчеты по кредиторской задолженности,— говорил бухгалтер.

— Засадишь ты меня, Григорий Савельевич.

Тот посмеивался, довольный своей таинственной силой. Сейчас, когда на столе лежала телефонная трубка, в которой, возможно, был заключен голос Инны, Зеленину стало неприятно присутствие этого претенциозного сухаря с его нудными, как головная боль, бумажками.

— Кто звонит? — спросил он, ожидая увидеть в ответ многозначительную улыбочку.

— Вас спрашивает председатель поселкового Совета. Зеленин взял трубку.

— Я слушаю.

— Привет, товарищ Зеленин. Неприятные новости. На Стеклянном грипп людей косит, пятьдесят процентов бульдозерного парка из-за этого простаивает.

— Да-да, я знаю. Как раз сегодня туда собирался.

— Я тоже сегодня туда еду по вопросу жилищного строительства. Могу вас подбросить.

— Очень хорошо.

— Подходите сейчас к чайной.

Прогуливаясь по берегу возле чайной, Зеленин поднял воротник и потуже закрутил шарф. Он все еще хо-

дил без шапки, вызывая удивление местных жителей. Здесь, на берегу, было видно, как близка зима. Тяжелый ход снеговых туч с севера, из Карелии, волнующаяся масса темной воды, голый, как проволочные заграждения, кустарник — одна эта картина вызывала неприятное познабливание. Зеленин обернулся к улице. Она была пустынна, только вдалеке по мосткам двигалась фигура какого-то инвалида с костылем. Над трубами домиков трепались сбиваемые к земле сивые клочья дыма. Инвалид в синем плаще энергично приближался. Увидев его красное широкое лицо, Александр вздрогнул. Два образа этого человека мгновенно соединились в памяти. Дворцовая набережная. Круглое лицо инвалида, затуманенные глазки... «Куда клонится индекс, точнее, индифферент ваших посягательств?»

«Вот мои коронные», — дружелюбно посмеивается человек в зеленом френче, сидящий за письменным столом.

«Поэтому он не привстал со стула, пожимая руку. Как это я сразу не догадался? Занятно. А может быть, это все-таки не тот? Как он нам тогда представился? Сергей Егоров, правильно. Ну попробую».

— Привет, товарищ Егоров!

— Здравствуйте, доктор, еще раз. Машина на заправке, сейчас подойдет. Подышим пока свежим воздухом. — Он глубоко, будто выполняя процедуру, несколько раз вздохнул, посмотрел в сторону озера и сказал: — Полюбил я этот край, будто и родился здесь.

— Я думал, вы здешний, — отозвался Зеленин.

— Нет, я воронежский. После войны с женой приехал к себе на пепелище, даже могил родительских не отыскал. Ну, жена сюда меня сманила, на свою родину. Приехали, а здесь тоже одни трубы торчат. Сильные бои тут были, финны из минометов жарили. У них неподалеку подземный форт находился.

Подкатила машина, новенький «ГАЗ-69» с брезентовым верхом. Они поместились рядом на задних сиденьях. Егоров объяснил, что прямой дороги на Стекланный мыс пока нет, ехать придется кружным путем, километров за двадцать.

Машина легко шла по размытой грунтовой дороге.

Прозрачный осенний лес мелькал по сторонам. Проехали одну за другой три деревеньки. Ветхие избенки косячились вдоль кювета. В окошках, как бельма, торчали фанерные заплаты. Иные окна крест-накрест были заколочены досками. Раз два из-под колес порскнули поджарые, как щенки, поросята. Зеленин был поражен.

— Какое убожество! — прошептал он. — В чем дело? Егоров сопнул натужливо, по-стариковски.

— Оскудели тут у нас колхозы. Что вы, не знаете?

Откуда ему было знать? В простоте душевной он считал сельской местностью дачный поселок Комарово. Два или три выезда «на картошку» не открыли ему лица деревни. Очень уж было «на картошке» весело и многолюдно, как на студии «Ленфильм» среди фанерных декораций. Мелькавшие в газетах статьи о тревожном положении в сельском хозяйстве он просматривал равнодушно: в ленинградских магазинах последние годы было изобилие продуктов. Сейчас Александр чувствовал неловкость, словно совершил бестактность. Ему казалось, что своим вопросом он затронул в соседе что-то наболевшее. Но Егоров уже смотрел по-прежнему весело и чуть насмешливо.

— Слышали, анекдот такой ходил? Собрались колхозники на совещание решать вопрос, как лучше помочь студентам в уборке урожая. Ха-ха-ха! А ведь почти так оно и было: не шефы помогали нам, а мы шефам, от худосочия своего. Народ весь по городам разбежался. Ну, а сейчас возвращаться начинают, кое-кто строится даже.

Действительно, за первым рядом чахлых избушек кое-где желтели горбыли новостроек.

— Ишь ты, на дачный манер брата Ферапонтовы виллу себе грохают, — помолодевшим голосом сказал Егоров. — Погодите год-другой — пойдет у нас жизнь!

«Газик» напористо лез в гору. Вдруг открылась панорама строительства. Стекланный мыс зеленым хвойным треугольником врезался в озеро. У самой воды под защитой лесистого горба притулились несколько барачков и десяток финских домиков. Тянулись встречные цепочки самосвалов. В котловане ворочались и будто раскланивались друг с другом два экскаватора.

Шофер развил на спуске бешеную скорость. Чуть не свалившись в кювет, он вильнул в сторону от буксующего на подъеме звероподобного «МАЗа».

— Петька, очумел! — крикнул Егоров.

— Не трухай, Сергей Самсонович! — весело гаркнул шофер. — Финиш как-никак.

Возле одного из барачков машина остановилась. Егоров и Зеленин вошли в контору главного инженера. Здесь вдоль стен сидели люди в ватниках и брезентовых плащах. Из-за стола взглянул на вошедших человек с огромным желтым лбом. Узкий клинышек редких волос еще спасал его от причисления к лысым.

— Привет советской власти! — сказал он. — Здорово, Егоров!

— Здравствуйте, товарищи! — как маршал на параде, гаркнул Егоров, проковылял к столу и пожал руку главному инженеру. — Молитесь богу: доктора вам привез.

Народ вдоль стен загудел. Зеленина покорило. Благодетель, доктора им привез. Как будто доктор сам не пришел бы. Демонстративно, словно желая досадить ему, он стал пожимать руки подряд всем присутствующим. Должно быть, это понравилось.

— Ученый, видать, мальчонка, — услышал он за спиной.

Главный инженер провел ребром ладони по горлу:

— Вот так горим, доктор. Процентом сорок народу свалил этот нежелательный иностранец — господин Грипп. Но, между прочим, подозреваю, что часть людей просто симулирует под этим флагом. Понимаете, фельдшер у нас очень уж робкий.

— Чего там, Юрий Петрович!.. — обиженно прогудели из-за угла.

— Точно я говорю: робеешь. Парнюги у нас, доктор, тут есть задорные, из числа бывших заключенных несколько позатесалось. Обстановка сложная, что и говорить.

Главный инженер понравился Зеленину. Это был знакомый по литературе и кино тип капитана стройки, человека очень усталого, решительного и иронического, словно все людские слабости перед ним как на ладош-

ке. Александр снял пальто, достал из чемоданчика халат.

— Если не возражаете, я пойду по баракам, посмотрю больных.

— Прошу вас, доктор, обратить особое внимание на третий барак. Там у нас теплые ребята подобрались, Кузьмич, проводишь доктора?

— Странный вопрос, Юрий Петрович,— прогудел обиженный голос, и из угла вышел скучный, вислоносый гражданин в пушистой ленинградской кепке и черном пальто.

— Тимоша,— позвал главный инженер, и возле стола вырос огромный детина,— ты тоже проводи.

Зеленин понял, что третий барак— дело нешуточное.

Они вышли из конторы и направились к жилым баракам. Тимоша шагал впереди, несколько округлив руки и согнув бычью шею. Видно было, что парень недавно демобилизовался с флота.

— Простите, вы не в Кронштадте служили?— спросил Зеленин.

— Так точно!— изумленно рявкнул Тимоша.— Бывали там?

— Приходилось. Мы там были на практике. Как будто я вас видел.

Тимоша улыбнулся:

— И я посмотрю, личность мне ваша вроде знакомая.

Они посмотрели друг на друга и оба решили: хорошо, пусть будет так, будем считать, что мы действительно встречались в Кронштадте.

В третьем бараке стояло по меньшей мере сорок коек. Часть из них была аккуратно застелена и светилась белыми отворотами простынь, а другая часть была покрыта скомканными одеялами. Синие спирали табачного дыма медленно плыли под низким потолком. После свежего воздуха здесь было трудно дышать. Пахло потом, сивушным духом, паленым тряпьем. При стуке двери кучка парней, сидевших на полу возле печки, приснула по койкам. Наступило молчание. Зеленин, Тимоша и фельдшер пошли по проходу.

— Здравствуйте, товарищи,— сказал Зеленин.

— Куда же делась эта сука, хотелось бы знать? — послышался громкий ленивый голос.

— За папиросами, видно, побег.

— Вот и ставь таких на хипиш.

Из дальнего угла крикнули:

— Тимофей, профессора, что ль, привел? Ну, пацаны, даст он нам сейчас прикурить!

В бараке начался гвалт. Парни бесцеремонно переговаривались, что-то орали, бросали с койки на койку папиросы. Кто-то засвистел.

— Тиха-а! — громово раскатился Тимоша, и все сразу замолчали.— Ну, орелики, как протекает ваша болезнь? Федор, много грошей насшибал? А ты, Ибрагим?

— Ничего не знаю, не понимаю. Голова шибко болит,— быстро ответил Ибрагим и закрыл глаза.

— Сейчас вот мы разберемся, кто из вас порядочный человек, а кто скотина. Командуйте, доктор.

— Что это, товарищи, вы закупились? — сказал Зеленин.— У вас тут не воздух, а бурда. (В углу гыкнули.) Эдуард Кузьмич, раздайте всем термометры.

— Бесплезно,— шепнул фельдшер,— подгоняют, черти.

— А вы проследите. Товарищи, прошу немедленно прекратить курение и открыть форточки. Гриппозный вирус боится свежего воздуха.

— Какой там вирус,— сказал Тимоша,— симулянты они все!

— Этого я не знаю.

Он подошел к крайней койке, по всем клиническим правилам расспросил больного, заставил его снять рубашку, выслушал, осмотрел горло. Парни под бдительным оком Тимоши заскучали, смиренно поставили градусники под мышки. Худой и смуглый Ибрагим сидел на койке, натянув одеяло до подбородка, раскачивался и что-то мычал, заунывно пел, явно импровизировал. Зеленин прислушался.

— М-м-м-м...— тянул Ибрагим.

Зовут меня в ударники,
Чтоб я в бригаду к ним ходил...
Зачем мне ваши кубики,
Я свободный Ибрагим.

Этот человек с печальными глазами, Ибрагим Еналеев, последние годы жил как бы в полусне. В пятьдесят третьем, когда амнистированные уголовники разлились по стране, он вместе с другими испытывал только дикую радость. Они бродили в толпах свободных людей, приглядывались к нормальной человеческой жизни и не знали, куда себя деть. Многие нашли свое место, начали новую жизнь, многие вернулись назад, не достигнув даже теплых земель, а некоторые, вроде Ибрагима, слонялись со стройки на стройку, с завода на завод, из города в город, не возвращаясь на прежнюю преступную дорогу, но и не решаясь избавиться от лагерных привычек и взглядов. Вербовались в отъезд и исчезали, получив подъемные, в общежитиях пили спирт и чефир, по крупной играли в карты, на работе «придуривались».

Фельдшер сказал на ухо Зеленину:

— Этот здесь главный заводила. Он да три его дружка из амнистированных. Один местный, из Круглогорья. Дикая личность, я вам скажу. Посмотрите.

Зеленин повел взглядом в сторону кивка фельдшера и вздрогнул. У него давно уже было такое ощущение, словно кто-то стоит за спиной, готовый сжать так, что хрястнут кости. Теперь он понял, чем это вызвано: в упор на него, не мигая, смотрели серые страшные глаза. Они принадлежали парню атлетического сложения, который лежал поверх одеяла, скрестив на груди голые руки. Могучие эти татуированные руки с вяло перекачивающимися под кожей шарами бицепсов напоминали нажравшегося питона. Вообще казалось, что парень только потому не крушит все вокруг себя, что в эту минуту он дьявольски сыт. Странная, очень странная усмешка блуждала на губах.

«Убийца!» — вдруг понял Александр, и у него ослабли ноги. Отвратительное ощущение слабости и незащитности охватило его.словно в гипнозе, он подошел к парню и сказал:

— Давайте градусник.

— Пожалуйте, доктор, — ответил парень, неожиданно приятным, вежливым голосом, и Зеленин заметил, что он очень красив, у него правильные черты лица, вьющиеся длинные волосы льняного цвета.

Температура была нормальная. Зеленин послушал сердце; оно стучало в ритме мощного мотора. Легкие дышали, как мехи.

— Что у вас болит? — спросил он.

— Ничего, — широко улыбнулся парень.

— Голова, горло, живот?

— Все нормально. Душа немного болит.

— Отчего же?

— Влюбленный я.

Зеленин прочел на ногах парня надпись: «Они устали». Стало смешно. Он скрутил фонендоскоп и сунул его в карман. Странное, стыдливое чувство прошло — откуда оно взялось? — он снова обрел уверенность.

— Бюллетенчик надо продлить, — вдруг тихо и отчетливо проговорил парень.

— Это на каком же основании?

— По-свойски. Мы ведь с вами вроде бы сродственники.

— То есть? — опешил Зеленин.

— Предмет у нас один — Дашутка Гурьянова. — И вдруг рыкнул: — Понял, лепила?

— Перестаньте болтать чушь! — резко сказал Зеленин и пошел прочь, выпятив подбородок. «Вот оно что! Даша и этот сытый громила? Дико, непостижимо. Милая чистая девушка и... Значит, и обо мне болтают. Разве я давал повод?»

— Ну как, познакомились? — спросил фельдшер.

— Кто это?

— Федор Бугров.

Осмотр продолжался. Внезапно скрипнули двери, и в барак, пошатываясь, вошел человек в заляпанной глиной спецовке. Как слепой, он прошел по проходу и свалился на койку. Тимоша бросился к нему, потряс его за плечо:

— Витька, друг, что с тобой?

— Я еще вчера велел ему соблюдать постельный режим, — сказал фельдшер, — а он, видите, опять на площадку уперся. Вчера еще температура была тридцать девять и три.

Тимоша хлопотливо и аккуратно раздел Витьку, сунул ему под мышку градусник, укутал одеялом. После этого

он выпрямился, метнул взгляд в сторону Ибрагима и Федора и тихо, но внятно сказал:

— Сволочи!

Из двенадцати человек у четырех была повышенная температура, у остальных нормальная, но все, кроме Бугрова, жаловались на головную боль, ломоту и дурноту.

Зеленин сказал:

— Грипп сейчас принимает самые необычные, атипические формы. Он может протекать и без температуры. Поэтому я не могу точно сказать, кто из вас действительно болен, а кто симулянт. Правда, один,— он взглянул в сторону Федора, тот, улыбаясь, показал ему огромный кулак,— правда, один явный симулянт. Я говорю о Федоре Бугрове. Он пытался меня шантажировать. А остальные... Это уж дело вашей совести.

— Почему нам резиновые сапоги не выдают? — вдруг крикнул Ибрагим.

Какой-то парень поднял над головой башмаки.

— Попробуй, доктор, в таких штиблетах в воде поработать. В самом деле заболеть можно.

Тимоша поднял руку:

— Тихо! Эх вы, шпана, смотрите, Витька до чего себя довел! А потому, что настоящий комсомолец, за дело у него душа горит. А вы...— он махнул рукой,— кусочки. Ну вас к черту! Будут сапоги, завтра баржа придет.

Ибрагим соскочил с койки и босиком, в одном нижнем белье подбежал к Тимоше.

— Кусочник, ты говоришь? Раз лагерник, значит, не человек? Доктор, почему они меня презирают? Зовут на собрание, а сам за карман держится.

Тимоша усмехнулся:

— Что ты мелешь? Меня твое прошлое не интересует. Работал бы честно, и тебя бы считали человеком. Скажи вот, Ибрагим, болен ты?

— Здоров! — заорал Ибрагим.— Работать пошел, ну вас к черту!

Он бешено пронесся назад к койке и стал одеваться.

— Пошли,— сказал Александр и открыл дверь. Невольно он в последний раз взглянул на Федора, тот сно-

ва показал ему кулак. И опять на какое-то мгновение панический страх налетел на Зеленина.

На крыльце Тимоша сунул в рот тоненькую папироску и сказал сквозь зубы:

— Федьку Бугрова на собрании почистим. Завтра же поставлю вопрос.

— Вот она, современная молодежь,— вздохнул фельдшер.

— «Современна-а-я»,— передразнил его Тимоша. Он был очень возбужден. Сказав, что в остальных бараках народ сознательный, попрощался с Зелениным и прыгнул на подножку проходящего самосвала.

Зеленин работал вместе с фельдшером несколько часов. Он назначил лечение всем больным, наиболее тяжелых распорядился отправить в больницу. Закончив обход, они пошли в контору.

— Ну как там, в третьем? — спросил главный инженер.— Есть симулянты?

— Есть, конечно, но...

— Не знаю, что кадровики смотрели... Набрали бывших уголовников, вроде этого Еналеева.

— Мне кажется,— тихо сказал Александр,— что этот Еналеев, по сути, не плохой человек. Может быть, если к нему подойти без оглядки на его прошлое...

— Пробовали. Таких не отмоешь и святой водой.

— Неправильно,— вмешался Егоров,— сам знаешь, Юрий Петрович, что это неверно. У нас часто не хватает времени, а иногда и желания разобраться в человеке. Забываем, друзья, что каждая человеко-единица имеет свой собственный внутренний мир.

Зеленин с удивлением взглянул на Егорова. Главный инженер тоже посмотрел на него, усмехнулся и спросил Зеленина, не нуждается ли больница в помощи в смысле ремонта или подвозки топлива.

— Запомните, доктор, что у вас теперь есть богатый дядя.

Вдруг за дверью послышался громкий сердитый голос, и в комнату ворвался парень в кожаной куртке.

— Юрий Петрович, что же это получается с цементом? — заорал он.

Главный инженер вскочил, и несколько минут они кричали друг на друга остервенело, но без злости. Фигура парня в кожаной куртке, его лицо и жесты показались Зеленину очень знакомыми. Главный подписал какую-то бумажку, парень схватил ее, сунул в карман, повернулся, изумленно присвистнул и протянул Зеленину руку:

— Привет!

— Привет,— неуверенно пожал руку Александр.

— Не узнаешь? Не удивительно: ты ведь меня только в клеточку видел. А помнишь, как я тебе блок поставил? Ты даже очки потерял.

— ЛИСИ! — радостно воскликнул Александр и вскочил.

Теперь он узнал этого волейболиста из команды строительного института. Они обнялись. В громадных сверкающих залах они посылали друг в друга пушечные удары, а после игры расходились незнакомыми. Но здесь, на берегу холодного озера, в затоптанной комнате, они встретились как члены единого братства ленинградских студентов, тем более студентов-спортсменов. Саша ликовал. Подумать только: ехал сюда, как в пустыню, а встречает знакомых волейболистов! Даже встретив здесь Лешку Максимова, он обрадовался бы не намного больше.

— Команда у вас была ничего себе. Особенно один защитник, сердитый такой малый.

— Максимов?

— Кажется. Где он сейчас?

— У, брат, он скоро в дальнее плавание уйдет, в торговый флот распределится! Слушай, а что, если нам здесь организовать тренировочки?

— Доктор, выпей валерьянки. На дне озера, что ли?

— Подожди, что-нибудь придумаем.

Парня звали Борисом. Он проводил Зеленина на крыльцо и договорился, что на днях к нему «заскочит», Зеленин и Егоров пошли к своей машине.

— Ну, а как с жилищным строительством, Сергей Самсонович?

Егоров уперся костылем в глину, повел левой рукой и весело сказал:

— Здесь будет город заложен назло надменному соседу.

— Какому же соседу?

— Есть тут у нас городишко неподалеку, чуть побольше Круглогорья. С гонором городишко.

ЕГОРОВ

Ранние сумерки легли на строительство, на озеро, стерли линию горизонта. Из темно-серых глубин неба опускались редкие снежинки. Попадая в свет фар, они искрились, как звезды, и ложились на дорогу, чтобы сразу же погибнуть под колесами. Машина медленно идет вверх: сейчас, в темноте, Петька стал осторожнее. Машина идет, как слепец, вытянув вперед длинные желтые руки, перебирая ими тонкие стволы осин.

— Закурим, доктор?

— Благодарю, у меня свои.

— Ну, как вам понравился Стекланный мыс?

— Знаете, я просто воодушевился. Оказывается, жизнь кипит совсем рядом с нашим Круглогорьем.

— Да-да,— с энтузиазмом подхватил Егоров,— и в Круглогорье скоро тоже наступят перемены! Проложим шоссе по берегу озера, вдоль него построим дома, пусть автобус. Поселок и стройка сольются, и будет город Круглогорск.

— А может быть, лучше Нью-Москва? — не удержался Зеленин и тут же подумал: «Зачем это я? Человек мечтает».

Посмеявшись и помолчав, Егоров вдруг без какой-либо связи сказал:

— Народ у нас здесь очень хороший.

Он словно хотел задать Зеленину вопрос, но, подумав, высказал его в форме непреложной истины.

— Все хорошие? — спросил Александр.

— Плохих я не знаю.

— А Федора Бугрова вы знаете? Что он за человек?

— А вы откуда его знаете? — быстро спросил Егоров.

— Это симулянт из третьего барака.

— Ах, вон оно что! Значит, он здесь. Я думал, он снова отбыл в странствие.— Чиркнул спичкой, снова по-

молчал.— Федька — это выродок какой-то. Он здесь у нас появляется раз в году, большие деньги приносит. Говорит, на стройках работает, но я чувствую — врет. Охальник, безобразник, пьяница. Народ стонет, когда он тут.

— Семья у него здесь?

— Нет. Мать умерла еще в позапрошлом году. Да он с ней и не жил почти. С десяти лет воспитывался у бабки в Гатчине. А бабка, знаете, известная травница, богатящая, ведьма. Мне в милиции говорили, что за ней помимо торговли зельем и шарлатанства еще кое-какие делишки подозревались, но уж очень ловко она концы в воду прятала. Так по сей день и благоденствует в Гатчине.

— Зачем же он сюда теперь приехал?

Егоров искоса взглянул на Зеленина.

— Ну, во-первых, дом у него остался, а во-вторых — зазноба.

— Даша Гурьянова? — смело спросил Зеленин.

— Та-ак... — сказал Егоров и выразительно взглянул в спину шофера. — Да, ваша медсестра, блондиночка эта самая.

— А она его тоже любит?

Егоров даже крикнул от смущения. Вот дурачина доктор, ведет себя, как в такси, да еще волнуется!

— Как ты думаешь, Петя, — крикнул он, — любит Даша Федьку Бугрова?

Шофер вздрогнул. Видно было, что он всю дорогу держал ушки на макушке.

— Дашка? — хрипло рассмеялся он. — Маленькая она, не расчихала еще, что к чему.

Зеленин понял, что Егоров дружески предостерег его. Довольно и того, что по поселку ходят глухие слухи. Но что за чепуха? В последние недели ему казалось, что установилась близость с Инной. Телефонные разговоры не реже чем через день, длинные письма, обмен фотокарточками. Теперь одна Инна стояла у него на столике. Смеющееся лицо, длинная шея, чуть обозначенные ключицы. Другая, поменьше — шесть на девять, смотрела расширенным, пытливым взглядом прямо ему в сердце. Зеленин убедил себя в том, что влюблен, что эта хрип-

лая телефонная трубка, эти голубые листочки мелко испанной бумаги, эти мастерски сделанные позитивы — все это в сумме и есть та самая девушка, которая когда-то в толпе положила ему руку на плечо и посмотрела снизу вверх, но так, как смотрят на ребенка, забравшегося на стол. На самом деле их письма и телефонные звонки были только судорожными попытками спасти тот единственный вечер, ухватить за хвост мелькнувшую на танцплощадке синюю птицу. Как «Отче наш», он повторял перед сном несколько тайных слов, смотрел на фото и засыпал успокоенный. С Дашей Гурьяновой он старался держаться посуше, поофициальнее. Подчас ему удавалось увидеть в ней только «товарища по работе». Но сегодняшняя история почему-то нарушила его покой. Содрогаюсь, он представлял Дашу в объятиях сытно отрыгивающего красавца.

— Федор — сукин сын, — услышал он голос шофера.

— А что же ты с ним водку пьешь? — спросил Егоров.

— А чего ж не пить, коли подносит? Вообще он парень веселый, народ умеет приваживать.

— Слышите, доктор, вот ведь что за публика. Пома-ни его стаканом, прибежит, хоть и сукиным сыном тебя считает. Ты небось, Петр, и с неприятелем бы на бру-дершафт выпил, а?

— Это вы зря, — сухо сказал шофер. Плечи его, обтянутые ватником, и голова со сдвинутой на затылок кеп-чонкой четким, залихватским силуэтом маячили впереди на фоне клубящегося света. — К Совету или домой? — спросил он.

— Домой, Петя. — Егоров шепнул Александру: — Обиделся, смотрите, надулся, как мышь на крупу. Хоро-ший парень. Но, между прочим, вопрос этот важный. Пьют у нас мужички крепко. Понимаешь, Александр Дмитриевич, искони все это тянется, от пращуров. При-чем считается, что здоровей водки ничего на свете нет, лучшее лекарство. Я и сам порой смотрю: может, действ-ительно есть в ней какой-нибудь витамин? Деда косма-тые по сто годов водку пьют и в ус не дуют, на охоту ходят.

— А если бы не пили, жили бы по сто пятьдесят, — сказал Зеленин.

— Вот я тоже так думаю. Тут комсомольцы ко мне приходили, хотят повести решительную борьбу с пьянством. Неплохо было бы и вам подключиться, осветить вопрос, так сказать, с научной стороны.

— Лекцию прочесть?

— Да уж это сами как-нибудь придумайте.

На главной улице Круглогорья машина остановилась возле маленького домика. В свет фар попали окна с затейливо изукрашенными наличниками, которым странно противоречила видневшаяся за стеклом деловая настольная лампа с зеленым абажуром. За тюлевыми шторками угадывались тепло, чистота и приветливость. Очень не хотелось тащиться на больничный двор, к своей пустынной квартире.

— Может, зайдете, доктор, с супругой моей познакомитесь? — спросил Егоров каким-то неестественным, насмешливым голосом.

— С удовольствием, Сергей Самсонович.

Егоров вдруг с силой хлопнул Сашу по плечу:

— Ну вот и молодец, молодец! Поужинаешь хоть раз по-человечески. Надоело небось плавлеными сырами-то баловаться.

— Откуда вы знаете? — изумился Александр.

— Э, брат, тут все друг о друге знают.

Екатерина Ильинична, жена председателя, была в платке, повязанном по-деревенски, и в элегантной шерстяной кофточке из Чехословакии.

— Круглогорской запеканочки, Александр Дмитриевич? Копченый гарьюз, очень рекомендую.

— Хариус, Катюша, — поправил Егоров.

— Ну, бог с ним. Кушайте, пожалуйста. Полагайте в чай сахар, что же вы не полагаете?

— Кладите, Катюша! Не полагайте, а кладите. Вот, Александр Дмитриевич, не поддается женщина воспитанию. Эх ты, Круглогорье! — Он любовно и горделиво притянул ее к себе.

Екатерина Ильинична погладила его по голове.

— Он ведь у меня вроде вас, ученый. До трех часов каждую ночь читает. А я вот темная. — Она улыбнулась, но в глазах ее, как показалось Саше, мелькнуло горькое

выражение.— Сережа мне говорил, у немцев есть «четыре К»¹ для женщин. Верно это?

— Ну что ты, Катя! Ведь ты же общественница.

— Вон моя общественность расшумелась,— уже весело улыбнулась она, показывая на дверь, за которой слышалась возня ребятишек,— пойду к ним, извините.

Егоров проводил ее взглядом, вздохнул и сказал:

— Сижу я иногда дома, читаю, жена вяжет, ребята мирно что-то строят из кубиков, и вдруг мне становится как-то зыбко и нестерпимо страшно: вдруг все это сейчас пропадет? Думаю, что и с другими бывает такое же, с теми, кто счастлив в семейной жизни. Видно, оттого это происходит, что слишком много горя, чтобы сразу забыть о нем. Понимаете?

— Конечно, понимаю. Может быть, все-таки с генами передается из старины это неверие в прочность своего счастья, ожидание налета темных, разрушительных сил? У наших потомков этого уже не будет.

Егоров задумчиво покрутил рюмку, улыбнулся несколько раз молча и вдруг расхохотался.

— Я сейчас подумал, доктор, что будь у меня обе ноги целы, я вряд ли имел бы сейчас тихую семейную жизнь. До войны я очень любил танцы и был большим трепачом. А на танцах, знаете...

— Иногда и на танцах...— тихо начал Александр, но не договорил.

Егоров разлил вино по рюмкам.

— Давайте, доктор, выпьем за стопроцентное искоренение алкоголизма на всем пространстве Круглогорского куста.

Зеленин опрокинул рюмку крепчайшей настойки, жмурясь, поискал вилкой, глотнул плотную слизь маринованного грибка и полез за сигаретой. В голове установился далекий праздничный гул, кровь прилила к глазам, и из табачного облака выплыла багровая луна— круглый лик с доброжелательными глазами-щелками.

— А я ведь вас знаю,— с дешевым лукавством сказал Александр.

¹ «Четыре К» — Kinder, Kleider, Kirche, Küche — дети, платье, церковь, кухня.

Багровая луна подпрыгнула, расширились сверкающие глазки.

— Что, в голову ударило?

— Нет, все в порядке. Попробуйте вспомнить. Дворцовая набережная, два мерзких пижона оскорбляют ветерана.

— Ой! — вскричал Егоров и закрыл лицо рукой. — Значит, это были вы? — проговорил он глухо. — То-то я сначала голову ломал, где я вас видел. Черт побери, как стыдно!

— Мне тоже, — сказал Зеленин.

— Вам-то что? Это ведь я к вам пристал. Верите ли, первый раз в жизни потерял над собой контроль. И все Мишка Сазонов, старая кочерга. Четырнадцать лет не виделись, и вдруг, понимаете, выхожу из Дома книги и сталкиваюсь с ним. Тяжело сложилась жизнь у парня. Пятно на нем есть, и отмыть его трудно.

— Какое же пятно? — спросил Александр, хотя его интересовало совсем другое.

— Понимаете, в бою Михаил вел себя отлично, а вот казни испугался. В плену. Сигнали их в березовую рощицу, стали сортировать. Евреев и коммунистов, как известно, в яму. Ну, Мишка и зарыл свой партбилет под березкой. Ужас на него нагнала эта яма. Вот рассудите: подлец он или нет?

— Я не знаю, — медленно ответил Зеленин, — такой страшный выбор... Может быть, он и не подлец, но не коммунист. Просто человек.

— Да-а-а. Словом, после войны Михаил отправился в ту рощицу. По ночам целую неделю там копал.

Зеленин передернулся:

— Ну и что же?

— Костей накопал много и металлических предметов: пуговиц, пряжек, штыков. Тогда он вроде немного тронулся. А отношение к нему было в те годы как к последнему мерзавцу и предателю.

Егоров налил себе рюмку, медленно выпил. Взгляд его скользил мимо Александра, куда-то в угол.

— Вот какую повесть рассказал мне этот мой друг. Думаю перетащить его сюда. Место присмотрел: капитаном рейда, по сплаву в основном работенка. Мы ведь

с ним из Института водного хозяйства на фронт ушли...

Какими мелкими показались Зеленину сомнения и проблемы его и его друзей по сравнению с тем, что стояло за спиной этих сорокалетних мужчин! Их как будто каждого проверяли на прочность, щипцами протаскивали сквозь огонь, били кувалдой, совали раскаленных в холодную воду. «А наше поколение? Вопрос: выдержим ли мы такой экзамен на мужество и верность? Постой, что ты говоришь? Наше поколение... Тимоша, Виктор — вот они. Разве с первого взгляда не видно их силы? А мы, городские парни, настроенные чуть иронически ко всему на свете, любители джаза, спорта, модного тряпья, мы, которые временами корчим из себя черт знает что, но не ловчим, не влезаем в доверие, не подличаем, не паразитируем и, пугаясь высоких слов, стараемся сохранить в чистоте свои души, мы способны на что-нибудь подобное? Да, способны! Пусть Лешка корчит из себя усталого циника, уверен, что и он способен. И Владька тоже...»

— Сергей Самсонович, вы помните хоть немного тогдашний наш разговор?

Егоров поморщился и досадливо махнул рукой:

— Какое там! Была сплошная пьяная склока.

Странно, он ничего не помнит. Для него это досадный и нелепый эпизод, а между тем именно эта стычка привела Зеленина в Круглогорье.

— Впрочем, кажется, что-то припоминаю. Я увидел двух парней... Вспомнил! Мне показалось, что вы похожи на стилига, и я направился выяснить ряд вопросов. Что я бормотал, этого уже не помню.

— Вы хотели выяснить, куда клонится индекс, точнее, индифферент наших посягательств.

Егоров изумленно выпучил глаза и захохотал.

— Что вы! Серьезно? Это же была наша институтская острота. Видно, для подхода ее ввернул.

— А я решил, что это из вас культура прет.

— Видите, как сложно людям понять друг друга.

— Но что вас все-таки волновало? Простите за назойливость, мне это важно знать.

— Что волновало? — Егоров обвел взглядом стены, окна и потолок своего дома. — Это был странный вечер

с самого начала, и странные чувства во мне взыграли. Понимаешь, я много лет не был в большом городе. Как после войны забрался сюда, так и не вылезал. И вот ранним вечером я попадаю на Невский, стою у стены, чувствую себя жалким, провинциальным, одноногим. А мимо толпа течет. Здоровые, веселые люди, молодежь, девушки, стройные, смелые, ну и вульгаритэ, конечно, попадают, юнцы какие-то развинченные косяками ходят. Музыка из кафе... А я думаю, вернее, не думаю, а ощущаю какой-то дополнительной селезенкой! Егоров, ты глупец и идеалист. Кто из этих людей узнает о твоих «великих деяниях» на сельской ниве? Какая девушка подарит тебя улыбкой? Ты не видел жизни, не знал молодости. Смотри теперь и грызи локти. Ну тут сердце мое, ошарашенное и испуганное, заорало: «Неправда! Щенки! Вы никогда не узнаете сладости поцелуев, каждый из которых кажется последним, никогда при жизни не почувствуете, какие жесткие пальцы у смерти, никогда не затуманит ваши головы и не стеснит вашу грудь молодая гроза внутри! Помните, «нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед»? А вас куда она бросала, жалкое племя панельных шаркунов?» Но мозг мой вмешивался и приказывал: «Стоп, Егоров! Что ты, не видел нынешней молодежи? Не знаешь, как она может работать? Они веселы, шатаются по Невскому, целуются, но они же в теплушках уезжают на восток, как ты когда-то ехал на запад, они же бродят по тайге и лазают по домнам. А эти развинченные пижоны... Во-первых, их не так уж и много, а во-вторых, что у них за душой, ты знаешь?» Вот так и билась во мне мозг, сердце и селезенка эта дополнительная. Извините, доктор, за кощунство над нормальной анатомией и физиологией. Потом я встретил Михаила.

Зеленин слушал Егорова и курил частыми, нервными затяжками. Значит, он был прав, он понял, что за бормотанием подвыпившего добряка кроется какой-то большой смысл. А Лешка этого не понял.

— Сейчас вы нашли ответ, Сергей Самсонович?

— Не совсем,— ответил Егоров.

Он повернулся на стуле и включил приемник, стоявший на тумбочке за его спиной. Александр посмотрел

на его мощный, высоко постриженный затылок и подумал, что такие вечера делают людей друзьями. Ровный гул приемника заполнил комнату. Егоров защелкал переключателем диапазонов и побежал по шкале. Стали лопаться атмосферные разряды, вскрикнула скрипка, забормотал раздраженный торопливый голос на незнакомом языке; раздались мощные тревожные раскаты симфонического оркестра. Вдруг в ткань симфонии вплелось и постепенно вытеснило ее разухабистое кудахтанье джаза: «А нам наплевать, пусть все идет к черту, нам наплева-а-а...» И в наступившей тишине отчетливо зазвучали уверенные, спокойные, знакомые с детства позывные: «Ши-ро-ка стра-на мо-я род-на-я... Ши-ро-ка стра-на мо-я род-на-я...»

— Сергей Самсонович, вы верите в коммунизм? — спросил Зеленин.

Егоров повернулся к нему, посмотрел внимательно и сказал:

— Я ведь член партии.

Зеленин смешался.

— Простите, я не так хотел поставить вопрос. То, что вы разделяете марксистские идеи, мне ясно. Я хотел спросить, вы представляете себе коммунизм реально? Вот у нас, знаете, многие кричали: вперед к сияющим вершинам! Но я уверен, что далеко не все полностью осознавали, что работают для коммунизма. Что такое сияющие вершины? Абстракция! Мне кажется, что сейчас больше людей стало задумываться над этим.

— Я понял вас, — сказал Егоров. — Правильно, некоторые представляли себе коммунизм какой-то аркадской идиллией, а некоторые просто горлопанили, не задумываясь над значением слова. Сейчас массы людей становятся строже, внимательней к словам и поступкам, ищут черты коммунизма в окружающей среде и в самих себе. А он ведь рядом, он простой, теплый. Может быть, я представляю себе его чересчур заземленно, я переношу мечту на местную действительность. Вот было сельцо Круглогорье, ходил народ на зверя, рыбку ловил, сделал революцию, прогнал белых, построил пристань, завод, новые дома, электричество провел, радио — стал поселок Круглогорье. Люди работали, умирали, другие рож-

дались уже при электрическом освещении. Мы сейчас работаем... здесь и на Стеклянном. Будет город Круглогорск. А наши дети тут атомную энергию в ход пустят. Эта непрерывная цепь уходит вперед, в грядущие годы, и я вижу: светлые, глазастые дома отражаются в теплой воде, пальмы качаются, по бетонированным магистралям стеклянные автомобили летят. Круглогорье! А что ты думаешь? Так и будет.

— Я, кажется, понял. Главное — в этой непрерывной цепи. Мой прадед сидел в Шлиссельбурге. Разве он надеялся на свержение царизма при его жизни? И весь наш мир стоит на том, что большинство людей имеет свойство работать и жить не только для живота своего...

Они засиделись допоздна. Головы их были ясны, мысли чисты, и каждый радовался, что нашел друга.

Когда Зеленин вышел на крыльцо, его поразило странное свечение ночи. Только спустя несколько секунд он сообразил, что это снег. Тучи, накрывшие поселок белой пеленой, раздавшие пушистые одеяла и шапки улице, крышам и трубам, надевшие на боярскую шубу старенькой церквушки горностаевый ворот, ушли далеко на юг. Полная луна стояла в темно-синем небе. Началась зима.

ГЛАВА VI

ПОРТ — ЭТО ТИХАЯ ГАВАНЬ

В конце ноября в одну ночь льды сковали акваторию порта. С моря к городу потянулись плотные сизые пласты тумана. Из глубины их доносились отрывистые гудки, завывание сирен, треск сокрушаемого льда. В залив выходили мощные буксиры. Там формировались караваны грузовозов. По проломанной буксирами, дымящейся дорожке они шли в порт. Лихой карантинный катер уже неделю стоял на берегу, на слипе, стыдливо демонстрируя свое ободранное красное днище. Врачи выходили теперь на прием судов в трюмах буксиров вместе с таможенниками, пограничниками, диспетчерами «Инфлота» и инспекторами по сельхозпродуктам.

Жизнь стала какой-то хриплой, дымной, топочущей, зажатой туманом и льдом в тесные рамки практической необходимости. Но кроме метеорологических факторов было еще кое-что, что не позволяло отвлекаться.

В один из отвратительных предзарплатных вечеров Владька Карпов раздраженно махнул рукой и в знак полной капитуляции пришил кнопкой к стене последний «неразменный» рубль. После этого полез под кровать и выкатил оттуда свой знаменитый чугунок.

Если бы институтское начальство решило создать музей, чугунок товарища Карпова должен был бы занять в нем достойное место. Когда шесть с лишним лет назад вихрастый напуганный увалень ввалился в общежитие на Драгунской, в руках он держал огромный деревянный чемодан с висячим замочком (впоследствии чемодан этот был назван «шаланда, полная кефали»), гитару и чугунок в пластмассовой авоське. Прошло время. Владька изучил медицинские науки и бальные танцы, приобрел внешний лоск, но все так же неизменно в конце каждого месяца на громадной кухне общежития появлялся его чугунок. Любой мог подойти и бросить в трескучие пузыри то, что имел: пачку горохового концентрата, картофелину, кусок колбасы, кусочек сахара, огурец или листок фикуса. Любой мог подойти и налить себе тарелку «супчика» (так называл это варево Карпов). Котел стоял на малом огне с утра до глубокой ночи. Кому-то нравился этот способ кормежки, кто-то считал его экстравагантным, а для некоторых дымящаяся черная уродина на газовой плите была символом студенческого братства.

В то время, когда Владька занимался кулинарией, Максимов в умывальной комнате стирал под краном свою любимицу — голубую китайскую рубашку. Из чайника поливал ее кипятком, нежно, задумчиво тер, выкручивал, полоскал, что-то мычал. Неожиданно выпрямился, выпучил глаза и, глядя в зеркало, продекламировал экспромт:

Прислали мне мои друзья китайцы
Рубашку из своей большой страны,
И я купил ее в универмаге
И заправляю каждый день в штаны.

Дверь была приоткрыта, и слова гулко покатались по длинному коридору, в конце которого всегда царила сплошная мгла. Где-то скрипнула дверь, послышалось клацанье подкованных каблучков по паркету. Максимов выглянул и увидел Столбова, важно идущего в новом синем костюме и ярко-красных ботинках.

— Столб, спички есть? — миролюбиво спросил Максимов.

Столбов сунул прямо под нос Алексею зажигалку в виде пистолета.

— Ну, как жизнь? — спросил снисходительно.

Максимов прикурил, вернулся к умывальнику и буркнул:

— Бьет ключом, и все по голове.

Только лишь с Петей, этим толстеющим жеребцом, и стоило разговаривать о жизни!

Столбов, несколько обескураженный тем, что зажигалка не произвела на Максимова особого впечатления, пошел к Владьке. Карпов сидел боком к электроплитке, помешивал в чугушке, а в правой руке держал журнал «Польша». Жестом министра он показал Столбову: садитесь. Столбов взгромоздился на письменный стол Максимова и уставился на Владьку, который продолжал читать, не обращая на него никакого внимания. Столбов не мог понять этих двух парней, Лешку и Владьку, как, впрочем, и всю их компанию, но что-то иногда тянуло его к ним. Они способны целый вечер просидеть в комнате, напевая под гитару или бубня стихи, за девчонками бегают напропалую, но как-то без толку. Столбов любит порядок, чтобы все было как положено. Любит здравый смысл. Любит рентабельность. Он тоже может проболтаться с девчонкой пару часиков и даже стишок ей ввернуть («Любовью дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне...»), но только если уверен, что игра стоит свеч. А эти? Зарплату рассчитать не могут. Опять сидят на бобах. Столбов этого не любит. Он любит расчет, любит уют, тепло, любит хорошую пищу.

— Ну, как жизнь молодая? — спросил он у Владьки.

— Жизнь моя, иль ты приснилась мне? — вздохнул Карпов и, посмотрев на часы, стал бросать в чугунок картофелины.

В дверях появился Максимов. Бодро крикнул:

— Маша, готов супчик?

«Машей» в общежитии всегда называли дежурных по комнате. Карпов засуетился, расставляя на столе тарелки.

— Я сервирую на две персоны,— сказал он Столбову.— Думаю, что вы, сэр, после обхода своих владений вряд ли окажете честь нашему скромному столу.

— А что ты думаешь?— горделиво пробасил Столбов.— Сегодня в четвертой меня таким эскалопчиком угощали— прелесть! Сплошное сало. И пива полдюжины с заведующим раздавили.

— И все бесплатно?— спросил Максимов.

— Мой милый, да ты, я смотрю, страшный наив. Кто же начальников за деньги угощает? А я как-никак нача-а-альник!

Страшно довольный, он расхохотался. Никогда Петя Столбов не думал, что после окончания института попадет на такое теплое место.

— Я и смотрю, что ты разжирел,— сказал Максимов,— но это тебе нужно. При таком росте хорошенькое пузо— и сразу начнешь продвигаться по службе.

— Но-но, без хамства!— буркнул Столбов.

Алексею хотелось есть, а не ругаться с Петей. Он принялся за «супчик».

— Ну как?— спросил Карпов не без волнения.

— Похоже на харчо,— серьезно ответил Лешка.

Владька просиял.

— Оно так и задумано... Дорогой Макс, я счастлив, что у тебя тонкий вкус гурмана.

Пока ребята ели, Столбов истуканом сидел на столе. К концу трапезы в комнате появился гладко выбритый и прилизанный Веня Капелькин.

— Хелло, комридс! Можно к вам?

Капелькин приходил в «бутылку» почти каждый вечер. Он называл ее по-своему— «каютой ППР», что означало: «посидели, потрепались, разошлись». Рассказывал старые анекдоты и новейшие портовые сплетни. Работал он сейчас в секторе санпросветработы карантинно-санитарного отдела и все делал для того, чтобы вернуть потерянное доверие. В горячке общественной работы

метался из комнаты в комнату, на каждом собрании выступал с пламенными речами, в каждую стенгазету писал статьи, в основном о борьбе за трудовую дисциплину. Он стал смиренным и теперь уже почти не вспоминал о «высоком паренье своей души».

— Что у вас слышно о визах, мальчики? — спросил Капелькин.

Максимов пожал плечами.

— Ровным счетом ничего. Молчат — и крышка. Наверное, до весны.

— И с тех пор с весенними ветрами... — заголосил Карпов. — Звучит?

— Владя, ты не ты — Леонид Кострица. Да, честно говоря, надоело заниматься санитарией. Скорей бы в море.

Карпов снял со стены гитару, стал ее настраивать, потом ударил по струнам:

Одесса, мне не пить твое вино
И не уютить клешем мостовые...

— А мне все равно, — сказал Столбов, — мне и тут неплохо. Плевать я хотел на море! Сам посуди, — обратился он к Капелькину. — Прописочка у меня постоянная, питание бесплатное, зарплата целиком остается. На кой черт мне еще отрываться от цивилизации?

— Действительно, зачем тебе море, Петечка? — ехидно сказал Максимов. — Ты теперь дорвался до сладкого пирога и жрешь, как видно, с упоением. Смотри только не подавись.

— Знаешь что... — Столбов угрожающе выпрямился. — Знаешь, Лешка, ты когда-нибудь у меня напросишься! Ты-то сам не за сладким ли пирогом кинулся, не за легкой ли жизнью? Корчит из себя святого, демагог!

— Мне легкая жизнь не нужна! — крикнул Максимов. — Мне нужна интересная, опасная!

— Опасная! — захохотал Столбов. — Так тебе на каравеллу надо какую-нибудь. Спроси-ка лучше у Веньки, какая у нас будет опасная жизнь. Качайся себе, как в гамаке, дрыхни и жри. Вот и все. Это тебе не то что на сельском участке где-нибудь вкалывать, вроде коре-

ша твоего Сашки Зеленина.— Он слез со стола, подошел к Максиму и похлопал его по плечу.— Так что, брат, заткнись. Мы с тобой одного поля ягоды! Оба любим рябчиков в сметане.

Максимов с силой оттолкнул его от себя.

— Столб, я не переносу тебя. Ты знаешь? Ну вот и убирайся, пока не подавился эскалопчиком из собственного языка.

— Может быть, устроим бокс? — мрачно спросил Столбов.

— Охотно.— Максимов стал засучивать рукава.

А молодого коногона несут с разбитой головой...—

меланхолически пропел Карпов.

— Публика! Интеллигенция! Чтоб вас!..— заорал Столбов и зашагал к двери. Вдогонку ему зарокотали струны:

Не уходи, еще не спето столько песен,
Еще дрожит в гитаре каждая струна...

Капелькин следил за этой сценой, словно за возней ребятишек. После ухода Столбова он сказал:

— Да, мальчики, Петя Столбов — человек серый, как штаны пожарника. Между прочим, говорят, он закрутил роман с заведующей одной столовой. Она и деньжатами его снабжает, и всем прочим. Словом, как у Маяковского. Дурню снится сон: де в раю живет и галушки лопает тыщами.

— Орангутанг,— сказал Максимов, успокаиваясь,— что с него возьмешь? Меня возмущает только то, что он и всех других считает созданными по своему образу и подобию. Но, между прочим, Веня, мне еще кто-то недавно говорил, что к врачу на судне относятся как к бесплатному пассажиру. Правда это?

— Ерунда. Работы маловато, но что за беда? Дело не в этом, мой друг. Легкая жизнь! Ты боишься этих слов? Напрасно. Ведь жизнь-то у тебя одна, одна-единственная, такая короткая. Понимаешь? Пусть она будет легкой. Только люди по-разному понимают это. Для Петечки это одно, а для нас с тобой легкая, красивая, увлекательная жизнь — это другое. Плавание, ребята,— это

знаете что такое? Эх, ребята! — Он вскочил, зажмурил глаза, щелкнул пальцами и потянулся. — Для меня это идеальный образ жизни. Представьте: две недели изнуряющей качки, тоски, но вот ночью небо на горизонте начинает светлеть, и медленно из воды встает сверкающий порт. А возвращение на родину, в Питер? Год болтался черт знает где, приходишь... Здорово сказано: «И дым отечества нам сладок и приятен...» А тут, на причале, — цветы, улыбки, друзья, женщины... И ты в центре внимания, ты живешь в сотни раз ускоренным темпом, горишь, как пакля. А после снова сонная качка, волны, чайки, весь этот скудный реквизит. Впрочем, на первых порах и это приятно.

— Ну, а случаи у тебя какие-нибудь были? — спросил Карпов.

Капелькин хохотнул.

— Еще какие! Однажды в Риге выходим мы со вторым помощником из ресторана «Луна»...

— Ну тебя к черту! — засмеялся Карпов. — Я имею в виду медицинские случаи.

— А! Были, конечно. Но мне везло: всех тяжелых удавалось сразу же сдать в порты. Конечно, риск есть, но зато... Эх, — он ударил кулаком о ладонь, — вырвусь я снова в море! Не могу, ребята, на службу ходить и высиживать положенное время.

— Я недавно твою статью читал о трудовой дисциплине, — сказал Максимов. — Или это не ты писал?

— Тактика, брат. Должен же я поднять наконец свои акции!

Максимову стало противно. Писать одно, а думать другое? Этого он все-таки не мог принять. А все остальные Венькины рассуждения? Далеко ли они ушли от взглядов Столбова? Максимов вкладывал в свое понятие «напряженной, счастливой, взволнованной жизни» что-то другое. Да, конечно, труд. Необходимый компонент. Но труд, который только приятен, который только интересен, и никакой другой. Эге, малый, ты хочешь сразу оказаться в коммунизме? Наше время для тебя грязновато? Был бы здесь Сашка, он бы сейчас развернул свою философию о взаимной ответственности поколений. А может быть, он и прав? Скажем, если бы декабристам

не захотелось погибать на Сенатской площади, свободолюбивые идеи медленнее распространялись бы в России и революция, может быть, задержалась бы на несколько десятков лет. По Сашке, и перед декабристами мы в ответе и обязаны двигать дело дальше. Черт знает что! Значит, жить для потомков ради предков? А самим? «Ведь жизнь-то у тебя одна-единственная, такая короткая...» Какой странный тон был у Веньки, когда он произнес эти слова! Слово перед ним приоткрылось то, чего никто не хочет видеть.

Значит, не нужно усложнять этот свой короткий отпуск из небытия? Жить себе в свое удовольствие, гореть, наслаждаться? Огибать камешки?

Такие смутные мысли блуждали в голове Алексея, когда он, развалясь на койке, отстукивал на подоконнике ритм Владыкиной песенки. Капелькин углубился в журнал «Польша». Карпов тихо перебирал струны. Едруг гитара возмущенно загудела и задрезбезжала, будто ее разбудили грубым пинком.

Поговори-ка ты со мной,
Гитара семиструнная,—

отчаянно завопил Владыка.

Вся душа полна тобой,
А ночь такая лунная!..

В коридоре раздался телефонный звонок. Максимов, точно в нем развернулась пружина, сиганул с койки и в два прыжка оказался за дверью.

— Странно,— проговорил Карпов,— с Максом что-то происходит. Часто стал исчезать, к телефону прыгает, как блоха. Влюблен?

— Неужели он тебе не говорит?— спросил Капелькин.

— Он скрытный, черт.

Алексей в это время, прикрыв ладонью трубку, стоял у телефона.

— Можно попросить доктора Максимова?

«Напрасно она пытается изменить голос. Владыка узнал бы ее так же легко, как и я».

— Мадам?— сказал он.

— Лешка, это ты,— засмеялась Вера.— Я говорю из библиотеки.

— Из Публичной? Хорошо, я буду ждать около подъезда через час.

Он вбежал в комнату, схватился за рубашку. Сырая, а все остальные в грязном.

— Владька, дай-ка мне свою рубашку.

Карпов вздрогнул и умоляюще взглянул на него:

— Макс, две недели я хранил ее под подушкой. Неужели ты... Хочешь, возьми мой свитер?

«Как будто Вера не знает твоих свитеров».

— У меня есть чистая рубаха,— сказал Капелькин,— только нужно погладить. Принести?

— Не надо, я пойду в своем свитере. Слушай, Вениамин, раз уж ты сегодня такой добрый, может быть, одолжишь на один вечер свой экзотический шарфик и пятьдесят рублей?

Алексей заметался, вытаскивая из чемодана свежие носки, освобождая от газетной оболочки висевший на стене костюм и одновременно пытаясь взболтать пену в мыльнице.

— Интересно,— проговорил Карпов,— что это находят девушки в таких суетливых и напуганных парнишках?

Максимов запнулся и взглянул на друга. Тот стоял в одних трусах у стола и гладил брюки. На его стройных ляжках пружинились мускулы.

— Не все же вам, гусарам,— смущенно проворчал Алексей.

«Кажется, Владька предлагает раскрыть карты. Нет, это невозможно».

Через двадцать минут друзья выскочили на шоссе. Вокруг шеи Максимова был обмотан шикарный норвежский шарф. Капелькин на прощание поразил его, сказав:

— Дарю. Не надо слез. У меня есть еще один.

— Отразим ли я?— спросил Максимов у Карпова.

— Что ты, Макс! Ты первый парень на Частой Пиле.

Они пустились бегом. Теперь они уже знали все ходы и выходы порта и научились сокращать расстояние, пробираясь через путаницу железнодорожных путей. Сегодня особенно повезло: они прицепились к медленно

идущему составу, который за десять минут довез их до главных ворот. Здесь Карпов сел в трамвай, а Максимов в автобус.

ОСЕНЬ, ВЕСНА!

Зябко поеживаясь, Максимов прохаживался возле Публичной библиотеки. Туман значительно поредел, и в высоте даже различались холодные, как снежинки, звезды. Однако помпезные фонари все еще были окружены оранжевыми кольцами и высились вокруг, как обалдевшие полководцы древности. Массивные двери библиотеки ни на минуту не оставались в покое. Здесь публика была иной, чем в студенческом филиале на Фонтанке: солидные мужи с тяжелыми портфелями, деловые, быстрые женщины, заморенные аспиранты в цигейковых шапках. «Сплошные преподаватели», — усмехнулся Максимов, подавляя в себе оставшееся от школы инстинктивное желание спрятать окурок в рукав.

Наконец дверь открылась в тридцать девятый раз, и появилась Вера. Она подбежала к нему и сунула в руки свою папку.

— Подержи. Я не успела даже надеть платок.

— До скольких ты свободна сегодня?

— Хотя бы до двенадцати! — сказала она с вызовом.

— Ого! Большой прогресс, — усмехнулся Максимов.

Они прошли через сквер в сторону Фонтанки. Вера молчала. Ее смелый и веселый голос по телефону неприятно удивил Максимова. Молчание было более естественным.

Сегодняшняя их встреча была четвертой после того, как Максимов решил «рассказать все». В первый раз Алексей пришел прямо к ней домой, увидел, что мужа нет, обрадовался, испугался, разозлился и нелепешим образом пригласил ее в кино. Весь вечер Вере пришлось выслушивать нахальные шуточки, глупые каламбуры и мрачные размышления. На большее у него не хватило пороха. Второй раз он позвонил ей в воскресенье, и они провели вместе странный день, тянувшийся без конца. Они блуждали по сырым улицам и оказались на Крестовском острове. В парке Победы деревья гордо сражались

с морским ветром. Они гнулись, как мачты, но неизменно держали на своих ветвях сигнал, составленный из уцелевших листьев: «Погибаю, но не сдаюсь!» «Погибаю, сдаюсь»,— думал Алексей, глядя в ставшие вдруг озорными Верины глаза. Она вела себя, как девчонка, как первокурсница Вера, баскетболистка и егоза. Правда, когда они оказались на самом верху бетонного холма стадиона, в эпицентре ветряной оргии, она посерьезнела, взяла Максимова за руку и стала что-то говорить с явным расчетом на то, что услышать ее трудно. Каждое слово в тот день было подобно заголовку интересной книги: оно интриговало, но не раскрывало смысла. Максимов не мог поверить ничему. Его убедила в догадках только последняя фраза Веры. Не доходя двух кварталов до дома, она остановилась и сказала:

— Дальше не ходи.

Значит, он не просто друг! И она, кажется, тоже поняла все. В третий раз они остановились там же, и тогда Алексей взял ее за руку, увел в какой-то подъезд и молча стал целовать. Кто-то прошел мимо, оглушительно лягнула дверь лифта. Вера беспомощно сгорбилась и вышла из подъезда. Он смотрел ей вслед с ликующим чувством, к которому примешивалось немного жалости и капля злорадства. Она в его руках, это ясно. После этого прошло больше двух недель. На телефонные звонки она отвечала сухо, от встреч отказывалась, а сама позвонила в первый раз только сегодня.

— У тебя сегодня довольно импозантный вид. Красивое кашне.

— Его подарил мне чиф с парохода «Новатор», старый татуированный морской бродяга.

— С серьгой?

— Что?

— В ухе у него серьга?

— Ну конечно. А на боку кортик. И деревянная нога. Настоящий Джон Сильвер.

Туман рассеялся окончательно. Оказалось, что над шпилем Инженерного замка висит новенькая, словно протертая песочком, луна. В путанице стволов и ветвей Летнего сада, в лунных пятнах белели статуи. Казалось, что по саду бродят весенние призраки. Перелетевший

через Неву неожиданно теплый ветер усилил это весеннее ощущение. Темно-синее небо было настолько глубоким и пронизанным невидимым светом, что стало ясно: звезды — это небесные тела, а не просто блески, рассыпанные по бархату.

— Ну... как твоя работа?

— Спасибо. Подвигается.

— Я даже не знаю, что у тебя за тема.

— Рассказать?

— Не надо.

Максимов прислонился к парапету и закурил. Он никак не мог отделаться от чувства неловкости. Странно, раньше этого не было. Раньше была другая Вера. Стыдясь самого себя, он рисовал в воображении романтические сцены с ее участием. Сейчас присоединилось нечто другое. Каждый миг он ощущал, что рядом с ним находится женщина, любимая женщина, которую он уже держал в объятиях и целовал.

— Лешенька,— вздохнула Вера и прижалась к нему.

Сигарета полетела в Фонтанку. В десяти сантиметрах от своего лица он увидел большие дрожащие глаза. Он стал целовать их. Скрипнула ось земли, и планета отлетела куда-то в сторону. Мир изменился, замелькал. В центре вселенной, пронизывая Млечный Путь, выросла и зашаталась гигантская тень влюбленной пары.

...Они прошли по мосту через Фонтанку и углубились в густонаселенные кварталы. Моховая, Гагаринская... В сотнях окон под оранжевыми, голубыми, зелеными абажурами шевелились умиротворенные люди, у которых все идет как по маслу, которые не путались, не дичились, а вовремя нашли друг друга и спокойно заселили эти дома.

— Что же, пойдём в кафе?

— Нет.

— Боишься, что нас увидят вместе?

— Ничего я не боюсь. Хочу быть только с тобой.

— Все равно, зайдём хотя бы сюда. Здесь никого нет.

Они остановились возле крохотного магазинчика, над дверью которого светились красные буквы: «Соки. Мороженое». Внутри действительно не было никого, кроме продавщицы. Застекленный прилавок представлял со-

бой груди не нашедшей употребления роскоши. Здесь были ликерные бутылки в виде пингвинов, громадные, как древние фолианты, коробки ассорти с изображением витязей, фарфоровые статуэтки. Слева от этой выставки размещались разноцветные конусы соков. В углу заведения стоял один-единственный мраморный столик на железных неуклюжих ножках. Под столиком демонстративно, этикеткой вверх, валялась пустая поллитровка.

Вера села, сняла с головы платок и медленным движением поправила волосы. У нее был отсутствующий, будто пьяный, вид.

— Что у вас есть выпить? — спросил Алексей у буфетчицы.

— Только шампанское, — сильно подмигивая, ответила буфетчица. Максимов непонимающе поднял брови. Тогда она прельстительно улыбнулась и, сохраняя лишь видимость конспирации, показала ему бутылку «Московской особой». — Для хорошего человека найдется и покрепче...

Максимов отрицательно покачал головой. Он взял бутылку шампанского, две порции мороженого, два пузатых фужера, расставил все это на столе, взглянул на Веру, и сердце его захлестнула неслыханная волна нежности к этой умнице, чистюле, профессорской дочке, которая сидит сейчас напротив него, касаясь тufелькой поллитровки, не замечая свалывшейся уличной грязи на кафельном полу случайной «забегаловки».

— Шампанское, — сказал он. — Очень глупо?

— Почему же? Наоборот, — улыбнулась она.

И, не отрывая глаз друг от друга, они сделали первый глоток. В этот момент буфетчица включила радио. Возможно, она сделала это из деликатности, чтобы влюбленные говорили, не боясь быть услышанными. Возможно, равнодушно повернула рычажок, от нечего делать. Но так или иначе, в заведение влетели и заматались от стены к стене тревожные звуки Двенадцатого этюда Скрябина. Алексей вздрогнул. Он вспомнил, как несколько лет назад в Большом зале Филармонии он впервые услышал это, как впился в колонну, оставив на ее целомудренном мраморе чернильные следы от своих студенческих пальцев. Почему могут звуки, которые

суть не что иное, как колебание воздуха, проникать так глубоко в человека, властвовать над ним, намекать, напоминать и звать? Как мог сотворить такие звуки обыкновенный человек, существо, физиологически однотипное сотням миллионов своих собратьев? Почему вообще одни люди сочиняют музыку, раскрывают сердца своих братьев для любви, героизма, верности, а другие с тупым равнодушием поднимают автоматы и, соревнуясь в меткости, истребляют своих братьев, своих безоружных братьев?

— Интересно, кто это: Рихтер или Гилельс? — сказала Вера.

Алексей приподнял бокал и накрыл ладонью ее руку.

— Давай выпьем за что-нибудь, провозгласим тост!

— За что?

— Ну... за наше будущее. И потом... Я еще не сказал тебе, что я тебя люблю.

— Ой, Лешка,— рассмеялась Вера,— а я-то весь этот вечер подозревала тебя!

— Скажи, Вера, а раньше ты знала?

— К сожалению, нет,— печально произнесла она.— А почему ты сам?..

— Потому что у тебя были разные ребята, а потом и Владька.

— Это потому, что у тебя была Вика и прочие.

— Это правда?

— Да.

Они смотрели друг на друга и вспоминали прошедшие годы, в течение которых почти ежедневно встречались, но не так, как хотелось обоим. Вера удивлялась, как это она, обычно чуткая на такие вещи, не смогла понять, что грубовато-приятельское обращение Максимова — это только маскировка, и Алексей клял себя за то, что не смог разгадать ее быстрых, удивительных взглядов. А теперь, когда они, блуждавшие окольными путями, вдруг увидели друг друга так близко, так доступно и бросились навстречу, задыхаясь, сбивая все на пути, им минутами чудилось, что расстояние не сокращается, что все это похоже на бег по деревянному баббану.

— Слушай, Вера, я тебя сейчас удивлю.

Максимов, волнуясь, чиркнул спичкой, закурил и неестественным, насмешливым голосом стал читать:

В столовке грохот и рокот,
Запах борщей и каш.
Здесь я увидел локоны,
Облик увидел ваш.
В бульоне плавал картофель,
Искрился томатный сок.
Я видел в борще ваш профиль,
И съесть я борща не смог.
Быть может, вот так же где-то
В буфетах Парижа, Бордо
Стояли за винегретом
Тургенев и Виардо.
«Тефтели с болгарским перцем»,—
Вы скажете свысока.
Хотите бифштекс из сердца
Влюбленного в вас чудака?

Вера смеялась, но глаза ее дрожали.

— Это на первом курсе, я помню,— сказала она,— ты тогда страшно хамил, а я думала: откуда такой смешной? Так, значит, ты пишешь? Конечно, никто в мире об этом не знает? Это на тебя похоже. Прочти еще что-нибудь.

Максимов злился. К чему это мальчишество, эти стихи? Еще не поймет, вообразит, что он любил ее, как какой-то Пьеро, как тайный дыхатель. Все-таки он стал читать.

В магазинчик со смехом ввалились четверо парней. Один за веревочку нес волейбольный мяч, в руках у других были спортивные чемоданчики. Сразу стало тесно, шумно и неуютно. Шуршали синие плащи; здоровые глотки работали на полную мощность: уровень абрикосового сока стремительно падал.

Вера вопросительно улыбнулась. Алексей пожал плечами.

— Плебей, я же говорил тебе, что Моню надо подстраховывать! — вдруг заорал один из парней.

Максимов и Вера встали. Вслед им понеслись восклицания:

— Ребята, мы спугнули пару голубков!

— Не чутко, товарищи, не чутко!

— А девочка ничего-о-о! Я бы не отказался.

Вера была уже на улице, но Максимов все-таки обернулся.

— Это ты сказал? — обратился он к тощему высокому блондину.

Тот хихикнул и оглянулся на товарищей.

— Ну, я. А что?

— А то, что я тебе уши могу оборвать за нахальство.

— Это ты-то?

— Вот именно.

— Да я на тебя начхать хотел.

— Сию же минуту извинись. Ну!

Двое парней угрожающе придвинулись, но четвертый отодвинул блондинчика и сказал:

— Спокойно, мальчики, этот играл за «Медика». Ты слышишь, не обижайся, Кешка у нас запасной. Кешка, извинись. Не дорос еще задевать игроков основного состава.

— Ну ладно, — буркнул Кешка.

Удовлетворенный Максимов вышел на улицу. Вера, посмотрев ему в лицо, расхохоталась и погладила по щеке.

— Ерш! Что ты полез? Ведь они могли тебя избить.

— Это еще как сказать! — усмехнулся Максимов. — Да ты испугалась?

— Конечно, испугалась. Еще бы, ведь ты был один.

Она взяла его под руку и взглянула сбоку на его лицо, которое не стало мягким от добродушной усмешки. Уже давно она заметила, что его лицо часто становится похожим на лицо боксера, выходящего из своего угла. Она знала, что в ситуациях, сходных с сегодняшней, Алексей никогда не уступит. Но она знала еще и другое. Знала, как доверчив Алексей, как предан своим друзьям, с какой почти ребяческой готовностью он откликается на привет и искренность. В последнее время он грустный и говорит мрачно. Может быть, в этом часть и ее вины? Или это все поза? Ах, не все ли равно? Она его любит таким, какой он есть. Трепач, позер, задира, бука? Ну и прекрасно. Ей надоели добродетели Веселина. Тот, вероятно, сделал бы вид, что не расслышал, а может быть, даже сказал бы: «Какие нравы, Верочка, подумать только!» Но что же делать теперь, что же

делать? Бросить Олега? Значит, бросить и работу? Нельзя же будет оставаться с ним на одной кафедре. А! Ведь она женщина, а не синий чулок. «Лешка, дорогой мой стриженный грубиян! Какая у него рука — будто опираешься на металл...» А все-таки трудно, невозможно представить его в роли мужа. Лешка в их чинной квартире. Забавно до чертиков. Но какой ужас! Олег съезжает... Дрожащими руками упаковывает чемодан, что-то шепчет под нос, смотрит виновато глазами побитой собаки... Ой! Верочка, зачем ты лезешь в эту путаницу? Ведь все у тебя шло так гладко, и папа был доволен. Ты работала с увлечением и удовлетворяла «общие культурные запросы». Сними же свою руку с этой железяки! Беги! Вон едет такси. Трусиха, посмотри на его лицо. Боксер устал. Любимый парень! Она пойдет с ним куда угодно, в любую трущобу, и будет принадлежать только ему. А как же аспирантура? Диссертация? Веселин?

— Почему это мне кажется, что сейчас март? — сказал Максимов.

— Потому что сейчас действительно март.

— Значит, зима в этом году не состоится?

— Отменяется! — воскликнула Вера. В голосе ее прозвучала отчаянная решимость. — Прощай. Встретимся в воскресенье.

— Хорошо, в воскресенье так в воскресенье.

Вера быстро поцеловала Алексея и пошла прочь. Пройдя несколько шагов, она обернулась и пошла обратно.

— Ты злишься, Лешка?

— Это не имеет значения.

— Не злись. Ты должен понять... Ты понимаешь?

— Ну конечно. Иди.

Через минуту ее фигура стала только темным пятном. Потом на ярко освещенном углу проспекта мелькнуло синее пальто, белый платок, и Вера исчезла. Алексей медленно пошел по еле заметным на асфальте следам ее туфель. Да, он все понимает. И ничего не может понять. Снова он один. Это дико! А она уходит к другому, к своему мужу. «Это я ее муж! Только я, и никто другой. Но как она ушла? Сохраняла полное спокойствие, словно прощалась с любовником, с партнером по

тайному греху... Мерзавец, как ты смеешь так думать о ней? Просто она не хочет рвать сразу, боится за отца. Старик уже перенес один инфаркт. Но не только это: Вере очень трудно: ведь Веселин не только муж, он и ее научный руководитель. Жутко умный парень, а благообразный до чего, прелесть! Вероятно, сидит сейчас в шлафроке за письменным столом, готовится к лекциям. Входит Вера. «Мой друг, где ты была так поздно?» — «Мы прогулялись с Зиной. А что?» — «Нет-нет, ничего, просто я уже стал беспокоиться. Прогулки в такое время чреватые...» — Максимов помчался по тротуару, неистово размахивая руками. — ...Потом он подходит к Вере и целует ее. Мою Веру!»

Максимов выскочил на проспект и понесся к ее дому, словно собираясь разнести его на кирпичики.

Вот он, этот дом. «Ущербленный и узкий, безумным строителем влитый в пейзаж». Спокойно. Ничего в нем нет безумного. Типичный дом для этой части города. Верин отец как-то объяснил, что подобная эклектика была в моде у архитекторов в начале века. Окна широкие, как в современных домах, а по фасаду разбросаны добротные излишества, над парадным возлежит гранитная наядка. Седьмой этаж мансардный, там крутые скаты крыши, какие-то мелкие башенки. Немного готики, и романский стиль, и даже барокко. Смешной дом, и все. Алексей стоял, закинув голову, и смотрел на освещенные окна.

Как бы ни было высоко,
В полдень, в полночь, все равно,
С тротуара в сотнях окон
Ты найдешь ее окно...—

вспомнил он.

«Как я ее люблю! Пусть будет тоска, пусть будет разлука, пусть любовь начинается с ревности... Это вот и есть то самое, из-за чего стоит жить. Люблю ее глаза, волосы, губы, ее тело, ее слова и ее костюмы, привычки, смех, ошибки, печаль, ее дом, ее улицу, весь этот район, люблю и доброжелательно отношусь к милиционеру, который в третий раз проходит мимо».

— Привет, сержант!

— В чем дело?

- Просто приветствую вас.
 - Между прочим, документики при вас?
 - Нету.
 - А чем тут занимаетесь?
 - Хочу прыгнуть в небо.
 - Пройдемте.
 - Бросьте, сержант. Я влюбленный. Разве нельзя смотреть по ночам на окна любимой?
- Постовой густо захохотал, козырнул и сказал:
- Не одобряется, но и не возбраняется. Желаю успеха.

ГЛАВА VII

ВЕЧЕРОМ В КЛУБЕ

«Таким образом, суммируя все сказанное, можно сказать, что алкоголь неблагоприятно действует на все органы и системы организма».

Сегодня Зеленин за все время пребывания в Круглогорье впервые надел белую, накрахмаленную еще в ленинградской прачечной рубашку и новый галстук с горизонтальными полосками. Он выступал с докладом «Алкоголь — разрушитель здоровья» в устном журнале, который ежемесячно устраивался в клубе. Доклад никуда не годился. Это был тот тяжелый случай, когда, как говорится, нет контакта между лектором и аудиторией. Слушатели сначала добродушно похихикали, а потом застыли в вежливом оцепенении. Даже Егоров, сидевший в первом ряду, несколько раз подносил руку к лицу, пытаясь скрыть зевоту. Зеленин бубнил по бумажке все быстрее и быстрее. Скорей бы кончить это позорище.

— В борьбу с алкоголизмом должна активно включиться общественность! — с жалким пафосом выкрикнул он последнюю фразу, вытер платком горевшее лицо и спросил: — Вопросы будут?

— Сам-то, доктор, совсем не употребляешь? — пробашили из зала.

Послышался смех. Зеленин растерялся. Зачем-то снял очки и, близоруко щурясь, пролепетал:

— Я... умеренно... и если повод, так сказать.

Зал захохотал. Люди смеялись беззлобно, даже как-то облегченно, словно радуясь, что вот человек выполнил скучную обязанность, отбарабанил что-то по бумажке и снова стал самим собой.

— Повод найти можно,— прогудел бас,— заходи, пунчику тяпнем.

В третьем ряду вскочила сухопарая женщина, жена больничного кучера Филимона.

— Извиняюсь, конечно. Вы говорили, излечимый он, алкоголь-то?

— Да-да, алкоголизм излечим.

— Полечили бы вы, Александр Дмитриевич, мужика моего. Совсем совести лишился, ни мне, ни детям жизни не дает. Я уже ему говорю: стыдись, ирод, хоть ты и при коняге, а ведь тоже медицинский работник!

— Тут нужно добровольное согласие, Анна Ивановна. Я со своей стороны гарантирую успех.

Зеленин сошел с эстрады и сел в первом ряду около Егорова.

— Жалко я выглядел, Сергей Самсонович? Да брось, не утешай.

— Суховато, Саша. Ну ничего, первый блин... Лиха беда начало и так далее. Не унывай.

Он вдруг захохотал:

— А вот бы Филимона вылечить! Посильнее любого доклада подействует.

— А что? Надо попробовать.

— Вряд ли получится. Он мужик идейный.

В последней «странице журнала» выступала самодеятельность. Даша Гурьянова слабеньким голосом довольно нахально спела под гармонь несколько песенок: «Едем мы, друзья...», «Ой, цветет калина» и «Говорят, я некрасива...» Последнее уж было явным кокетством. Весь зал прекрасно видел, что она красива в своем новом платье цвета перванш, сшитом в Петрозаводске по последней рижского журнала моде.

«Сегодня обязательно скажу ей,— думал Зеленин,— чтобы она выбросила этот идиотский цветок, похожий на расплюснутую муху. Нельзя же так себя уродовать, А платье красивое, и сама прелесть...»

— На этом мы закрываем последнюю страницу нашего журнала. Приступаем к танцам,— светским тоном объявила с эстрады редактор устного журнала, учительница средней школы.

— Вот это дело! — опять прогудел знакомый Зеленину бас.

В зале воцарился невероятный шум. Старички пробирались к выходу, молодежь валила в зал из буфета и курилки. С грохотом отодвигались стулья. К Зеленину подбежала Даша, взволнованная, с блестящими глазами, с резким румянцем во всю щеку. Кажется, она чувствовала себя в этот вечер царицей бала. Что за грех? В девятнадцать лет ничего не стоит раздвинуть стены зала, украсить их мрамором и зеркалами, уводящими в сверкающую бесконечность, выпрямить и уложить паркетом волнообразный дощатый пол, одеть мужчин во фраки или мушкетерские костюмы и вообразить себя... Да кем угодно можно себя вообразить в девятнадцать лет! Все это можно сделать в одну секунду.

— Александр Дмитриевич, вы, конечно, останетесь танцевать? — спросила она.

— Не знаю, право... Я не собирался. Да ведь тут одна молодежь,— ответил он лицемерно.

— А вы себя уже в старики записали?

Ух ты, как у нее блестят глазки! И какие они голубые!

«У северян удивительно голубые глаза. Видимо, они так редко видят голубое небо, что память о нем оставляют у себя в глазах»,— так витиевато писал на днях Зеленин Максиму.

— Сейчас выкурю сигарету и решу. Ах, черт, отсюда не выберешься!

— Пойдемте за кулисы?

— Хорошо. Сергей Самсонович, хочешь курить?

Егоров стоял рядом с женой, смотрел на Зеленина и Дашу, улыбался немного грустной и доброй улыбкой, которая появлялась у него в какие-то особенно хорошие минуты.

Сегодня он надел ненавистный, тяжелый протез.

В светло-сером костюме, с тростью в руке, он был похож на довоенного франта.

— Нет, Саша, мы, пожалуй, пойдем. Завтра заглянешь?

— Обязательно.

Екатерина Ильинична улыбнулась молодым людям, взяла мужа под руку, и они пошли к выходу. У Зеленина вздрогнуло сердце, когда он увидел, как сразу налилось кровью лицо Егорова и плечи ссутулились от напряжения.

— Пойдемте, Даша, покурим. Пожарников у вас нет?

Они пристроились в полутьме за грубо размалеванной холстиной, изображающей «рассвет на реке». Даша сидела в профиль к Зеленину, сложив на коленях руки. Поза была строгой, но на губах мелькала улыбка. Казалось, Даша ждет: ну и что же будет дальше?

«Будь на моем месте Владька, он просто начал бы ее целовать».

— Даша!

— Да, Александр Дмитриевич?

— Вы можете не на работе называть меня Сашей?

— Очень даже охотно.

— Вот и хорошо. Знаете... я хотел вам сказать...

— Да?

— Подарите мне этот цветок. Вам не жалко?

Она повернула к нему лицо с расширенными, удивленными, как у маленькой девочки, глазами. Машинально подняла руку к груди.

— Этот цветок? Разве можно дарить такие вещи? Ведь он некрасивый.

— Зачем же вы его носите?

— Ну, модно же.

— Это уже не модно. Никто не носит! — радостно воскликнул Зеленин.

— Правда? — Она засмеялась. — Тогда, пожалуйста, дарю его вам.

Ее непосредственность сразу расставила все по своим местам.

Он сунул цветок в карман, просто и дружески взял ее за руку и сказал:

— Пойдемте танцевать.

С эстрады они увидели, что весь зал уже вращается в вальсе.

...Как берег крутой
С бурливой рекой,
Так мы неразлучны с тобой.

Александр слушал этот вальс и вспоминал какой-то из институтских балов, подмигивающие из толпы лица друзей, ленты серпантина, разноцветный снегопад конфетти... Воспоминание это не вызвало грусти, и маленький зал круглогорского клуба с развешенными по стенам диаграммами надоя и опороса не показался жалким, потому что этот зал подмигивал и улыбался ему также дружелюбно. Ведь в толпе кружат знакомые парни со Стеклянного мыса, с лесозавода, с пристани. За эти несколько месяцев он узнал их почти всех. Одних по имени, других в лицо, третьих по хрипам в грудной клетке. А этот маленький мрачный зал? Что ж, уже заложен фундамент нового клуба будущего города Круглогорска.

Дашина рука легла на его плечо. Он обнял ее за талию, но вальс кончился.

— Как жалко,— сказала Даша,— я так люблю этот вальс!

— Ничего, он еще повторится.

В это время в толпе у дверей послышался гогот. Даша вздрогнула и быстро просунула свою руку под локоть Зеленину. Пальцы ее судорожно сжались. Раздвинув толпу, на середину зала вышел в сопровождении товарищей Федька Бугров. Он расставил ноги в хромовых сапогах, смятых в гармошку, и повел мутным взглядом вдоль стен. Из-под низко натянутой на глаза кепочки-«лондонки» набок свисала золотистая челка. Шевелилась гладко выбритая, юношески округленная челюсть, елозила в зубах мокрая папироска. На Федьке был синий костюм отличного бостона. Распушенная «молния» голубой «бобочки» открывала ключицы и грязноватую тельняшку. Все эти детали Зеленин заметил отчетливо, потому что Федька довольно долго стоял на месте, молча созерцая толпу и покачиваясь. Давно уже играла музыка, но никто не танцевал. Наконец Федька улыбнулся и медленно направился прямо к Зеленину.

— Здорово, врач,— сказал он, прикладывая два паль-

ца к козырьку кепчонки,— давно не видались. С того самого момента, как меня по твоему указанию в симулянты записали.

Зеленин молчал, с ужасом чувствуя, что его вновь охватывает отвратительное ощущение трепещущей жертвы перед лицом палача.

— А ты, я смотрю, стильный малый,— хохотнул Федька и легонько подбросил пальцем зеленинский галстук. Затем он улыбнулся Даше: — Дашутка, парле ву франсе, сбачаем танго?

— Нет,— сказала Даша, крепче вцепляясь в руку Зеленина.

— Чего там! — заорал Федька, схватил ее за плечи и, оторвав от Зеленина, потащил в центр зала.

Здесь он облапил ее правой рукой за спину, левую оттянул предельно вниз и назад и пошел мелкими, томными шажками. Так танцует шпана на ленинградских и загородных площадках. Девушка рванулась было, но Федька держал ее цепко. Его согнутая громадная фигура с широченными плечами и похабно раздвинутыми ногами напоминала паука, поймавшего ненароком бабочку.

Зеленин, потрясенный, оглянулся и поймал взгляды многих людей. Вот Виктор, Петя Ишанин, Петька-шофер, Тимоша, Борис...

Все они смотрят на него. Они могут в два счета навести порядок и вытряхнуть отсюда бугровскую шайку, но пока они не сдвинутся с места.

Потому что они друзья Зеленина, потому что они верят в него. Федька выплюнул на пол папиросу и весело заорал:

Я иду по Уругваю,
Ночь — хоть выколи глаза,
Слышу крики попугаев
И мартышек голоса.

— Дашутка, любовь моя! Моя навечная маруха!

Зеленин поправил очки, отчетливо прошагал через весь зал и сильно хлопнул Федьку Бугрова по плечу. Тот мгновенно выпустил девушку и резко обернулся.

— Прошу вас немедленно удалиться,— сказал Зеленин.— Вы пьяны и безобразны.

Федька сделал шаг вперед. Александр невольно отступил.

— Я тебя бить не буду, сука! — процедил Федька. — Чего тебя бить? Загнешься еще. Я тебе шмазь сотворю.

Боже мой, это еще что? Шмазь! Что за ужас! Как сон дурной Зеленин, теряя голову от страха перед чудовищным унижением, отступал. Растопыренная Федькина пятерня надвигалась, тянулась к его лицу. В эти доли секунды, бьющие молотом внутри головы, он с мельчайшими подробностями вспомнил эпизод из далекого прошлого.

Это было в эвакуации, в Ульяновске. Саша, тощий, тихий мальчик, закутанный в мамин платок так, что трудно было понять, мальчик это или девочка, явился на городской каток. В руках он нес коньки-снегурочки. Вдруг со скрежетом подъехал к нему на «ножах» подросток в дубленом полушубке. Из тех, что торговали на углах махоркой и папиросами «Ява» по два рубля штука. На румяной морде подростка оловянными пуговицами таращились глаза, в зубах, как фонарь большого автомобиля, мерцала сигарка. Он молча отобрал у Саши коньки, щипнул его за нос и поехал прочь, выписывая вензеля. Когда же Саша побежал за ним, плача и умоляя вернуть папин подарок, драгоценные снегурочки, подросток деловито хлестнул его по лицу железным прутом. Потом постоял над упавшим мальчиком, ожидая ответных действий. Но ответных действий не последовало. Саша, лежа на льду, в ужасе сжался в комочек. Он боялся встать: как бы снова не обрушился на него железный прут. Он боялся поднять голову: как бы не наехали на него сверкающие «ножи».

— Гад!

Мускулы Зеленина напряглись. Так, как когда-то учил его Лешка Максимов, он шагнул в сторону, сделал «нырок» и правым боковым ударил Федьку в челюсть.

Такого исхода не ожидал никто. Бугров рухнул на пол. Беспомощно раскинулись по доскам могучие татуированные руки и хромовые сапоги. Кепочка упала рядом безобразно жалким, сморщенным комочком. А над телом поверженного врага встал в заправской боксерской позе длинный доктор из Ленинграда.

Опомнившись, бросились вперед бугровские дружки, но тут уже вмешался в дело Тимоша с компанией. Подгулявшие молодчики бережно и с прибаутками были выставлены на крыльцо. Туда же вынесли обмякшего, бормотавшего что-то несвязное Федьку.

Зеленина окружили.

Подбежала сияющая Даша. Казалось, вот-вот бросится ему на шею. Знакомый бас сказал из толпы:

— Чистый нокаут. Хотя и разные весовые категории.

Кто-то крикнул:

— Какой разряд имеешь, доктор? Вот так, ребята, нарвешься на боксера...

Зеленин усмехнулся:

— Это иллюстрация к моему докладу. Человека в состоянии алкогольного опьянения нокаутировать нетрудно. Теряется чувство равновесия, мозг утрачивает власть над мышцами...

Он усмехнулся и приbedнялся, но постепенно в нем росло ликование. Существо, закутанное в мамин платок, оказывается, превратилось в настоящего мужчину.

Мужчина может постоять за себя и за кого угодно, он может по-хозяйски ходить по земле, танцевать, петь и весело хлопать по спинам окружающих, таких же, как он, здоровенных мужчин.

— Пойдемте, Дашенька! Вальс!

...А в это время в снежной мгле гуськом по глубокой колее двигалась группа людей с поднятыми воротниками. Федька скрипел зубами, цыкал тонкой струйкой набок кровавую жижу. Вдруг он гаркнул:

— Молчим, звери?

Сзади кто-то матюкнулся. Ибрагим легонько ткнул его в спину:

— Ходи-ходи.

— У-ых! — с тяжелой ненавистью выдохнул Бугров.— Осточертело мне это дупло гнилое. Всякий тут порядки наводит. Слышь, Ибрагим?

— Ходи-ходи.

— Я говорю, в Питер нам пора. За дело браться.

— Не пойду в Питер. Завязал.

— Что-о-о? Ссучился? Купили тебя за резиновые сапоги?

— Ходи-ходи! — уже угрожающе буркнул Ибрагим.

— Так и есть. Скоро Тимошкиным подголоском станешь. Тьфу! Идите вы все... Вот окручу девку и двину с ней в Питер, в Гатчину, к настоящим ребятам.

— Так тебе доктор ее и отдаст! — издевательски крикнули сзади.

Раздался хохот.

Федьку охватила паника: он утрачивает свою власть даже над этим дерьмом. Но он сжал челюсти, а когда смех утих, задумчиво и зло сказал:

— Пришью я его.

И этим ледяным словом и вспыхнувшим в ночи видением финки, зажатой в кулак, он как бы приоткрыл завесу своей холодной жестокой души и сразу же властно одернул смутьянов.

ФИЛИМОН ЛЕЧИТСЯ

— Да ну ее, видеть не могу! Поимей совесть, Александр Дмитриевич.

— Нюхай!

— Господи! За версту теперь чайнуху буду обегать. Чтоб мне век к коню не подойти! Убери с глаз долой проклятое зелье.

— Не думал я, Филимон, что ты такой слабохарактерный. Раз дал согласие, значит, надо лечиться. Нюхай, пей!

Вот уже неделю Зеленин лечил Филимона, вырабатывая у него по методу академика Павлова условный рефлекс отвращения к алкоголю. Филимон, посмеиваясь, лег в больницу. Однако вскоре он надулся важностью, видя, что к нему приковано внимание многих людей. На первом сеансе, когда Филимона после инъекции апоморфина¹ пригласили в дежурку, Зеленин усомнился было в успехе своего предприятия.

При виде стоявшей на столе бутылки у кучера загорелись глаза, губы расплзлись в блаженной улыбке.

¹ А п о м о р ф и н — средство, вызывающее рвоту.

— Александр Дмитриевич, чего ж ты мне подносишь, а сам ни-ни? Давай за компанию? По методу академика, а? Ну, как хошь.

Он бережно, щепотью, взял стопку, зажмурил глаза и хлестнул в рот сладостной влагой. Но апоморфин сработал безотказно.

Сейчас Филимон, одетый в чистую пижаму, розовый и благообразный, канючил над стопкой водки, как малое дитя над касторкой. Зеленин, олицетворяя собой железную стойкость науки, сидел в прямой позе, отсвечивал очками. Тоскливым оком Филимон поглядывал на стоящий на полу тазик, куда обычно низвергалась высшая фаза его отвращения к алкоголю. Посмотрел в окно. К больнице с озера мчалась подвода с бочкой. На бочке, строго поджав губы, сидела Филимонова женка, Анна Ивановна. На время лечения мужа она осталась «при коняге» и работала самоотверженно.

«Эхма! — подумал Филимон. — Кончил пить, начну обарахляться. Скоплю деньги — куплю телевизор. Будем с женкой просвещаться. Эх, жизнь степенная!»

А Зеленин в это время обдумывал маршрут лыжной прогулки на Стекланный. Недавно с оказией родители переслали ему его лыжи. Тогда он только усмехнулся: чудят старики, есть тут у него время для променадов! Но вот сейчас, вспомнив о лыжах, он почувствовал радость. В самом деле — лыжи! Потренироваться как следует, поучиться слалому. Можно и на вызовы в дальние пункты ходить на лыжах. Непроизвольно, по старой тайной привычке, он представил себе кадры кинофильма. По горе вниз, крутя между сосен, летит гибкая фигура. Это он, Зеленин. Вот он исчезает из виду и через секунду взлетает на бугор. Снежная пыль веером из-под лыж! «Это наш доктор, — с гордостью говорят эскимосы прилетевшей накануне из Москвы синеглазой учительнице русского языка, — добрый и храбрый человек». Учительница взволнованно комкает в руках беличью шапку, всматриваясь в молодого атлета с черной окладистой бородой. Хижины оглашаются веселыми голосами.

Смуглые полуобнаженные девушки подбрасывают вверх гирлянды цветов, а юноши несут на плечах пирог к полосе прибора, готовясь... Стоп, еще минута, и появит-

ся марсианский корабль. Эскимосы, цветы и пироги уже есть.

В последние дни Зеленин все чаще стал предаваться праздным мыслям. Сказывалось обилие свободного времени. Почему-то резко сократилось количество вызовов, в два раза короче стали очереди в амбулатории. Бухгалтер уже «поднял вопрос» о невыполнении плана койко-дней. Отчасти эта передышка была вызвана затуханием волны вирусного гриппа, улучшением погоды. Но чем объяснить отсутствие экстренных случаев? Раньше редкую ночь удавалось поспать спокойно. Травмы, осложнения при родах, инфаркты, аппендициты сыпались как из рога изобилия. Сейчас в больнице тишь и благодать. В березовой аллейке топчутся хроники. Операционная под замком. Но операционная сестра Даша Гурьянова не скучает: она с увлечением и редкой сообразительностью работает в лаборатории. Воцарилось благополучие. Производятся довольно сложные анализы, неплохие снимки, налажен график работы. Кое-какие основания для гордости были у Зеленина, когда он, выходя утром на крыльцо, окидывал родственно-пренебрежительным взглядом низкое кирпичное здание больницы. Но в следующую секунду он пугался своего успокоения и начинал придирчиво выискивать недостатки, раздумывал, что еще можно сделать. Заменить центрифугу и микроскоп, кое-какие детали рентгеновского аппарата. Вырвать у снабженцев новый комплект белья и пижам. Обязательно достать бестеневую лампу. Или это слишком нахально? Но электрокардиограф-то действительно необходим.

Может быть, стоит взять командировку в Ленинград? Эта мысль вызывала боязливую радость. Увидеть стариков, съездить в порт к ребятам, сходить в Комедию (Максимов пишет: Акимов там развернулся), в Эрмитаж (Максимов пишет: выставка польской живописи там открылась), в Публичку (Максимов пишет...)... Наверно, трудно будет возвращаться назад, в Круглогорье. А может быть, и нет? Сейчас Зеленин прочно вошел в жизнь поселка, редко приходится скучать. Максимов и Инна в больших, подробных письмах сообщают ему о выставках, концертах, вечерах, состязаниях. Инне больше не о чем писать: у них ведь не было общего прошлого, а

мечты о будущем... О них и говорить-то трудно, не то что писать. Но Леха описывает городские соблазны с подозрительно эпическим размахом. Может быть, его рукой водит желание развлечь друга, прозябающего в глуши, но временами Зеленину кажется, что он угадывает подсознательное желание Максимова доказать ему свою правоту. Смотри, как бурно бьет жизнь! Смотри, какие дискуссии, какой накал! А ты там...

Зеленин писал только о работе. Ему не хотелось общаться насмешливому Лехе о том, что он стал активным членом правления клуба и редколлегии устного журнала, о том, что декламирует стихи на концертах самодеятельности и собирается поставить «Деревья умирают стоя», о том, что они с Борисом сколачивают волейбольную команду и раз в неделю тренируются на пристани в складе, оборудованном под спортзал, о том, что можно интенсивно жить и в «глуши», если только не хныкать и не подвергать себя мучительному психоанализу. Всего этого он Лешке не сообщал, подробно расписывая зато свою практику. Может быть, он считал это самым мощным аргументом в их споре,— в споре, который был начат на Дворцовой набережной. Зеленина поразили тогда слова Максимова. Трудно было приписать это только стремлению встать в модную позу современного Чайльд-Гарольда. Не так-то просто раскусить таких парней, как Лешка Максимов. Но спор— это уже хорошо. Хорошо, что возникают споры. Года три назад, когда Зеленин пытался перевести разговор в общую плоскость, следовал взрыв хохмочек и предложение пойти выпить. Времена меняются, и мы меняемся с ними. Мы— поколение людей, идущих с открытыми глазами. Мы смотрим вперед, и назад, и себе под ноги.

Остальное зависит от силы зрения. Одни отчетливо видят цель, а другим нужно подбирать оптические стекла.

— Ну, я пошел, Александр Дмитриевич,— мрачно сказал кучер Филимон. Он стоял в дверях, держа в руках тазик, утлый сосуд, несущий его в новую жизнь.

Зеленин накинул пальто и вышел во двор, в безмолвную суматоху несущихся вкривь-вкось, вниз и даже вверх снежинок, в серый уютный зимний день. Компакт-

ным, слежавшимся спокойствием веяло от берез, свесивших белые космы, от домиков, по окна погруженных в снег, как в послэобеденную дрему, и только к юго-западу от больницы, очень далеко над темной зубчатой полосой леса, тучи начинали темно синеть, и между ними еле-еле проглядывала длинная золотисто-оранжевая прожилка. Она напоминала, что в мире далеко не все так ясно и спокойно, как этот серый день. Например, любовь...

Прикованный к месту неясным, но мощным предчувствием, Зеленин стоял, не в силах оторвать взгляда от золотой нити, таинственной рукой протянутой над лесом. И именно с той стороны появилась неторопливая коняга, запряженная в санки. Приехала почта.

ТЕЛЕГРАММА И ПИСЬМО

Из Москвы, от Инны. Лежат на столе, и пальцы Зеленина выбивают дробь рядом. Зеленин достает сигарету и смотрит на сокровище, лежащее на столе. Происходит борьба. Письмо послано на неделю раньше телеграммы. Значит, прежде нужно читать его.

Но в телеграмме заключена новость. Страшно даже подумать, какая новость может быть заключена в телеграмме. словно бросаясь в воду, Зеленин хватает ее. «Выехала мурманским поездом вагон пять Инна».

Так и есть. Именно то, о чем он не мог и думать. К нему едет незнакомая девушка по имени Инна. Совершенно незнакомая. Чужая. Несколько слов, переданных азбукой Морзе и отпечатанных на бумажных полосках, обдали его волной холода и зябкой неловкости. Как они встретятся? О чем будут говорить? Где она будет спать? Образ, надуманный при помощи писем и телефонных разговоров, исчез. словно к спасательному кругу, Зеленин протянул руку к письму.

«...я измучилась. Ты стал уплывать от меня, стираться в памяти. Может быть, я сумасшедшая и нахалка, но я твердо решила: сдаю последний экзамен досрочно и выезжаю к тебе. Учти — просто кататься на лыжах. Не выгонишь?»

Милая! Милая сумасбродка. Да, это пострашнее, чем

сесть в машину к незнакомому парню. Каким числом датирована телеграмма? Сегодня ночью мурманский экспресс пройдет через их станцию. А до станции семь часов на автобусе. Никак не успеть. Нужно звонить Егорову...

— Ну, поздравляю, поздравляю тебя! — кричал в трубку Егоров. — Не трусь. Все будет прекрасно. Она молодец. О чем разговор! Конечно, бери машину.

Итак, все в порядке. Зеленин снова перебежал через двор в свой флигель. Черт побери, в квартире прохладно! В столовой определенно гуляет ветерок. И вообще, омерзительное холостяцкое запустение. Ей будет противно и скучно. Надо купить приемник! В сельпо, кажется, был симпатичный «Рекорд» с радиолой. Он стоит рублей четыреста — пятьсот. Деньги есть — целая тысяча! Схватив пальто и нахлобучив малахай, Зеленин выскочил из дома, рысью пустился по аллейке. Перегнал Дашу, идущую домой. Та, услышав за спиной тяжелый топот, ступила с тропинки и прямо в снег. Не так давно она забросила на печку растоптанные валенки и ходила теперь в черных войлочных ботиках с кожаной отделкой. Она провалилась почти по колено, и жгучий холод, обложив ногу, колот иголочками сквозь капрон, словно издевался над этим смехотворным продуктом цивилизации. А доктор уже скрылся из глаз.

И Даша знала, в чем дело. «Ну и беги себе, голенастый журавль, встречай свою столичную селедку!» Даше все это глубоко безразлично. Ты ей совершенно безразличен. Полностью и навсегда. Но все-таки надо же наконец вытянуть ногу из снега.

...Зеленин поставил маленький приемник в столовой и забросил антенну на печку. В центре исторического стола оказалась бутылка шампанского. Вокруг с трогательной симметрией разместились коробки конфет, баночки шпрот. Коньяк яростный борец с алкоголизмом поставил на подоконник, за шторку. Потом он стал крутиться по квартире, смахивая пыль, выгребая из углов

свалявшийся мусор, стараясь суетливыми движениями отогнать тревожные мысли.

За окном синели сумерки. Скоро должна была прийти машина. И вдруг Александр, пробегая с веником через столовую, краем глаза заметил, что березы и елки заливают жидкий красный свет. Они становятся похожи на декорации в театре. Он ахнул, подошел к окну и увидел, что плотные теплые тучи уже занимают только три четверти неба, а над ощетинившимся лесом горит быстротечный зимний закат. Мгновенно Зеленин представил картину: в огромном снежном пространстве летит неистовый стоглазый организм — экспресс «Полярная стрела». Может быть, это он освобождает небо, невидимой рукой стягивая тяжелое одеяло?

Он надел белую рубашку, синий джемпер с орнаментом, посмотрел в зеркало и остался доволен собой. Похож на аспиранта первого года обучения. Повеселев, он прошелся по комнате и остановился у дверей.

Двери открылись. На пороге стоял Макар Иванович.

— Проходите, Макар Иванович. Стряслось что-нибудь?

Старик взглянул на него виновато:

— Мальчонка на лыжах прибежал с Шум-озера. Словом...— Он раздраженно махнул рукой.— Эх, дурак я, право! Вы уж извините, Александр Дмитриевич. Понимаю, что не вовремя.

— А что там все-таки случилось, на Шум-озере? Вы можете сказать?

— Лесника медведь задрал. Сын говорит, крови много потерял и раны ужасные. Я бы сам поехал не раздумывая, да боюсь, не справлюсь. По хирургии у меня малый навык.

Он моргнул и взглянул прямо в глаза Зеленину. Тот понял, что эти слова нелегко ему дались. Может быть, вспомнил старый фельдшер, сколько раз, грозно насупившись, он бросал сакраментальную фразу: «Медицина бессильна!» — и не думал даже о том, что бессильна не медицина, а он сам.

Зеленин без пальто выскочил из дома и в несколько прыжков пересек двор. Парнишка лет двенадцати, прибежавший с Шум-озера, сидел в дежурке. Санитарка от-

паивала его чаем. Зубы мелко-мелко стучали по фаянсу.

— Помирает папка,— безучастно сказал парнишка. Полдня он гнал по лесным тропам, случайным проселкам, кубарем летел с крутых склонов, цепляясь за кусты, на бегу совал в рот комки обжигающего снега. Сейчас сонливое безразличие овладевало им.

В дежурку боком влез Филимон, огромный в своем дубленом тулупе.

— Я готов. Поедем, что ли, Митрич?

— С ума сошел? Ты больной. Понятно? Немедленно в постель.

Зеленин схватил себя за подбородок, что-то замычал и растерянно повернулся к фельдшеру:

— Что делать, Макар Иванович? Санки нам не подмога. Пока доберемся, будет поздно.

— Надо звонить Самсонычу,— решительно сказал фельдшер.

— А что толку? Машина туда все равно не пройдет. Правда, парень?

— Не,— сказал сын лесника,— не пройдет машина. Куда там!

— Все-таки позвоните Самсонычу,— упорствовал Макар Иванович.

Зеленин снял трубку.

— Глупости,— спокойно сказал Егоров.— Забыл, Саша, что мы живем в двадцатом веке? На вертолете вы будете там через полчаса.

— Неостроумно! — рявкнул Зеленин.

— Я не шучу. Сейчас созвонюсь с летчиками. У нас тут неподалеку аэродром.

— Думаешь, они дадут вертолет?

— Уверен. Стой, а как же быть с Инной?

Зеленин ахнул. Он совсем забыл об Инне. Хорошенькое дело!

Как же быть с ней? Ах, как отвратительно все у него получается! Он просто законченный неудачник.

В трубке снова послышалось оптимистическое похотывание.

— Ерунда,— сказал Егоров,— не волнуйся. Я сам съезжу за ней.

— Ну что ты, Сергей Самсонович!

Егоров помолчал и сказал сухо:

— Я все-таки думал, что ты считаешь меня своим товарищем.

— Конечно, но...

— Никаких «но»! Какая она? Да Инна же, господи!

— Красивая. У нее будут лыжи.

ПОЛЕТ

Через пятнадцать минут Егоров сообщил, что вертолет сейчас вылетит и опустится на лед недалеко от пристани. Через пять минут Зеленин уже шагал по темной улице поселка. Снег скрипел под его ногами. Мелкая россыпь звезд усеяла небо. Многоцветные кольца окружали усеченный круг луны.

Зеленин шел за Дашей. Одному трудно будет оперировать.

В это время в Дашином доме происходила весьма важная церемония. Церемония сватовства. Вокруг стола сидели Дашина мать, Федор Бугров и два свата. Вчера Бугров сорвался. Он подстерег Дашу, когда она возвращалась из кино, пошел рядом. «Дашка,— говорил он,— пропал я совсем. Люблю. Пожалей. У меня много денег. Все твое будет. Хозяйство заведем». — «Оставьте,— отвечала Даша,— я не хочу иметь с вами ничего общего». Тогда Бугрову пришла в голову безумная мысль: посватать ее законно, по старому обряду. В сваты он взял Сергея Сидоровича Полякова, своего дядю с материнской стороны, и безответного мужичка Луконю, сторожа пристанских складов. Для верности сам пошел вместе с ними, хотя это и было нарушением обычаев. Решил подействовать на Дашину мать смирением и добротностью одежд. Сейчас они все сидели вокруг стола и, как положено, для начала вели околичный разговор. Дашиной матери очень все это было не по душе. Она и в мыслях не допускала отдать дочь за «охальника Федьку».

Проще всего было бы указать непрошеным гостям

на дверь, но вековое уважение к важнейшему обряду мешало ей это сделать. Какие-никакие, а все же первые сваты. Поджав губы, она бросала сердитые, но со скрытой смешинкой взгляды на ширму. За ней сидела Даша и демонстративно со злостью крутила патефон.

Парней так много холостых,
А я люблю женатого...—

летел с пластинки голос, полный вечерней девчачьей тоски.

Даша уронила голову на руки. В этот миг ей показалось, что она действительно полюбила смешного долговязика Сашу Зеленина, что жизни больше нет, а дальше пойдет навеки только жалкое прозябание.

Кто-то бухнул в дверь, застучали торопливые шажки матери, послышался глуховатый басок:

— Дарья Ивановна дома? Простите, срочный случай. Операция. Нужно лететь на Шум-озеро.

Даша выскочила из-за ширмы и сжала пальцы в кулаки. В дверях стоял Зеленин, но глядел он не на нее, а на Федьку. Несколько секунд в мирной комнате под оранжевым абажуром все было недвижимо. Только транссирующие полеты взглядов пересекали теплый воздух. Чувствовалось, что сейчас все полетит к чертям. Федька начал медленно подниматься со стула.

Зеленин тоже медленно, безотчетно спускал с плеча сумку.

— Я сейчас, Александр Дмитриевич! — отчаянно воскликнула Даша и кинулась в спальню между столом и дверью, словно пытаюсь расцечь тяжелую волну ненависти.

Бугров швырнул в сторону стул.

— Выйдем отсюда, — сказал Зеленин. Никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах он не отступит перед Бугровым. Что бы ни было.

— Падло! — прошептал еле слышно Федька, и по искре, мелькнувшей в глазах, видно было, что он даже доволен создавшейся ситуацией.

Вдруг Сергей Сидорович грузно надел на него сзади. Даша выбежала уже в валенках, полушубке и шапке-ушанке и потянула Зеленина за руку:

— Пойдемте! Да пойдемте же!

Достойно ли покинуть поле боя сейчас, когда противник бессилён?

— Ведь нас же больной ждёт, Александр Дмитриевич!

Не торопясь Зеленин вышел. За ним выскочила Даша. Опомнившись, она сразу почувствовала, что в ночном безмолвии Круглогорья сегодня есть что-то необычное. Слышался дальний, но отчетливый шум.

— Это за нами,— сказал Зеленин.— Вертолет.

Девушка ахнула:

— Вертолет?!

— Ну конечно,— с напускным спокойствием ответил Зеленин,— дело-то ведь крайне срочное.

Они побежали к озеру по тропинке через огороды. Перевалились через плетень и, увязая в снежной целине, спустились на лед.

А в это время Бугров молча боролся со своим дядей. Наконец он стряхнул его и отбросил в угол. Дашина мать встала в дверях со щеткой.

— Не подходи, ирод, порешу!

Бугров вырвал щетку, сломал ее о колено и, обведя взглядом комнату, сказал раздельно:

— Все. Привет, граждане.

Ринулся вон. С крыльца увидел на озере две фигурки. Лед местами был оголен от снега и мертвенно серебрился под луной. В этом слабом блеске неподвижно стояли двое. Федька перемахнул через плетень, помчался к обрыву, остановился на самом краю, проверил за голенищем нож, поднял голову — и остолбенел.

В небе в густой темной синеве быстро двигалось какое-то инородное тело. Он не сразу сообразил, что это вертолет.

Зеленин и Даша уже не помнили о Федьке. За несколько минут они очутились страшно далеко от него, в особом ночном мире, где действуют только люди, идущие на помощь. В необозримую даль уходило ледяное пространство.

Зеленину на миг показалось, что они стоят на белом песке на дне океана, в какой-то Марракотовой бездне.

Вертолет уже висел над ними, трепеща винтами, как диковинная глубоководная рыба. Потом он пошел прямо вниз и раскорячился на снегу своими тремя колесиками. Открылась дверца, из нее махнула громадная лапа.

У пилота были южные глаза и круглые щеки. Ясно, что, знакомясь в другой обстановке, парень неминуемо разразился бы шуточками. В тесной кабине пришлось прижаться друг к другу, и Александр даже забросил руку за плечи девушки. Пилот захлопнул дверцу. Взревел мотор — машина вертикально пошла вверх. Ощущение было настолько необычным, что Зеленин закрыл глаза. С закрытыми глазами он вспомнил, что нечто подобное, такие взмывания вверх уже происходили с ним раньше, в детских снах.

Вертолет перешел на горизонтальный полет.

— Ой, вот наш дом! — воскликнула Даша. — И кто-то стоит на обрыве. Мама, наверно.

Не будь в кабине так тесно, Даша, безусловно, вся бы извертелась.

Она первый раз в жизни поднялась в воздух, да еще на вертолете!

Она то взглядывала сияющими, благодарными глазами на спутников, то восторженно смотрела вниз, на снежные бугорки крыш, и вдаль, на огни Стеклянного мыса.

— Какая красивая у нас земля! — эти слова вырвались у нее как вздох.

Правда, красиво.

Темные массивы леса клиньями, полукружиями, островками окружали ледяной простор, посылающий в небо лунные лучики.

— Какой марки машина? — заорал Зеленин пилоту.

Узнать это было совершенно необходимо, чтобы в письмах небрежно сообщить: «Летаю на вертолетах марки...»

— «МИ-один», — ответил пилот. Он снял рукавицу, почесал за ухом, вытащил папироску, закурил и углубился в карту.

Может быть, он чуть-чуть рисовался, а может быть, несколько, но, так или иначе, его будничные движения подействовали на Зеленина. До чего же странное суще-

ство человек! Каких-нибудь шестьдесят лет назад только самым дерзким мечтателям приходила идея взлететь в воздух с помощью мотора. Дед этого пилота, вероятно, сидел на арбе, цукал волов и так же вот почесывался. А внук его, может быть, почесываясь, будет высматривать посадочную площадку на Луне.

Двадцатый век! Сидим внутри вибрирующей железяки, под ногами пустота, а попробуй кому-нибудь сказать о невероятности происходящего — засмеют.

Через двадцать минут, когда уже утихли Дашины восторги и улеглось зеленинское возбуждение, пилот громко сказал:

— Вот, между прочим, эта хата.

Зеленин заглянул вниз и увидел маленькое светлое пятно огорода и двухскатную крышу. Он с сомнением посмотрел на пилота:

— Сядете тут?

— Даже не знаю. Снег глубокий и деревья,— чего доброго, винт поломаю,— сказал пилот.— Что ж, надо попробовать.

В кинохронике Зеленин видел, как спускались из вертолета по веревочной лестнице. У него даже захватило дух от восторга.

— Может быть, мы по веревочной лесенке спустимся?

Теперь уже пилот взглянул на него с сомнением:

— А девушка как же?

— Подумаешь! — воскликнула Даша.— Я тоже смогу.

— Ну, валяйте! — Пилот повеселел и пошел на снижение.

Вертолет повис метрах в двадцати над землей. Казалось, можно дотронуться до верхушек елей. Открыли дверцу. Тугой морозный воздух ударил в лицо. Пилот, встав на колени, пошарил на дне и выбросил за борт лестницу. Стараясь не смотреть вниз, Зеленин завязал тесемки малахая и протянул руку пилоту:

— Ну, пока. Спасибо, товарищ.

— Чего там. Счастливо.

«Абсолютно не страшно»,— думал Зеленин, болтаясь в воздухе и щупая ногой пустоту.

Последняя ступенька плясала метрах в пяти над зем-

лей. Он разжал руки и сразу же врезался по грудь в снег.

Могучий рокот и свист стоял над лесом. Зеленин поднял голову. Сверху бесформенным кулечком быстро катилась Даша. Она упала чуть ли не на шею Зеленину. Оба весело забарахтались в снегу. Отменное приключение!

Лешка Максимов просто околдовался бы от зависти.

— Ну,— сказал Зеленин,— что же, поползем теперь до дома?

— Смотрите,— толкнула его Даша,— вон жена лесника.

От дома, ожесточенно махая лопатой, двигалась к ним темная фигура.

НОЧЬЮ В ЛЕСУ

— Ну вот, пока все,— сказал Зеленин, стягивая шелк на последнем шве.— Утром увезем в больницу и там проведем второй этап.

— Жить-то будет кормилец?— глухо спросила из угла женщина.

Зеленин вздрогнул и посмотрел на нее. Сколько извечного, даже первобытного было в этом простом слове «кормилец»! Видно, и сейчас, в век вертолета и пенициллина, во всех без исключения женщинах живет древний страх перед потерей мужчины, кормильца, водителя малого человеческого отряда — семьи.

Неважно, кто он, банковский служащий, судья по футболу или охотник-лесник.

Зеленин смотрел на женщину и молчал. Она подошла ближе к столу, на котором лежал ее муж.

— Будет жить!— убежденно воскликнула Даша.

Они перенесли тяжеленное тело лесника со стола и уложили его на кровати в соседней комнате.

Лесничиха собрала ужин. Громадная сковорода с жареным мясом, графин настойки, банка консервированного компота. Аппетит волчий. Даша и Зеленин набросились на еду.

Они ели и вели себя, как люди, довольные своим трудом, прожитым днем, и друг другом, и всем миром.

С набитыми ртами они переглядывались и вспоминали, как прыгали с вертолета в сугроб. Лесничиха, подпершись, смотрела на них.

— Дай вам бог счастья! — вдруг сказала она.

Даша быстро взглянула на Александра и покраснела. Зеленин только спустя минуту понял особый смысл сказанной лесничихой фразы. Женщина, видя их смущение, смутилась сама.

— Ндравится медвежатинка-то? — спросила она.

Зеленин поперхнулся.

— Как? — воскликнул он. — Так это... Может быть, это тот самый? — Он неловко поежился от своей мрачной шутки.

— Он самый и есть, — вздохнула лесничиха. — Виктор Петрович его ножом закончил.

После ужина Зеленин сел на кушетку, закурил и стал наблюдать, как ходят в длинной клетке взволнованные куры. Ему было чертовски приятно. Он наслаждался простотой и ясностью этой ночи.

Хороший труд, хорошая еда, хорошая усталость и сигарета.

Вошла Даша.

— Александр Дмитриевич, я ввела ему камфару. Сейчас лягу спать.

— Даша, — сказал он.

— Что?

Она стояла перед ним золотистая, румяная и пушистая, с переброшенной на грудь косой. Коса была настолько толстой, что ее переплетения напомнили Зеленину булку-халу. В колеблющемся свете керосиновой лампы лицо девушки казалось совсем детским.

— Может быть, вы посидите со мной?

Она подошла и села рядом на кушетку. Как все просто и прекрасно в жизни: лететь на вертолетах, оперировать людей, пить настойку, любоваться красивыми девушками! Целовать красивых девушек. Даша резко встала и посмотрела исподлобья. Повернулась, ушла.

Зеленин подошел вплотную к окну. Искрился снег, искрилось небо. Вот лес — это действительно мрак, это ночь. Лес кругом. По лесу бродят волки, медведи, охотники. Люди дерутся с дикими зверями. Потом кто-ни-

будь кого-нибудь ест. А кто-нибудь стонет один в лесу. Но в небе летят вертолеты. Летят на помощь врачи и сестры, хорошие друзья, понимающие друг друга.

Это ночь, наполненная жизнью. Такие ночи не забываются.

Они остаются в памяти и освещают прошлое, как фонари.

Хочется спать.

ГЛАВА VIII

иди, иди...

С окончанием навигации открылись новые пути — пешеходные тропинки, проложенные по льду. В солнечный день на такой тропе радостно и чуть-чуть страшно-вато. Такого блеска ты не видел никогда. Вокруг ослепительно-серебряный снег, ослепительно-золотое солнце, ослепительно-голубое небо. Но вот ты ступаешь там, где работал ветер. Скользишь по матовому стеклу, под которым угрожающая глубина, какие-то смутные очертания. Скользишь, подавляешь тревогу и радуешься, что ты на поверхности, в солнечном мире, что тебе хочется петь, что каждый зимний день приближает весну. Зато ночью и в непогоду, в спящем снежном потоке кажется, что все черти морского дна, вся нечисть выбралась из коряг и студенистого ила, воеет и поджидает твой неверный шаг. Замечаешь, как мало стало огня, как пустынные причалы; глядя на застывшие порталные краны, понимаешь древнюю печаль ящеров в ледниковый период. Ты одинок в центре бешеной снежной спирали. Зачем тебе куда-то идти, качаясь и скользя, зачем тебе о чем-то мечтать, зачем гнать тоску? Разве есть в мире что-то, кроме тебя и метели? Разве существуют друзья, теплый свет из окон, телефон, говорящий голосом любимой, и сама любимая? Разве есть в мире столовые, пароходы, библиотеки и операционные, книги и фильмы, вино, волейбольные мячи, телевизоры, песни, весна, счастье? Есть только холод, тоска и вой. Зачем же ты идешь? Звери сворачиваются в клубок, скулят,

и слабо защищаются, и готовятся подохнуть. А ты идешь, потому что ты человек, потому что пурге не выбить из тебя уверенности в том, что все перечисленное существует, потому что ты знаешь, что снова будет солнце. Неважно, сколько ты идешь по льду — полчаса или тридцать дней, неважно куда — на свидание с любимой или к Южному полюсу. Важно, что ты идешь. Солнечный день и ненастье. День и ночь. Уныние и надежда: А ты все идешь и идешь.

В отделе шел обычный трудовой процесс: стучали пишущие машинки, звонили телефоны, кричали и смеялись сотрудники. В коридоре стоял Владька и курил. Максимов подошел к нему:

— Ну, чем порадуешь?

— А! Все то же. Был в управлении. В клинику не отпускают. Приказали продолжать освоение гигиенических установок. «Вы оцените это в плавании, доктор Карпов».

После закрытия навигации Максимова перевели с карантинной станции в коммунальный сектор, а Карпова — в промышленный. Кончились бессонные ночи, штормтрапы и морские традиции. Стало скучно. Ходили слухи, что, прежде чем отправиться на суда, молодые врачи должны будут пройти через все секторы отдела. Не смешно. Скорее мрачно.

Открылась одна из дверей, и в коридор вышел доктор Дампфер, высокий, сухой старик в морском кителе.

— Алексей Петрович,— позвал он,— хотите немного поработать?

Максимов бросил окурок и вошел вслед за ним в кабинет. Дампфер корпел над годовым отчетом. Приставленные друг к другу столы были завалены папками, справочниками и кипами пустографок.

— Я ведь ничего в этом не понимаю,— сказал Максимов.

— Ничего, разберетесь. Вы сообразительный,— усмехнулся старик.

— А что нужно делать?

— Для начала посчитайте тараканов.

— То есть? — опешил Максимов.

— Ну вы же сами писали в актах, когда обследовали

суда: инсекты обнаружены или не обнаружены. Вот вам папка актов, вот списки судов. Просматривайте и отмечайте: где есть тараканы, ставьте крестик, где нет...

— Нулик?

— Правильно. Я же говорю, вы сообразительный.

— Вся премудрость?

— Да.

«Крестики и нулики,— думал Максимов.— Замечательно! Значит, я учил физиологию, биохимию, диалектический материализм, проникался павловскими идеями нервизма для того, чтобы считать тараканов? Здорово!! И так...» Паровая шаланда «Зея» — крестик, буксир «Каменщик» — нулик, водолей «Ветер» — нулик, теплоход «Ставрополь» — крестик...

— Ну как, дело идет? — спросил Дампфер, не поднимая головы от бумаг.

— Просто здорово! — воскликнул Максимов. Все клокотало в нем, хотя он спокойно сидел в кресле и перелистывал акты. «Проклятый старик, канцелярская крыса, знаешь ли ты, что я умею читать рентгенограммы и анализы, что я уже сделал самостоятельно три операции аппендэктомии и даже один раз ассистировал при резекции желудка? Знаешь ли ты, что профессор Гущин нашел у меня задатки клинического мышления? Наконец, знаешь ли ты, что я волнуюсь, когда слушаю музыку или читаю стихи, что я и сам немного пишу? Впрочем, если бы даже ты и знал все это, ты не постеснялся бы заставить меня считать тараканов. Что ты понимаешь в жизни? Что ты видел в жизни, кроме своих бумажек да колоды для рубки мяса?»

— Кажется, вам не особенно нравится эта работа? — вдруг спросил Дампфер.

— Я, между прочим, врач-лечебник, — ответил Алексей, последними усилиями сдерживая бешенство. Вдруг он вспомнил, что точно такое же, как сейчас, чувство было у него, когда тренер предложил ему поиграть во второй команде.

— Да-да, — рассеянно проговорил Дампфер и углубился в бумаги. Через некоторое время он снова спросил: — Вы знаете задачи карантинной службы?

— Чистота! — выпалил Максимов. — Борьба с грызу-

нами, насекомыми и старшими помощниками капитанов. Правильно?

— Задача карантинной службы— это охрана санитарной границы Советского Союза,— раздельно и торжественно проговорил Дампфер.— Мы пограничники, вы понимаете? Здесь мелочей нет. Одна чумная крыса может нанести больший урон, чем сотня шпионов, переброшенных через рубеж.

— А тараканы к какому количеству шпионов приравниваются? — съехидничал Максимов.

Дампфер коротко, автоматически хохотнул, как человек, которому рассказали очень старый анекдот.

— Я все понимаю,— поспешно сказал Максимов.— Конечно, это важно — карантинная служба. Мне она даже нравится, но...

— Вам нравится носиться на катере по порту и с риском для жизни прыгать по штормтрапам.

— Откуда вы знаете?

— А черновая работа вам не по душе. Зачем же вы тогда пошли на суда?

— Надеюсь, на судне не нужно будет ставить крестики и нулики.

— Вы так думаете? Там вам придется лично гоняться за каждым тараканом. Боюсь, что у вас превратное представление о работе на судах. Некоторые, я знаю, считают эту работу сплошной парти де плезир. Такие люди плохо кончают. А в море, Алексей Петрович, на нас, врачах, лежит полная ответственность за жизнь и здоровье пятидесяти или шестидесяти человек, занятых тяжелым трудом, оторванных от родины, от своих семей. Вы понимаете эту простую истину? Именно для этого, и только для этого, мы поставлены на свой участок советским обществом. На иностранных судах аналогичных классов врачей нет. Здоровье моряков? Профилактика? Нонсенс! Вместо одного заболевшего в любом порту десятком на выбор. Вы не думайте, что это у меня только теоретические рассуждения. Я сам восемнадцать лет провел в море, шарик наш знаю не плохо.

Он закурил и уставился в окно, словно пытаясь что-то в нем разглядеть. Максимов впервые услышал от него столько слов сразу. Сейчас Дампфер как будто коле-

бался, стоит ли продолжать. Наконец он посмотрел прямо на Алексея и сказал:

— Человеку очень важно понять простейшую вещь — свое значение и назначение в обществе. Тогда у него появится настоящее отношение к труду. Тогда он будет жить полной жизнью. Поясню свою мысль. Все человечество разделено на две части. Для одних день жизни — это полный день, день целиком. Для других из дня вычеркиваются шесть или восемь часов работы. Такие люди начинают ощущать себя только после того, как повесят номерок или распишутся в книге ухода. Прибавьте сюда часы сна. Сколько остается? А жизнь ведь у нас одна-единственная, такая короткая... Молодые часто этого не понимают.

— Молодые понимают,— сказал Максимов,— понимают, что короткая.

Неужели Дампфер позвал его сюда специально для душевспасительных бесед? Похоже на то. Что ж, поговорим!

— На мой взгляд, дело не в продолжительности, а в интенсивности жизни. Спринтер на стометровке расходует энергии и жизненной силы не меньше, чем бегун на дальние дистанции. И если человек, прозябающий на скучной работе...

— Скучной работы у нас нет,— перебил его Дампфер,— есть скучные, или недалекие, или еще не разобравшиеся люди. Разберитесь во всем, поймите свое назначение, проследите до конца цепочку, и любая работа станет вам по душе. Мы все в этом мире связаны и делаем сообща одно дело.

— Дайте мне папироску,— сказал Максимов. Он уже больше не чувствовал скованности, словно забыл о возрасте Дампфера. Закурив, он усмехнулся, как бывало в спорах с Сашкой Зелениным или с кем-нибудь еще.— Очень просто все у вас получается. Пойми, что ты звено в цепочке, и будешь радостно трудиться. Но ведь большинство людей не нашло себя. Ведь это так трудно, и это такое счастье, когда сразу вступаешь на свой единственный жизненный путь! Вот сидит скучный счетовод, шуршит, как мышь, считает дни до зарплаты, мечтает новый костюм «справить», а кто его знает: если бы в

детстве его обучали нотной грамоте, может быть, он стал бы замечательным композитором. Вот и получается, что люди работают только для жратвы. А спасение для них — это так называемые посторонние мысли, чувства, ощущения в свободное время. Разве жизнь только работа? Это ханжество — так говорить. Есть другие великолепные вещи: музыка, стихи, вино, спорт, одежда, автомобили...

— Все создано трудом,— спокойно вставил Дампфер.

— ...горы, море, закаты, женщины,— продолжал Максимов.

— Все это недоступно бездельникам,— сказал старик.— Таково мое твердое убеждение. Им только кажется, что они живут на полную катушку, а в конце никто из них не избежит ужасающего холода пустоты.

— А кто вообще его избежит?— выкрикнул Максимов.— Человек подходит к концу и думает: ну, вот и все. И зачем все это было? Что это я делал здесь? Мы философствуем, боремся за передовые идеи, лепечем о пользе общественного труда, строим теории, а в конечном итоге разлагаемся на химические элементы, как растения и животные, которые не строят никаких теорий. Трагикомедия, да и только. В народе говорят: все там будем. Все! И передовики производства, и бездельники, и благородные люди, и подлецы. А где это «там»? Нет этого «там». Тьма. И тьмы нет, тьма — это тоже жизнь. Какое мне дело до всего на свете, если я каждую минуту чувствую, что когда-то я исчезну навсегда?!

— Замолчите! — закричал Дампфер и ударил кулаком по столу.— Мальчишка, хлюпик!

Он вскочил, подошел к окну, встал спиной к Максиму. Видно было, что он что-то ломает в руках. Повернулся и поразил Алексея выражением своих неожиданно ставших громадными глаз.

— Простите меня. Я старик. У меня стенокардия. Я как раз, как вы сказали, смотрю назад. Что это я делал здесь? Я был в частях, штурмовавших Кронштадт, работал в море и на берегу — вот и все. Мне не страшно! Понимаете вы? Я работал для своих детей, и для вас,

и для ваших будущих детей. В этом-то и есть наше спасение. Вы представляете, что случилось бы, если бы человечество поддавалось панике, какой поддаетесь вы? Дикость, разгул животных инстинктов, алкоголизм, ма-разм. Я знаю, Алексей Петрович, такие минуты бывают у каждого, особенно в молодости, но человек — на то он и человек...

Дверь распахнулась, и появилась сияющая физиономия Карпова.

— А, вот ты где?— воскликнул он.— Иди скорей получай зарплату. Не забыл, что у нас в четыре часа матч с судоремонтниками?

— А ты захватил мои тапочки? — спросил Максимов, торопливо вскочил и скрылся за дверью.

Минут через десять Дампфер увидел в окне обоих друзей. Они промчались, как два рысака, закусивших удила.

«Поговорили,— подумал Дампфер.— Так вот у них всегда, у молодых. Побежал на волейбол и все забыл».

...Дампфер ошибался. Алексей ничего не забыл. Разговор со старым врачом был для него большой неожиданностью, тем более что были затронуты вопросы, волновавшие его все последние дни. Внешне в жизни не изменилось ничего. По-прежнему они болтались с Владькой по малоллюдному обледенелому порту, курили в коридорах отдела и иронизировали, по-прежнему играли в волейбол, ходили в Публичку, на танцы, в кино, по-прежнему мало спали, мало ели, спорили об архитектуре, о джазе, об Олимпийских играх, об операциях на сердце, о пароходах, о ракетах, о женщинах, о том, у кого лучше развита мускулатура, но, когда Алексей оставался один, что-то страшное поднималось в нем и начинало свой безжалостный рев. Именно то, о чем он нечаянно проговорился Дампферу. Смешон в наши дни молодой человек, охваченный «мировой скорбью», но что делать, если есть такой молодой человек? Посмеяться над ним? Вряд ли насмешка ему поможет. Алексей пытался искать причины, вызывавшие в нем такое состояние. Может быть, панорама порта, еще недавно кипевшего натруженной, хриплой жизнью, а теперь погруженного в зябкий сон ледяной блокады? Может быть,

отчуждение, вставшее в последние дни между ним и Верой? Поведение Веры бесило его. Он обвинял ее в трусости, в мещанской косности, в боязни лишиться комфорта и спокойствия. Он бросал ей в лицо: «Тебя, может быть, устраивает такое положение? Ведь это же так фешене-е-бельно». Вера страдала, плакала, дурнела. Что-что, но спокойствие уже исчезло из ее жизни. Уже две недели они не встречались.

А может быть, еще одной причиной были письма Зеленина, полные идиотского задорчика, полные описания «трудовых будней» и совершенно определенного подтекста? Вот, мол, мы как, живем взахлеб. А вы? По-прежнему мечтаете о море и таскаетесь по выставкам? Или причиной были собственные «трудовые будни», бесконечные перекуры, от которых дубенело и саднило горло? Черт его знает! Была мрачная полоса. Алексей крутился на койке под черным зимним небом, на котором так мало звезд.

После разговора с Дампфером ему стало легче, хотя они оба не сказали всего, что хотели сказать. Он стал ждать весны, мечтать о теплых днях, когда защелкают у причалов флаги, когда он взойдет на борт парохода, и в день прощания прибежит Вера, и все сразу выяснится, и он будет знать. Ведь должен же кончиться когда-то путь через лед и тоску!

АМБАРНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ

Максимов и Карпов зашли к главному врачу отдела поговорить «о жизни». Главный врач, рослая, до ужаса волевая и до восторга оперативная женщина, всегда находила время для проявления чуткости к подчиненным. Молодых врачей она называла почему-то «бедными мальчиками».

— Ну, бедные мальчики, что же мне с вами делать?

Карпов сразу же стал хныкать и просить, чтобы его отпустили куда-нибудь, хоть в самый плохонький, хирургический стационар. Максимов, уловив момент, тактично спросил:

— Ирина Павловна, вы не располагаете сведениями относительно нашей отправки на суда?

— Раньше весны и не думайте об этом, мальчики. Зато когда откроется навигация, вы попадете на самые лучшие плаведницы. Уж я об этом позабочусь.

— Я деквалифицируюсь! — горестно воскликнул Владька.

— Перестань, Владислав! — сказал Максимов. — Руководство само знает, когда мы начнем деквалифицироваться. В нужный момент о нас позаботятся.

— А вы, оказывается, ехидный мальчик, — улыбнулась главный врач.

Аудиенция закончилась тем, что их опять «перебросили»: Максимова — в пищевой сектор, а Карпова — в коммунальный. На следующий день Максимов приступил к новой работе. Завсектором, пожилой врач Лидия Аполлоновна, сразу засадила его за чтение бумаг.

— Возьмите вот эту папку и познакомьтесь с опытом работы доктора Столбова. Петр Леонидович прекрасно освоил нашу специфику.

Акты, копии протоколов о санитарном нарушении, переписка, анализы пищевой лаборатории, расчеты калорийности... А-а-а-вуа-а-а-а...

— Что, Макс, и ты стал столоначальником? — спросил Карпов.

— А, Владька! Полюбуйся-ка на деятельность нашего гениального однокашника. Осваиваю опыт передовика.

Странички исписаны готическим почерком Столбова. Акт обследования одного из складов Торгмортранса. Указывается, что в партии муки высшего сорта, предназначенной для отправки на суда дальнего плавания, обнаружен клещ — амбарный вредитель. Предписывается муку немедленно уничтожить и об исполнении доложить. Знай наших!

— Лидия Аполлоновна, а какие последствия вызывает этот вредитель?

— Какой вредитель?

— Тот, о котором сообщается в акте Петра Леонидовича.

Лидия Аполлоновна прочла акт и недоуменно пожала плечами:

— Странно, я ничего об этом не знала. Или забыла?

Алексей Петрович, Столбова сейчас нет, поезжайте-ка вы на этот склад и проверьте на месте документацию. А клещ этот вызывает серьезные желудочно-кишечные расстройства. Вы можете прочесть об этом в книге профессора...

Максимов вышел на улицу и направился к воротам порта. День выдался теплый и светлый. Влажные струи воздуха текли со стороны залива. Снег как будто собирался подтаивать. Маленькая площадь перед главными воротами кишела людьми. Возле отдела кадров, как всегда, паслась пестрая толпа «бичей» (так по старой привычке называли резерв плавсостава). Максимов подошел к «бичам», раскланялся со знакомыми, потолкался среди них несколько минут. Публика эта была осведомленная обо всем на свете, а особенно о делах в отделе кадров. Сегодня все внимательно слушали повара резерва Эдю Сарахана, который рассказывал о последних радиogramмах. Вспоминали корешков, находящихся в плавании, толковали о судах.

За воротами грузовики превратили снег в грязную кашу. Максимов «голоснул» и за пятнадцать минут на разболтанном «ЯЗе» домчался до конца Западной дамбы. Здесь он спустился на лед, пересек бухту, взобрался на Кирпичный мол, прошел по нему до самого конца, вышел за пределы порта и проехал еще солидный кусок на трамвае. Склад находился у черта на рогах, на пустыре возле болота.

В сводчатом гулком помещении пахло сыростью. По проходу между ящиками и тюками блуждал маленький человечек в синем халате. Он метнул на Максимова быстрый взгляд и тут же поднял голову вверх, отвлеченно зашевелил губами, словно что-то подсчитывая. Максимов спросил на всякий случай:

— Вы заведующий?

— Врио,— бросил через плечо человечек.— А что, собственно?

— Я из санитарно-карантинного отдела.

Человечек быстро обернулся и пошел к Максиму с сияющей улыбкой на устах:

— Очень приятно, что не забываете. Ярчук.

Деликатно кружась вокруг, он провел Максимова в

кабинет, усадил в кресло и сам сел напротив, не спуская с него любовного взгляда и быстро говоря:

— ...больше имел дело с Лидией Аполлоновной и с доктором Столбовым. Очень, очень талантливый молодой человек. А теперь, значит, вы, доктор Максимов, нами, грешными, будете заниматься? Очень хорошо. Чем больше интеллигентных людей, хе-хе, тем лучше. Наука, она теперь...— Он на мгновение замолчал, и глаза его налились строгой влагой чудовищного уважения к науке.— Наука в наше время... Ах, доктор, в какое время мы живем!— Он снова зашелся от восторга.

Максимов молчал и старался смотреть как можно неприятнее. Он чувствовал, что Ярчук почему-то испуган. Молниеносные оценивающие взгляды словно рвались сквозь пелену идиотского быстрословия. Вдруг врио оборвал какую-то фразу и замолчал. Минуту в кабинете стояла тишина. Два человека смотрели друг на друга. Потом Ярчук завозился, открыл ящик стола и положил перед Максимовым коробку «Тройки», шикарных сигарет с золотым обрезаем. Максимов хмыкнул и открыл свою пачку «Авроры».

— В настоящий момент вас что интересует?— легким тоном спросил Ярчук.

— Партия муки, в которой обнаружен амбарный вредитель,— ответил Максимов, не спуская с него глаз.

Остренькое лицо Ярчука мгновенно засияло, как пасхальное яичко.

— Списали, выполнили указание.

— Покажите документацию.

Читая акт о списании, Максимов почувствовал себя беспомощным. Почему-то ему казалось, что дело тут нечисто, но как добраться до истины сквозь чащу торговых терминов, оплетенную велеречивой паутиной Ярчука? Выглядит все законно; акт, отпечатанный на машинке, в конце три подписи. Максимов терпеть не мог неразборчивые подписи. Что это за люди, которые превращают свое имя в каракули усталого идиота?

— Тут есть и подпись вашего коллеги,— сказал Ярчук.

Максимову послышалась в его голосе насмешка. Он еще раз взглянул на акт. Что такое? Уж подпись Петеч-

ки-то он знает: готика! А здесь какой-то размотанный клубок ниток.

— Покажите мне накладные за тот месяц,— вдруг по какому-то наитию сказал он.

Ярчук всполошился:

— Зачем, доктор? Зачем вам накладные?

Максимов почувствовал, что нащупал в темноте твердую почву.

— Нет у меня здесь накладных. Они у бухгалтера, а он уехал в торг.

— Да нет,— теперь уже Максимов улыбнулся (он решил подчиняться только своей интуиции),— бросьте вы этот фарс! Они у вас в этом столе.

— Это что же, Лидия Аполлоновна, что ли, вас научила?— спросил Ярчук неожиданно тихим и враждебным голосом.

— Да, она.

— Ну что же, полюбопытствуйте, бдительный товарищ. Мне стыдно за вас. Пришли из нашего советского вуза, а доверия к честным тру...

— Помолчите-ка!— грубо оборвал его Максимов.

Он стал просматривать накладные на сахар, консервы, атлантическую и тихоокеанскую сельдь, сухофрукты, мороженую баранину, муку. Снова он ничего не понимал. «Глупишь, брат Максимов, ставишь себя в смешное положение». Вдруг ему пришла простая мысль: сверить даты в акте и в накладных. И вот среди накладных на муку, отправленную на разные суда, он натолкнулся на бумажку, в которой значилось, что такое-то количество муки высшего сорта тогда-то отправлено на теплоход «Новатор».

— Значит, на «Новатор»?

— Это не та мука!— взвизгнул Ярчук.— Ту мы уничтожили, а взамен получили другую партию. Вы еще зелены, товарищ, ничего не понимаете! Смотрите.— Он стал сыпать бумажками и снабженческой абракадаброй.

Максимов действительно мало что понимал, но смутно догадывался, что попал в самую точку.

— Ничего, разберемся,— буркнул он,— радируем на «Новатор», врач там сам проверит.

Ярчук догнал его уже у выхода из склада.

— Послушайте, доктор Максимов,— сказал он и взял его под руку,— советую вам как старший товарищ, оставьте это дело. Тоже мне Нат Пинкертон — Нил Кручинин! Сами себе только повредите.

— Что это вы обо мне заботитесь?— сказал Алексей, освобождая руку.

— Ай-ай, какие у вас взгляды! Какие-то не наши. Все советские люди должны друг о друге заботиться, особенно мы, старшие товарищи, о молодежи. Но если вы не верите в мои намерения, я вам скажу другое,— он возвысил голос,— не хочу, чтобы трепали мое честное имя и пятнали репутацию, заслуженную долгим трудом.

Максимов молча открыл дверь, но Ярчук снова вцепился ему в локоть.

— Ваш товарищ, Петр Леонидович, вот он проявлял взаимопонимание. И вы, я уверен, тоже меня поймете.

Еле уловимым движением он коснулся кармана Максимова. Тот опустил руку в карман, и пальцы его нащупали плотный, гладкий сверточек. Не глядя, Алексей швырнул деньги на цементный пол и гаркнул:

— Я вам сейчас в морду дам!

Ярчук словно на пружинах прыгнул в сторону, схватил деньги и прошипел:

— Мы здесь одни. Доказательств у тебя нет, щенок, и не будет! Понятно? Пойдешь против меня — рога пообломаешь. Моря тебе не видать, разве что во сне. Пораскинь умишком!..

...Максимов вернулся в отдел, сел за стол и задумался. Ох и запутанное дело! Но, во всяком случае, страх Ярчука и его попытка дать ему взятку совершенно точно доказывают, что он нашел верный след. Конечно, технически все это обставлено гораздо сложнее, чем сейчас ему представляется, но в этом уж пусть разбирается эта организация, как ее... Обэхаэс! Нужно дожидаться Лидии Аполлоновны и все ей рассказать. А Столбов? Подпись не его, это точно, но взаимопонимание он проявлял. Неужели взятки брал, скотина? Ярчук — опасный тип. Что это за странная угроза? Какая может быть связь между Ярчуком и моей работой в море? Нет, надо по-

советоваться с кем-нибудь из ребят, прежде чем раскручивать катушку. Может быть, действительно плюнуть? От греха подальше.

В комнатах отдела было пусто, только из бухгалтерии доносился ровный перестук пишущей машинки. Максимов открыл книгу, где отмечались разъезды сотрудников. Так и есть — все на объектах. Лидия Аполлоновна в «Баскомфлоте», Карпов уехал на брандвахту 607. А где же Веня? Вот с ним-то стоит потолковать об этой истории: он-то наверняка даст ценный совет. В графе «Доктор Капелькин» Вениной скорописью значилось: «10 часов 06 минут — на Невский за плакатами». Максимов невольно улыбнулся, представив неутомимого общественника в толпе на Невском. В конце концов он твердо решил ничего не предпринимать, не посоветовавшись с Капелькиным.

«Опальный витязь» появился через полчаса, розовый, нахмуренный и деловитый. Увидев, что, кроме Максимова, в отделе никого нет, он швырнул в угол рулон плакатов и возбужденно заговорил о Невском, где ходят «черт знает какие чудачки». Максимов загнал его в угол, уселся рядом на стол и рассказал всю историю об акте Столбова, муке и Ярчуке.

— Веня, ты старая и мудрая портовая крыса, ты че-репаха Тортилла, посоветуй-ка, что делать.

— Да, я этого жука знаю, — медленно сказал Капелькин, — отпусти его, может руки попортить.

— Учти, я не из пугливых, — заметил Алексей.

— Все мы орлы, — усмехнулся Веня, — только я тебе не советую. Дорогу в море действительно потеряешь. Он тут всех и вся знает. Демагог, собака и подхалим, а доверием пользуется.

— До поры до времени.

— Может быть, но пока он может такой грязью облить, что сам себя не узнаешь. Доказательств у тебя нет. Это факт. А Ярчук сейчас все подчистит, комар носа не подточит.

— Ну, до «Новатора»-то ему не добраться: он сейчас в Индийском океане.

— Почему ты уверен, что на «Новатор» муку сплывили? Может быть, на другое судно, а может быть, в

городскую сеть. Зачем тебе, Лешка, жизнь себе портить и искать на свою шею приключений? Вреда особого от этого клеща нет: побегают ребята в гальяон, и все.

— А в следующий раз Ярчук настоящую отраву на суда сплавит?— хмуро спросил Максимов.

— Ну, как знаешь. Я бы ни за что не связался...

— А на что ты вообще способен?— махнул рукой Алексей, но решимости не было слышно в его голосе.

Что может случиться с этими парнями с «Новатора»? Они при надобности и мебель переварят. А он может испортить себе жизнь, лишиться того, о чем так упорно и зримо мечталось. Ярчук— тварь живучая, а доказательства нет никаких. Что ж, значит, надо отступать перед ярчуками? Так и жить с ними бок о бок, вращать в коммунизм? Демагог. Это Венька правильно сказал. Как он сыпал словами: «Мы советские люди», «В какое время мы живем!..» Именно этим и опасны такие типы. Шепнет кому-нибудь наверху: «Не наш человек»— и все.

Максимов вспомнил, как он спорил с Сашкой о цене высоких слов. Теперь он по-другому смотрел на это, чем тогда. Высокие слова сохраняют свою цену, когда их произносит старый коммунист— Дампфер, когда их произносит Сашка Зеленин, когда их поют и выкрикивают миллионы честных людей. А сволочей, которые пользуются ими как дымовой завесой, надо бить! Но уязвимы ли сволочи?

Капелькин не обиделся на резкую фразу Максимова. Он ходил по комнате и снова болтал о чудачках с Невского.

— Давай-ка лучше подумаем, Алексей, как лучше убить субботний вечер.

Рабочее время вышло. Алексей и Веня спустились с лестницы. У входа на них налетел Карпов. Он сиял так, что казалось, у него над головой подпрыгивает нимб.

— Макс, я ищу тебя. Куда ты заховался?

— В чем дело? Выигрыш, посылка, перевод или просто ты наконец сошел с ума?

— Понимаешь, сейчас я забежал домой, и как раз в это время зазвонил телефон. Ну и... Вера говорила. Ты, конечно, не помнишь, у нее сегодня день рождения. Очень приглашала. Тебя тоже, между прочим.

Максимову показалось, что здание попало в шторм. Он провел ладонью по лицу и крепко сжал щеки.

— И ты собираешься пойти... туда?

— А почему бы и нет? — смущенно и заносчиво воскликнул Владька. — Там все будут. Интересная публика. Почему бы и не пойти?

— Ну, что ж, желаю приятно поразвлечься. Поехали, что ли, Вениамин?

Они ушли к автобусной остановке.

— Чертов меланхолик! — крикнул вслед Владька.

РЕАЛИЗМ ИЛИ АБСТРАКЦИЯ!

Ночь составлена из двух простейших цветов. Черный и белый. Черный неподвижен и величествен. Белый кружится, опускается на землю, на крыши, на деревья. Деревья тянут мягкие лапы, кусты топорщат сучья, похожие на оленье панты. Где ты видел еще такой снегопад? В кино? В раннем детстве? Во сне? Как мирно, как тихо! Как легко идти, будто крылышки на ботинках! Пусто на улице. Который час? Молодой человек, выбежавший из сквера, не замечает уличных часов над головой, на которых стрелки соединились и вытянулись вверх, как штык часового. Молодой человек мчитя по улице в распахнутом пальто. Он бежит и что-то бормочет. Где-то он потерял роскошный норвежский шарф, свою маленькую гордость. Теперь очередь за беретом — слишком лихо сбит он на ухо. Трудно понять: весел молодой человек, или одержим чем, или пьян до такой степени, что в голову уже приходят самые оригинальные мысли.

«...Мы все немножко лицемеры и крепко верим, крепко верим лишь в вино...» Да-да! Откуда фраза? Черт, мозг набит цитатами! Больше никогда не буду ничего читать. Надо учиться мыслить самостоятельно. Впрочем, неважно. «Мы все немножко лицемеры!..» Э, да это песня! И не лицемеры, а суеверы. Раньше она пелась на такой мотив: «Мы все немножко суеверы...» Мне было тогда пятнадцать лет. Воображал себя взрослым мужчиной. Бал в женской школе. Головастый мальчик в отложном воротничке, а на заду две круглые, как очки, заплаты. Тогда никому и в голову бы не пришло потешаться над

этим. Первые годы после войны. А сейчас у мальчика недостаточно модные башмаки. Крепкие башмаки, но — о боже! — не остроносые! Сложная проблема элегантности. Других проблем нет? Работа? Любовь? «Мы все немножко лицемеры». И даже наедине с собой? Ну нет! Пьяным вход воспрещен. Сюда нельзя. Люблю! Или только внушил себе? Хм, что же тогда любовь, если не навязчивая идея?»

Не прекращается снегопад. Молодой человек уже что-то поет на ходу, что-то кричит:

— Пингины! Эй, пингины!

Впереди группа дворничих сгребает снег. Широкие книзу, в белых фартуках, они действительно сквозь ки-сею снегопада напоминают пингинов.

Алексей с налету проскочил знакомый двор, одним прыжком взлетел на знакомое крыльцо и оказался в знакомом подъезде. Медленно стал подниматься по пожелтевшим мраморным ступеням. Осмотрел знакомый фонарь, свисающий с потолка, мозаику окон, выходящих на лестничную клетку, бронзовую решетку лифта. Подумал: «Добротнo строили эклектики от архитектуры».

Жаль, хмель быстро выветривается. А ноги не слушаются, не хотят идти вверх. Спать хочется. Отсюда четверть часа ходьбы до общежития на Драгунской, а там в 120-й комнате сегодня пустует койка. Снять туфли, вытянуть ноги, закрыть глаза и... к черту, к черту все! Кора головного мозга отдыхает, как городская электростанция, гаснут очажки возбуждения. Блаженство! Ну нет! Так проще всего — сон, смерть или тупая жвачка. Неужели он смел только тогда, когда по кровотоку бродит спирт? Бей в барабан! Не бойся! Третий, четвертый, пятый, шестой этаж. Звонить сильно, нахально, всех взбудоражить! Не отрывать пальца от звонка. Идут!

Дверь приоткрылась на цепочке. В темноте замаячило бледное лицо Веселина.

— Что такое? Кто там? Что случилось?

— Привет! — сказал Алексей. — Это я.

— Простите? — вопросительно произнес Веселин.

Сейчас скажет: «Не имею чести знать». Должно быть, и с налетчиками этот тип будет разговаривать с позиций врожденной культуры.

— Здесь находится мой друг Владислав Карпов,— пробормотал Алексей.

Послышался легкий полет каблучков по паркету.

— Ну, пусти же! Убирайся, Олешка! Чего ты испугался?

Когда же ты перестанешь заикаться, жалкая личность? Когда наконец ты сможешь спокойно смотреть в это лицо, спокойно брать эту руку, пожимать ее (лучше всего легковесно целовать) и говорить непринужденно что-нибудь, ну там: «Паду к ногам твоим, богиня» — или еще какую-нибудь пошлость?

— Привет! — хрипло сказал Алексей. — Это я.

— Алешка! Заходи же!

Удивительное самообладание. Легкий, веселый тон: встретила друга детства.

В темной передней он снял пальто, пошарил на шее шарф, усмехнулся. Вера зажгла свет, и он неожиданно увидел себя целиком отраженным в зеркале. Удовольствия это ему не доставило.

— Как я рада, Алешка, что ты вспомнил обо мне!

— Да? Я тоже рад, что ты рада. Владька здесь?

— Владька скис. Было весело, а сейчас все уже выдохлись, философствуют. Проходи же.

— Одну минуту.

Максим, холодея от ужаса, зашарил в карманах. Неужели потерял и это? Нет, вот он, подарок. И смех и грех.

— Вера и вы... мм... Олег, не знаю, как отчество...

Веселин сделал протестующий жест:

— Помилуйте, просто Олег.

— Ну, в общем, я извиняюсь за столь поздний визит, но я решил все-таки поздравить... Веру... и... вот ты, кажется... ну, помнишь... хотела иметь такую штуку.

— Алешка! Какая прелесть!

Вера подняла руки, притянула к себе голову Максима и поцеловала его в щеку. Дружеский поцелуй, и только. Или слишком нежно для друга?

Вся мебель была сдвинута к стенам. В углу на полу стоял магнитофон.

Двадцать пальцев милых
Забить нет сил,—

выкрикивал низкий женский голос. На паркете прыгало несколько пар. Среди танцующих был и Владька. Он держал в объятиях худенькую девушку и смотрел на нее, как самоуверенный хищник. Увидев Максимова, он остановился, махнул рукой и крикнул:

— Эй, кого я вижу! Макс, друг мой, брат мой, усталый страдающий брат! — Он подвел к Алексею девушку, погладил ее по голове и проговорил:— Видел ты в своей жизни что-нибудь подобное?

— Девушка, будьте бдительны,— сказал Алексей и пошел в соседнюю комнату, где собралась основная часть публики, вольно раскинувшаяся в креслах и на софе. Здесь были и знакомые лица: несколько аспирантов, преподаватели, какой-то известный актер. В центре в позе боевых петухов стояли Веселин и длинный гривастый субъект в мешковатом свитере.

— Чушь! — кричал Веселин.— Хулиганство! Никогда народ не примет такого искусства.

— Вы отрицаете эволюцию, прогресс и современность,— лениво прогудел гривастый субъект.— Живопись в наши дни должна приблизиться к музыке по эмоциональному воздействию на человека, должна стать вибрацией человеческого духа.

— Хорошо, а какая же это вибрация, когда на холст выливают ведро красок, а потом бегают по нему в сапогах?

— Это крайности. Экстаз. Обывателю не проникнуть в тайну творческого процесса. Говорят, один писатель во время работы ставил ноги в тазик с водой. Разве он был психом? Человек более сложная машина, чем это представляется физиологам.

«Занятные мысли вываливает этот курьезный тип!» — подумал Максимов.

Абстрактная живопись была притчей во языцех. На выставках о ней спорили студенты, пенсионеры, врачи, рабочие. Большинство ругалось предпоследними словами и возмущалось. У Максимова были сбивчивые мысли на этот счет: «Черт его знает, а может быть, и есть тут какой-то непонятный еще мне смысл?»

— Итак, значит, эволюция! От тончайшего мастерст-

ва Репина и Поленова, от передвижников к мусорной яме?

— Пхе, всюду суют передвижников! У нас и своих достаточно натуралистов. Этот так называемый реализм безнадежно устарел в наш век кино и цветного фото. Пусть попробуют наши корифеи реализма подняться до фотографий Бальтерманца из «Огонька». Так нет, все равно сидит такой деятель и упорно списывает природу.— Потом он махнул рукой на растерянного Веселина:— Больше я с вами спорить не буду. Новое доступно только молодежи.

Все смущенно замолчали, поняв, какой удар нанесен молодящемуся доценту. Этого нельзя было не понять, глядя на суетливые движения Веселина, на его дрожащие добрые щеки. Вера вскопчила, очень сердитая.

— Фома! — крикнула она гривастому.— Не вообразайте себя героем и не расписывайтесь за молодежь. Конечно, натурализм устарел, но не реализм! Врубель, Марке, Сезанн, Матисс — это что ж, по-вашему? Это — искусство! Не то что ваш пресловутый Брак или Поллак, которых вы, кстати, и не видели ничего, кроме двух-трех плохих репродукций в «Крокодиле» под рубрикой «Дядя Сам рисует сам». Тоже мне новатор!

Все засмеялись, и тут Максимов сказал:

— Очень трогателен, Верочка, твой порыв. Ты просто идеальная советская жена.

Фома обернулся к нему, и они вместе стали кричать и размахивать руками. Им возражали, их высмеивали, но они не слушали возражений. Дух противоречия овладел Алексеем. Ему казалось, что он бунтует против продуманной симметрии профессорской квартиры, против добропорядочности Веселина и ханжества его жены, своей возлюбленной, против зимы, против Ярчука, против своей скучной работы и даже против Дампфера, человека, которого он уважал и о словах которого думал все эти дни. Он старался не смотреть на Веру, он говорил все быстрее и горячее, словно боялся, что, если он остановится, все сразу поймут то, о чем он не сказал ни слова. Осекся, когда встал отец Веры. Отец поставив на стол бокал с нарзаном, который держал в руках, и все замол-

чали. Профессор ничего не имел против споров, напротив, он всегда мечтал, чтобы в его квартире собиралась и горланила молодежь, но сейчас надо было вмешаться. Иначе Алексей, угрюмый и милый юноша, натворит бог знает что. Он, кажется, немного влюблен в Веру и зол на нее.

— Леша,— сказал он,— и вы, товарищ, умоляю, не считайте себя пионерами нового искусства. Лет сорок назад я слышал такие же слова от таких же, как вы, юношей. Да чего греха таить,— он заодно вскинул бородку,— и сам я ходил в футуристах. Правда, правда! Могу даже сборник показать, где есть и мои опусы.

Корявые гиганты,
Ломайте глобус
И забывайте —
Ухао! Ухао!

Смешно? А мы тогда поднимали такие вирши на щит. Дело не в том, что вы кричите и петушитесь. На здоровье, друзья. Дело в том, что когда-то вы должны понять истинную цену вещей, людей и событий. И чем скорее это произойдет, тем будет лучше для вас. Тогда поймете и искусство. Не всевозможные измы, в этом вы и сейчас разбираетесь, а Искусство! — Он долго говорил, воодушевляясь с каждым словом, и даже сам начал махать руками.— Вечность, вечность смотрит на нас с картин Репина. А вы говорите — фотография! Я понимаю еще пейзажи, но жанровые сцены, тончайший психологизм разве можно заменить фото?

— А разве кадры хорошего кино лишены психологизма? — буркнул Максимов и, бесцеремонно повернувшись, ушел в соседнюю комнату.

Вслед за ним вышел Фома. Здесь все было проще. Бушевал джаз. Владька с худенькой девушкой танцевали. Фома предложил пойти на кухню и «хлопнуть по стопке».

— Славную мы с вами дали баталию этим обскурантам! — сказал он, разливая коньяк.— Я сразу понял, что вы тоже живая, ищущая натура.

Теперь уже Фома почему-то раздражал Максимова своим густым голосом, трясуцей головой с распадающи-

мися патлами и бледной мускулистой шеей, торчащей из нелепого свитера.

— У нас в училище тоже зажимают передовое искусство,— говорил он.— К счастью, есть люди с чуткой, восприимчивой душой. Вы знаете, этой осенью мне дали за одну мою картину неплохие деньги.

— Да ну? — хмуро сказал Максимов.

— Да-да, нашелся ценитель моего гротеска. Понимаете, в нем я изобразил в иррациональном аспекте своего соседа по квартире.

— Уж не «Меланхолическое адажио» ли?

— Как, вы видели?

— Вы не шизофреник? — любопытно спросил Максимов.

— Да. А что? — Фома захохотал, но видно было, что он все-таки обиделся.

«Черт побери,— подумал Максимов,— опять я напорол глупостей. Зачем-то кричал, зачем-то обидел Веру, ее отца. В конце концов, я разбираюсь в живописи как свинья в апельсинах. Ну хорошо, «Адажио» — это определенно глупость, услада пижончиков. А Пикассо и Матисс? Это — искусство, готов драться за это. Но не каждый проведет грань между этими вещами. Мне тоже трудно провести. Для того чтобы провести, нужно как следует разбираться в этом. Нужно знать все, а я всего не знаю. И кричу. А не все ли равно, раз Вера меня не любит? Не все ли равно? Делаю я глупости или только умные вещи, кричу или молчу, люблю или ненавижу? Не все ли равно мне, которого никто не любит?»

Он тряхнул бутылку и огляделся. Он был один в кухне. Сидел на табурете возле стола, заваленного снедью, и кафельные стены с тихим звоном плыли вокруг. «Снова начинается. Прямо здесь и свалюсь», — с радостью подумал он и стал пить коньяк прямо из бутылки. Внезапно вращение стен прекратилось: в кухню вошла Вера. Она приблизилась к Алексею, прижала к себе его голову. На мгновение, на одно мгновение. Он посмотрел ей в лицо и увидел выражение жалости и какой-то странной, чуть ли не брезгливой любви.

«Вот как? Она, должно быть, думает: «Почему я полюбила это ничтожество, эту никчемную личность?» По-

нятно, она хочет покончить с этим, со всем, что у нас было».

— Итак, Вера,— сказал он твердо,— значит, всему конец?

— Ой, я не знаю, не знаю, Лешка! — с отчаянием проговорила она и присела рядом с ним.— Налей мне вина.

Он обрадовался. Значит, она еще не решила. Может быть, она даже не считает его ничтожеством? Должна же она понять, отчего он так! И любовь, и зима, и эти мысли... Когда-нибудь это кончится. И даже очень скоро. Он поймет все, он тогда сможет чего-нибудь добиться.

— Сделать тебе бутерброд?

— Да, пожалуйста.

— Со шпротами?

— Нет, лучше с сыром.

Это он сидит на кухне со своей женой. Просто встретились после работы, закусывают и тихо разговаривают. В квартире тишина, даже слышно, как сопит во сне Кешка, малыш.

Из комнат долетел взрыв смеха, и снова голос той женщины:

Двадцать пальцев милых
Забить нет сил...

Боже мой, миллионы мужчин и женщин встречаются по вечерам на своих кухнях, закусывают, переговариваются и не знают, какое это счастье!

— Значит, ты не знаешь? Но так, как сейчас, продолжаться не может, да?

— Да. Мы не должны больше встречаться так. Я не могу обманывать сразу двоих. Я не могу обманывать ни одного.

— Значит, конец,— сказал он.

— Нет! — воскликнула она.— Не могу от тебя отказаться! Но ты ведь понимаешь, Алексей, что, если я разведусь с Веселиным, мне придется уйти с кафедры. Не потому, что он будет меня травить — он для этого слишком чист,— но...

— Понятно.

— И это значит — прощай, аспирантура, моя тема, прощай, мой маленький Микки Маус...

— Что еще за Микки Маус?

— Разве я тебе не говорила? Ведь мне же выделили для экспериментальной части обезьянку. Я так обрадова...

— Значит, любовь и долг,— перебил он ее насмешливо.— Вернее, любовь и тема. Старая тема.

— Тебе легко иронизировать, ты будешь путешествовать, а я тебя ждать. Да?

Они замолчали, прислушиваясь к веселому топоту в комнатах. Спустя минуту Максимов спросил:

— Скажи, Вера, почему ты вышла за него замуж?

— Ты не знаешь, какой он хороший. У меня были тяжелые дни, и он помог, был всегда рядом. И потом, он так влюблен в свое дело и...— она запнулась,— и в меня.

— Значит, надо любить свое дело, и тогда нас девушки любить будут? — опять не удержался Максимов.

Вера безнадежно покачала головой, засмеялась и быстро чмокнула его в щеку.

— Идея! — воскликнул Максимов.— Ведь ты можешь уйти в другой институт. В тот же ВИЭМ, например.

— Я уже думала об этом. Наверное, я так и сделаю, но ведь это можно сделать только на следующий год.

— Значит, ждать еще...

— Шесть месяцев.

— И ты будешь ждать?

— Да.

— Ты проявляешь волю в своем безволии. Понятно?

— Пусть так! — ответила она твердо.

Максимов вскочил и стал запихивать в карманы сигареты и спички.

— К черту, к черту! — шептал он. Прошагал через кухню, остановился в дверях и ядовито процедил:

— Желаю вам успехов! Тебе и твоему... Микки Маусу!

— Лешка! — тихо вскрикнула она.

Тогда он подбежал, запрокинул ей голову и долгим поцелуем впился в губы.

— Люблю, люблю, люблю тебя,— прошептал он и вышел, оставив Веру в состоянии, близком к обмороку.

В передней он увидел Владьку. Карпов надевал на свою девушку шубу, подобной которой никто никогда не видел.

Он спросил, идет ли Алексей, и предложил проводить вместе «это дитя». При этом он смотрел так испытующе, что Максимуму показалось, будто он все знает.

ТОЛЬКО ДРУГ

Два друга и девушка вышли на набережную канала. Снегопад давно кончился. Стояла мягкая, пушистая ночь. Засыпанные снегом кроны подстриженных лип напоминали головки одуванчиков, и на секунду Максимуму показалось, что стоит только как следует дунуть, и весь этот невесомый снежный покой взвихрится и полетит обратно в небо.

Девушка все время недоуменно и печально поглядывала на Владьку. Максимуму даже стало жаль ее. А Владька упорно и довольно нудно острил, лепил снежки и метко бросал их в фонарные столбы.

— Что же ты даже телефончика не записал? — спросил Алексей, когда они остались одни.

— Мне это надоело! — резко ответил Владька, вставил в зубы сигарету и щелкнул пальцами, требуя спичек. Закурив, он проговорил: — Староваты мы, должно быть, становимся, раз клонит к постоянству.

— Это называется зрелостью, — усмехнулся Алексей.

Ему очень хотелось узнать, о каком это постоянстве ведет речь Владька, но он боялся спросить, зная, что потребуется ответная откровенность.

Владька взял его за лацканы пальто и сказал прямо в лицо:

— Я сегодня очень доволен. Убедился, что то, старое, все во мне перегорело, остался только пепел. Я тих и светел, как пустая бутылка. Да-да, я говорю о Вере.

Теплая радость захлестнула сердце Алексея. Владька все знает о нем и о Вере! Знает и дает понять, что дружба не находится под угрозой. Значит, не нужно больше таиться от одного из самых близких людей. Да здравствует веселый и хитрый дружище Владька Карпов.

— Ну да, мы с Верой любим друг друга, — сказал Алексей. — Я только боялся, что ты...

— Тоже мне сукин сын! — зашептал Владька. — Одинокий горный козел, медуза в океане! Забыл, сколько

супчика вместе съели? Ну-ка вываливай, что там у тебя в торбе, которую ты называешь душой!

Они стояли у дома незнакомой девушки. Темный фасад нависал над ними, как скала. Хлопнули друг друга по плечу, рассмеялись и, не сговариваясь, пошли куда-то к Выборгской стороне. Возвращаться домой, в порт, было бессмысленно: они добрались бы туда только к утру.

...Воскресное утро застало Владьку и Алексея в зале ожидания Финляндского вокзала. Привалившись друг к другу, ребята дремали в ожидании открытия буфета. Когда буфет открылся, взяли несколько бутербродов, по стакану горячего кофе и позавтракали прямо на скамейке. Потом вокзал как-то сразу запрудила пестрая толпа лыжников:

— Слушай, Макс, а ведь мы собирались к Сашке поехать, на лыжах покататься,— сказал Карпов.

— Обязательно надо съездить,— отозвался Максимов,— думаю, что Ирина даст нам по недельке за свой счет.

— То-то обрадуется наш рыцарь!

— Кстати, мы давно не были у его стариков. Поедем сейчас?

Дверь им открыла мама Зеленина. Кухонный передник очень не вязался с ее строгим обликом.

— Мальчики! — радостно ахнула она. — Какая досада, какая досада!

— А в чем дело?

— Если бы вы пришли вчера, вы бы ее застали.

— Кого?

— Сашину жену.

— Лешка, держи меня! — завопил Карпов. — Да держи же, черт тебя подери!

— Это как же так? — пробормотал Максимов. — В порядке шутки?

— Нам не до шуток,— сказала мама. — Встает большая проблема. Саша теперь семейный человек. Возможно, будут дети. Внуки... — Лицо ее просияло.

Она провела ребят в столовую, где папа Зеленин сидел за утренним кофе.

— Здравствуйте, друзья,— сказал папа.— Как вам нравится наш мальчик? Вообразите, в один прекрасный день получаем телеграмму: «Молнируйте благословение целую Инна Саша». Вот они, темпы двадцатого века.

— Дмитрий, но согласишься, что она прелесть,— сказала мама.

— Совершенно верно,— серьезно сказал папа.— А теперь взгляните сюда!

Это была районная газетка «Северная заря». На четвертой ее странице заголовок «Так поступают советские люди» был отчеркнут карандашом. Текст гласил: «Это случилось хмурой зимней ночью. Лесник Шум-озерского лесничества Курочкин схватился с медведем. Хищник нанес ему серьезные ранения. Сигнал о беде поступил в круглогорскую участковую больницу. Немедленно на помощь вылетели на вертолете комсомольцы — выпускник Ленинградского мединститута врач Александр Зеленин и медсестра Дарья Гурьянова. Вертолет не смог приземлиться возле домика лесника. Тогда молодые люди спустились вниз по веревочной лестнице. В лесной избушке при свете керосиновой лампы они произвели сложную операцию. Но испытания на этом не кончились. Утром у раненого началось кровотечение. Нужно было провести второй этап операции, но уже в больничных условиях. Не дожидаясь прихода транспорта, Зеленин и Гурьянова погрузили лесника на санки и, утопая по грудь в снегу, тронулись в обратный путь. Так они прошли четырнадцать километров, пока не встретили больничную упряжку. Жизнь раненого была спасена. Так поступает наша советская молодежь! Так поступают комсомольцы — молодые специалисты! Вот она, героика наших будней! Вот они...»

— Может быть, это смешно,— сказала мама Зеленина,— но мы с Дмитрием...

Она сняла пенсне и отвернулась.

— Совершенно верно,— сказал папа Зеленин.

— Вот это да! — бросив на стол газету, воскликнул Владька.

— Да-а, вот это дела-а! — задумчиво протянул Максимов.

ГЛАВА IX

ИННА ЗЕЛЕНИНА

Поезд грохотал в ночном пространстве где-то вблизи Бологого с таким неистовством, словно хотел рассыпаться в прах. В тамбуре носились острые сквознячки, но Инна уже десять минут стояла здесь, обхватив себя руками.

Через несколько часов она будет в Москве, где ждут ее родители, квартира на Гагаринском и двадцать лет прошлой жизни. Эти годы ждут ее настойчиво, хотя она подвела под ними черту. Беззаботные, добрые, веселые годы! Ей трудно сбежать от вас, ей трудно сбежать от ваших привычек. Но нужно бороться, нельзя забывать, что она уже не просто дочь своих родителей, спортсменка, красивая девушка, она теперь Инна Зеленина, жена смешного и одержимого, крепкого и беззащитного человека. Она главная в их союзе. Так уж получилось. Это было ясно с самого начала. Она быстра, решительна и на всех производит впечатление рассудительной девушки. Но все ошибаются. Да, да, ночью в тамбуре можно себе в этом признаться. Она совсем не рассудительна, ни на йоту. Сначала она совершает поступки, а потом начинает их обдумывать. Это рискованно, правда? Хорошо, что всегда попадались люди, способные прийти на помощь, исправить ошибки, поддержать ее. А теперь все будет по-другому. Все пойдет иначе.

Инна прошлась по тамбуру, попрыгала на месте и уставилась в стекло наружной двери, за которым выла и стонала темнота. Почему она не возвращается в купе? Почему так тревожно? Что особенного случилось? Вышла замуж — и все. В группе уже половина девочек сделала то же самое, а Ада Маргелян даже успела развестись. Это Сашка склонен драматизировать положение. Никакой драмы нет и не будет. Что из того, что они далеко друг от друга? Живут же люди — примеров масса. На следующий год она переведется в Ленинградский университет и будет ближе к нему. Зачем волноваться? «Ой, холодно! Даже сквозь свитер пробирает».

Она прошла в вагон. Все двери в купе были закрыты.

Она рывком опустила боковое сиденье, села, уперла подбородок в кулачок. Одна за другой перед ее глазами поплыли круглогорские сцены.

Вот первая ее ночь в Круглогорье. Синяя ночь. Мороз. Тишина, показавшаяся ей невероятной после привычного московского шума и грохота поезда. Странная квартира со скрипучими половицами, с антикварным столом. Что-то подобное она видела в комиссионке на Арбате. Она стала ходить по комнате, и в голову полезли смешные, неловкие мысли:

«Вот здесь мы поставим сервант, здесь пианино, здесь несколько кресел. Эту комнату можно перегородить и устроить детскую. Здесь...» Вдруг ей стало стыдно, и она впервые почувствовала всю неестественность своего прибытия сюда. Она словно очнулась от сна, во время которого кто-то перенес ее в неизвестную страну. Совсем недавно в Москве она лихорадочно собиралась в дорогу, не слушая криков родителей. Только сейчас она вспомнила, что отец даже назвал ее идиоткой. И вот... темный полустанок, веселый инвалид в тулупе и тулуп, которым ее закутали с головы до ног, сумасшедшая гонка по невероятной дороге, невероятная тишина, тусклые огоньки в ночи, странная квартира. А этот человек, этот выдуманный ею человек, к которому она стремилась, оказывается, улетел куда-то на вертолете. Сейчас уже никто не мог ее поправить, никто не мог помочь. Она была одна. Но самое страшное впереди — встреча с ним! Она знала, что он совсем не страшный, что он добрый, смешной, порывистый... А вдруг он совсем не такой? Вдруг он пустой и холодный, как эта квартира? Вдруг он скучный, сухарь?

Она бросилась в комнату, где стояла кровать, подбежала к заваленному книгами столу и открыла все ящики. К черту церемонии! Она должна увидеть его сию же минуту! Должен же у него быть какой-нибудь фотоальбом! Вместо альбома она нашла несколько туго набитых пакетов, в которых продают фотобумагу. Вынула наугад снимок большого формата. Трое парней скалили зубы, стояли обнявшись, видимо, на большом ветру, волосы их были растрепаны. Один в майке, один голый по пояс, и

только Зеленин в рубашке с галстуком. Инна вспомнила их всех сразу. Этот голый, кажется Лешка, насмешливый парень; весельчак Владька (такие мальчики всегда окружали Инну). Костлявое, словно вырезанное из дерева лицо Зеленина поднято вверх, глаза зажмурены, и даже без очков он выглядит как очень близорукий человек. Инна отодвинула локтем ворох бумаг — большие листы, исписанные мелким почерком, на полях каравеллы с распущенными парусами, рыцари, какие-то человечки-головастики — и увидела свою фотокарточку в простой полированной рамке. Достала из сумки Сашин портрет, поставила рядом со своим, положила голову на руки и заснула.

Зеленин появился только во втором часу дня. Он вошел, как слепой. Края его малахая и брови были покрыты мохнатым инеем. Волоча ноги в огромных валенках, он подошел к Инне, стащил с головы шапку и пробормотал:
— Здравствуйте, Инна. Простите меня.

Тяжело плюхнулся на койку. Инна вскрикнула, бросилась к нему, принялась стаскивать полушубок, валенки, растирать лицо, ноги, руки. Зеленин слабо стонал. Девушка побежала на кухню, разожгла керосинку, поставила на нее кастрюлю с водой. Когда она вернулась, Зеленин сидел. На лице его кривилась жалкая улыбочка. Инна приблизилась, он слегка отстранился, вытянул руку.

— Еще раз простите. Обстоятельства сложились... Не смог встретить... — Он встал и сказал уже почти нормальным голосом: — Я зашел только поздороваться. С большим придется повозиться. Очень тяжелое состояние.

Инна рассердилась и что-то закричала, нарочито обращаясь к нему на «ты». Зеленин, склонив голову набок, внимательно вслушивался в ее крик и постепенно светлел.

— У тебя же лапы совершенно обморожены! — воскликнула Инна и снова схватила его руки.

Зеленин растекся в блаженной улыбке и прогудел:

— Ничего подобного, не обморожены! Сейчас, я скоро приду, и мы будем пить шампанское.

Он пожал ее руки и зашагал к двери.

К вечеру собрались гости. Пришел Егоров с женой, прикатали на лыжах два парня — Тимофей и волейболист Борис. Егоровы принесли пирог, а ребята — бутылку водки и рюкзак с апельсинами. Стол получился шикарный.

— Прикажете рассматривать этот вечер как генеральную репетицию? — спросил Борис и подмигнул Тимоше.

Тот шепнул ему: «Перестань» — и смущенно взглянул на Инну, словно извиняясь за добродушную колкость друга.

Инна рассеянно улыбнулась, посмотрела на Сашу и встретила его взгляд. Они сидели за столом вместе с четырьмя другими людьми, слушали их разговоры, смеялись шуткам, но им было безразлично, что говорят эти люди. Они сидели на разных концах стола. Это расстояние было огромным, труднопреодолимым, но они чувствовали, что оно будет пройдено, потому им не было никакого дела до того, что происходит вокруг.

Борис включил приемник и нашел «радиомаяк». Стали танцевать под старомодные фокстроты, квик-степы и польки-бабочки.

Зеленин и Инна проводили гостей до почты. Егоров с женой бодро ковылял по обледенелым мосткам. Посередине улицы медленно двигался эскорт лыжников — Борис и Тимоша. Над поселком, как китайский фонарик, висела в оранжевых кольцах луна.

Когда они вернулись домой, Инна убрала со стола и остановилась посередине комнаты. Она была в узком черном платье с большим вырезом. После двенадцати лампы горели вполнакала. Желтые пятна света и тени заострили лицо девушки. Зеленин присел на подоконник, трясущимися пальцами достал сигарету. Они не смотрели друг на друга. Их позы были скованны и неловки. Они молчали, и это молчание, нарастая, превращалось в непреодолимую преграду. Инна прошла к стене и от стены к печке. Несколько раз скрипнула половица. Стал слышен взволнованный бег ходиков.

— Бррр! — Инна натянуто рассмеялась.

— Что? — воскликнул Зеленин и вскочил.

— Зябко.

— Может быть, надо зажечь печь? Я уверен, что у

меня имеется топливо,— пробормотал Саша и бросился в прихожую, где Филимон каждую неделю устанавливал штабель березовых чурок.

«Что со мной? — подумал он.— Я говорю, как идиот. Почему я сказал «зажечь печь» вместо «затопить» и вместо дрова — «топливо?»»

Но Инна даже не улыбнулась его странным словам и светливым движениям. Она воскликнула: «Это идея!» — и бросилась вслед за ним в прихожую. Здесь они столкнулись. В темноте не мудрено столкнуться. Зеленин выронил чурки — одна из них больно ударила его по ноге — и положил руки на почти голые Иннины плечи. Она сразу с какой-то поразившей его готовностью прижалась к нему. Эта мгновенная готовность неприятно кольнула Зеленина, но он тут же понял, что это только для него, для него единственного. Он сразу понял это и знал, что не ошибся.

Он поцеловал ее уже много раз и все еще не выпускал из рук. Наконец Инна сильным движением освободилась, рванула дверь — пучок желтого света полоснул Зеленина по лицу — и исчезла в комнате. Зеленин заметался по тесной каморке, держа себя за голову, натываясь на поленницу, на косяки и причитая: «О счастье, о счастье!» Потом он присел на какой-то мешок, решил покурить и подумать. Он не допускал даже мысли, что снова боится увидеть ее, ту, что целовал минуту назад в темноте.

— Эй, где вы там, сеньор? — раздался из комнаты резкий возглас.

Саша вскочил, нахватал охапку дров и вошел в столовую. Он увидел, что Инна сидит на полу и смотрит в раскрытую печку, не отрывая взгляда от серых холмиков пепла. Она не повернула головы в его сторону, у нее не дрогнул ни один мускул. Это было состояние оцепенения, когда глаза не в силах оторваться от какого-нибудь совершенно незначительного предмета, а тело не в силах двинуться. В таком состоянии люди обычно не думают и не чувствуют, но по изгибу Инниного тела, по ее согнутым плечам было видно, что ей в эту минуту немножко страшно. Зеленин встал на колени за ее спиной, положил чурки на пол и тоже заглянул в печку. Ему показав-

лось, что оттуда несет холодом и вонью, как из беззубой пасти старика. Кажется, позавчера он так же сидел перед печкой и в ней неистово трещали, щелкали и плясали зубы огня. А сейчас ему показалось, что Инна смотрит в печку, словно пытаюсь в ней увидеть свое будущее. Его охватил мгновенный страх, но в двадцати сантиметрах от своего лица он увидел крупные завитки коротко подстриженных Инниных волос, и через мгновение его нос утонул в этих золотистых волнах...

...Будущее будет сверкать как пламя! Будет счастье для двух людей, сидящих в обнимку у печи! Оно уже пришло, окружило, сдавило им грудь, сжало сердце, затуманило мозг — самое высшее счастье любовного опьянения. Может быть, их будут осуждать за то, что они бежали только навстречу своему счастью, не сворачивая в сторону и не выжидая, за то, что они слишком быстро промчали путь, отделяющий их друг от друга? Судите, рассуждайте резонно, вспоминайте «доброе, старое время», когда объявляли помолвки, дарили кольца и ждали, ждали... Двум молодым людям, сидящим у печки, нет никакого дела до ваших рассуждений. Они блуждали, как молекулы в хаосе броуновского движения, столкнулись, узнали друг друга и сразу же протянули друг другу руки.

— Завтра же мы идем в загс! — решительно заявил Саша.

— Глупый! — рассмеялась Инна и погладила его по голове. — Разве это так важно?

— Все равно, завтра мы идем в загс.

— Ого! — Она опять засмеялась и чуть-чуть отодвинулась. — Знаешь, Сашка, ты все-таки очень переменялся.

ДОКТОРША

Инна ходит по магазинам. В поселке три продовольственных магазинчика, называются они среди домохозяек по имени продавщиц: «У Стеши», «У Нины» и «У Полины Ивановны».

— Где вы брали, тетя Маня, эту замечательную рыбу?

— У Нины, дочка.

— Я вам рекомендую зайти к Полине Ивановне: туда подбросили колбасу.

Инна — домашняя хозяйка. Она варит обеды для мужа. Она читает «Книгу о вкусной и здоровой пище». Она обеспечивает Сашку рациональное питание. И он ценит это. На каждую котлету, вышедшую из-под ее рук, он смотрит как на чудо. Он благоговейно поедает борщи. Инна гордится своей продукцией, Инна счастлива.

Инна нагибается, трогает крепления. Потом летит вниз по накатанному склону, наклоня корпус то вправо, то влево, огибает кусты. По сторонам с восторженными воплями несутся ребятишки, падают, катятся кувырком. Инна блестяще финиширует, делая резкий поворот. По тропинке с пилами и топорами на плечах идут лесорубы. Она слышит, как кто-то из них говорит:

— Ай да докторша! Хороша!

Над лесорубами плывут дымки: синие — табачные, белые — дыхание. Сверкает накатанный склон, сверкают покрытые ледком кусты. Кажется, что они мелодично звенят от малейших прикосновений, от еле заметного ветра, от солнечных лучей. Инна счастлива.

...Инна знакомится со сторожем Луконей. Он бродит по льду возле самого берега, носит в руках здоровенный чурбан. Подо льдом, как за стеклом аквариума, ходит рыба, сильно работает хвостом. Луконя расставляет ноги, поднимает чурбан. Рыба идет прямо к нему. Р-раз! Луконя бьет чурбаном лед.

— Ой! — вскрикивает Инна.

Из-под чурбана разбегаются в разные стороны белые извилистые трещинки. Рыба недвижима. Луконя бежит за пешней.

— Во! — говорит он, поднимая над головой блестящую рыбу.

— А это не браконьерство? — спрашивает Инна.

Луконя озадаченно смотрит на нее, хлопает ресницами, прикидывает.

— На, — говорит он и протягивает ей рыбу. — С приветом Митричу.

Понятно, она теперь соучастница. Инна торжественно несет домой рыбу. Как будет хохотать Сашка, когда она ему расскажет! Инна счастлива.

Вот день. В лесу на синем снегу чуть дрожат солнечные пятна. Ели растопырили мохнатые крылья, вот-вот полетят. Инна сегодня особенно счастлива: Зеленин взял ее с собой на вызов. Шесть километров они пройдут по этому лесу, а потом, когда Саша закончит работу, покатаются вместе с гор. Мелькает впереди его синяя куртка, ритмично взмахивают палки. Инне приятно идти по проложенной им лыжне, приятно видеть впереди долговязую фигуру, которая на лыжах, как ни странно, кажется довольно складной. Да, у него очень уверенный вид, когда он идет на лыжах. Вообще он стал гораздо увереннее, чем казался ей тогда, в Комарове. Немного огрубел. Тогда это был юноша, беспредельно напуганный своей смелостью, будто умолявший не судить о нем по первому впечатлению, спотыкающийся, неистово размахивающий руками, когда речь заходила о медицине или о стихах. Но почему-то и тогда казалось, что этот человек уже на что-то решился и не отступит от своего. Может быть, именно эта не совсем понятная нацеленность и привлекла в нем Инну? Ведь ей всегда нравились решительные и даже самоуверенные, веселые и скупые на проявления чувств ребята! Нет, письма свои она адресовала чудаку, мечтателю, человеку с избытком искренности, представителю определенного типа людей, которых раньше она считала рохлями. Но он ни тот и ни другой. Кто же он? А теперь уже поздно разбираться во всем этом. Теперь она бежит по его лыжне.

Задумавшись, Инна сильно отстала. Она увидела, что Зеленин уже вышел из лесу и теперь стоит на голом пригорке, опершись на палки. Сейчас вид у него был действительно мечтательный. Вот за что она будет его любить! За то, что он постоянно меняется, ежеминутно, ежедневно. И остается в то же время самим собой.

— Ах, какая ерунда! — воскликнула она, и это означало: к черту смутный анализ и сомнения, она будет лю-

бить этого человека, каким бы он ни был, каким он ни станет!

Однако нужно захватить лидерство. Это еще что такое? Ведь она же все-таки главная, и потом у нее как-никак второй разряд по лыжам, а у него несчастный третий!

Инна быстрее заработала руками и ногами, вылетела на пригорок и, царапнув Сашку лукавым взглядом, сразу же ухнула вниз. Лыжи понесли ее по твердому насту в ложбину, где курились избушки Журавлиных выселок.

Когда они подъехали к избе, хозяйка вышла на крыльцо.

— Кто у вас болен? — спросил Зеленин, нагибаясь и расстегивая крепления.

Ответа не последовало. Он посмотрел на хозяйку, и ему показалось, что она немного смущена.

— Опять Ванюшка снегу наглотался? Я вас предупреждал, Мария Владимировна, у него очень тревожный хабитус... Или Ниночка?

— Здоровы ребята, — ответила хозяйка уже с явным смущением.

— Сами занедужили?

— Да нет же, Александр Дмитриевич! Да вы проходите.

И, только пропустив его вперед себя в сени, она тихо сказала:

— Мужик мой приболел.

— Муж? — изумился Зеленин. — Позвольте...

Он знал, что эта полная, еще сравнительно молодая женщина — вдова. Его изумление возросло, когда он за цветастым пологом увидел Ибрагима Еналеева.

Тот лежал с закрытыми глазами, с гримасой боли на лице. Почувствовав, что на него смотрят, он вздрогнул, сел на кровати, увидел Зеленина и закричал на женщину:

— Вызвала все-таки? Почему не слушаешь, почему?

— Что с вами, Ибрагим? — спросил Зеленин.

— Животом он мучается, Александр Дмитриевич, — сказала Мария Владимировна, — а сегодня так схватило, прямо на крик.

Зеленин присел на кровать, расспросил Ибрагима, осмотрел его. После осмотра предложил лечь в больницу. Тот посмотрел на Марию Владимировну, потом снова на Зеленина.

— Живот резать будешь?

— Нет.

— Ну ладно, лягу в больницу.

В задумчивости Зеленин вышел из дома. «Похоже на язву,— думал он.— Нужно будет посадить его на диету. А выдержит ли он?» Еще больше, чем симптомы болезни, Зеленина занимала судьба Ибрагима. Тогда, во время осмотра симулянтов из третьего барака, он понял, что вспышка Еналеева была искренней. А это было для Александра пробой человека. Потом как-то Тимоша сказал, что Ибрагим стал неплохо работать и вроде понемногу отходит от Федькиной компании. И вот теперь, оказывается, он женился, да еще на женщине, которую все категорически считали «самостоятельной». Такая не пойдет за трепача.

Зеленин сощурился на солнце и приложил ладонь к глазам. Он увидел, что Инна «лесенкой» лезет вверх по склону.

Они катались вместе до темноты и вернулись домой, еле волоча ноги.

Инна и Александр сидят с ногами на тахте. В комнате светятся только шкала приемника и сигарета Зеленина.

Инна положила голову на плечо мужа. Они сидят обнявшись и ждут. Напряженное ожидание большого зала прилетело к ним сюда по радиоволнам из Москвы.

И чудо свершается. Кажется, что кто-то нервный, прекрасный подсел к ним, положил им на плечи большие руки и смотрит в упор огромными, вбирающими весь мир, сводящими с ума глазами. Звучит роаль,

Удар, другой, пассаж, и сразу
В шаров молочный ореол
Шопена траурная фраза
Вплывает, как большой орел,—

вспоминает Саша.

— Да-да,— шепчет Инна.

И больше не нужно слов. Нужно молчать, но Сашка лепечет:

— Боже мой, какое счастье быть хотя бы причастным к искусству! Хотя бы таскать рояль!

— Помолчи! — обрывает она.

Тот, кто пришел сюда, встает, ходит по темной комнате, смотрит в окна, разводит руками в немом вопросе, потрясает кулаками в гневе, сжимает руки у себя на груди, словно задыхаясь от счастья, и наконец, сделав торжественный прощальный жест, исчезает.

Через минуту Инна говорит:

— Понимаешь, Сашка, я играю...

Он понимает сразу, что она играет по-настоящему. Раз она осмелилась сказать это сейчас, значит, по-настоящему.

— Как бы я хотел послушать тебя!

БЕЗ УЛЫБКИ

Ибрагим гулял по березовой роще, поджидая жену. Он признавался себе, что все еще смущается этих новых, неведомых для прежнего Ибрагима отношений с женщиной, стыдится перед людьми. Поэтому он и поджидал ее всегда в березовой рощице возле больницы. Он топтался взад-вперед по тропинке и волновался, вспоминал, как много лет назад, в другой жизни, восемнадцатилетний юноша бродил по набережной в Баку и испытывал точно такое же волнение.

Неожиданно он увидел мужскую фигуру, приближающуюся к нему знакомой развалистой походкой. Это был Федор Бугров.

— Здорово, Ибрагим! — радостно заорал он и хлопнул его по плечу.

— Здравствуй, раз не шутишь, — осторожно ответил Ибрагим.

— Ну, как ты тут кантуешься?

— Оклемался маленько.

Федька подтолкнул его к скамейке, рукавицей смахнул снег, вытащил из кармана поллитровку, развернул газету, в которую были завернуты кусок сыра и соленые огурцы.

— За поправку, что ли, Ибрагим? Тяни!

Ибрагим отстранился:

— Н-ни, диет соблюдаю, Федька.

— Чего-о?

— Диет. Ничего кушать нельзя: барашка нельзя, селедку нельзя, водку нельзя, ничего нельзя. Доктор запретил.

Федька перекосячился:

— Слушай ты лепилу этого лопухого!

— Ничего нельзя,— повторил Ибрагим и приосанился,— язва двенадцатиперстной кишки у меня.

— Во-он как!— с насмешливой неприязнью протянул Федька.— Ну, как знаешь, будь здоров!

Он запрокинул голову. Заклокотала водочка. Сладостно хрустнул перекушенный пополам огурец. Ибрагим глотнул мучительную слюну и вырвал из Федькиных рук бутылку. Через пять минут они сидели обнявшись на скамейке и голосили мало кому известную песню «В кошмарном темном лесу». Ибрагим действительно опьянел, а Федька только притворялся, вторил песне и хитро блестел глазами. Неожиданно они услышали голоса и смех. По тропинке со стороны озера шла парочка с лыжами на плечах. Спустя минуту они узнали доктора с женой. Инна что-то весело тараторила, а Зеленин хватался за живот, хохотал и задышался. Он прошел бы мимо Ибрагима и Федьки, не заметив, если бы Инна не подтолкнула его. Тогда он остановился, протер очки и уставился на Ибрагима, который сидел не двигаясь.

— Та-ак, час коктейлей? — протянул Зеленин и воскликнул: — Как вам не стыдно, Ибрагим! Водка и соленые огурцы! Неплохая диета для язвенника! Я очень огорчен, но придется вас выписать за нарушение режима. А вас,— обратился он к Федьке,— я попрошу больше не появляться на территории больницы.— Он сказал это, как будто не было между ним и Федькой каких-то особых отношений, и Бугров промолчал, не трогаясь с места.

— Ух ты, какой строгий доктор! — засмеялась Инна, когда они отошли на несколько шагов.— Неужели ты его действительно выпишешь?

— Инна,— тихо проговорил Зеленин,— этот человек, тот, что был с Ибрагимом, мой страшный враг.

Что-то было в его голосе, отчего Инна сразу посерьезнела.

— Кто он, Саша?

— Он бандит.

— Что у тебя общего с ним?

— Не хотел я тебе об этом говорить...

Инна остановилась, схватила Александра за шарф и сказала взволнованно:

— Я должна знать все.

— Ну хорошо. Ты ведь уже знаешь Дашу Гурьянову? Федька в нее влюблен и вообразил, понимаешь ли, что я тоже... Стой, если уж говорить, то все.

— Ты действительно был в нее влюблен? — небрежным тоном спросила Инна.

— Нет, но одно время казалось, что между нами что-то возникло. Ты знаешь, человеку иногда трудно разобраться в своих чувствах и наклеить на них ярлыки: любовь, дружба, ненависть и так далее. Так вот и мне на какое-то короткое время показалось, что я испытываю к Даше не просто дружеское, теплое чувство.

— Это когда ты в письмах стал описывать природу? — перебила его она.

— Да, примерно тогда.

— В последних письмах?

— Да. Пойми, ведь ты была так далеко! В сущности говоря, я тебя совсем не знал...— заскулил Зеленин, думая о том, рассказать ли про сцену в домике лесника. Нет, сейчас его на это не хватит. Расскажет после. Может быть, через год.

— Перестань! — оборвала его Инна.— Что я, дура?

— Ну вот,— продолжал Зеленин.— Федька возненавидел меня, во-первых, за это мнимое соперничество, во-вторых, за то, что я выявил его как симулянта, в-третьих, за то, что я однажды его ударил. А сейчас он ненавидит меня уже за все: за то, что я врач, за то, что ношу очки, за то, что народ меня тут полюбил.

— Тебе не страшно, Саша?

— Было страшно, а сейчас мне почему-то кажется,

что Федька сам меня боится. Может быть, это слишком самонадеянно.

Они сбились с тропинки и молча прошли несколько шагов до крыльца, с трудом вытаскивая ноги из снега.

— Во всяком случае, я не отступлю перед ним ни на шаг! — пылко воскликнул Зеленин и посмотрел на Инну, ожидая увидеть улыбку. Но не увидел.

...Когда Зеленин и Инна скрылись из виду, Ибрагим вскочил и шепотом начал ругаться по-азербайджански.

— Чего всполошился-то? — процедил Федька.

Он сидел нахохлившись, громоздкий, бесформенный и мрачный. И что-то было в нем прибитое. Исчез ловкий молодой парень. То ли своей позой, то ли чем-то иным Федька сейчас почему-то напомнил Ибрагиму соседа по нарам, старого «домушника» Сучка, от которого всегда несло каким-то противным жиром.

— Как чего? — горестно воскликнул Ибрагим. — Пропал мой диет, ай, пропал диет совсем! Скорей бы жена приходил! Доктора просить будем. А ты, Федор, пожалуйста, не ходи сюда. Ну тебя к черту, понимаешь!

— Эх ты, хорек вонючий! — со злостью проговорил Федька, харкнул под ноги Ибрагиму и пошел прочь.

Он шел по пустынной улице, смотрел на теплые огоньки под нависшими белыми кровлями и впервые в жизни чувствовал себя одиноким и несчастным. Впервые он захотел куда-то побежать, уткнуться в чьи-то колени и навзрыд расплакаться. Он приехал сюда, на стройку, с двумя целями: для того, чтобы окрутить давнишнюю свою зазнобу и сколотить теплую компанию для настоящей работы в Питере. Дашка его видеть не желает. Парни все чистягами стали, даже те, кто рад был хлебнуть за его счет, отворачиваются сейчас вроде бы с насмешкой. Щипачи, мелкое племя! В передовики лезут, на красную доску. Хавальники откроют и слушают, как им лепила лекцию травит. А главное то, что сам Федор не чувствует себя таким, как прежде. Что-то сломалось в нем. Надо же, лепилу стал бояться! Посчитать ему не может за ту историю в клубе. Чего проще, развернуться да вклеить ему по рубильнику — стекла вдрызг! Или пером пощекотать! Так нет же, дрожь его разбирает, страх. А мысли ночные, сумасшедшие покоя не дают, плакать

хочется по ночам, вроде как сейчас. Будто шепчет кто: «Лопух ты, Федор, жизнь-то бортом мимо тебя идет! Останешься один, как сыч». Хочется сжаться, спрятаться в какой-то темный закуток и лежать там, пока не вытащит на свет добрая и большая рука.

Слабый шум долетел в поселок со Стеклянного мыса. Федор Бугров ссутулившись шел по промерзшим мосткам. Он боялся поднять голову и взглянуть вверх, туда, где плавала безжалостная луна.

Придя к себе в нетопленную пустую избу, он выругался, достал почерневшую от копоти консервную банку, высыпал в нее две пачки чая и заварил чефир. Чефир всегда помогал ему даже больше, чем водка. Тело наливалось силой, сердце сжималось от восторга и ярости, хотелось драться. Пусть попадется ему сейчас кто-нибудь под руку, ого! Федор ходил из угла в угол, рычал, пел, сжимал кулаки.

Неделю назад ему исполнилось двадцать три года.

...Ибрагим говорит Инне:

— Инночка, скажи, пожалуйста, доктору спасибо. Больше водку пить не будем, диет соблюдать будем, лечиться будем. Человек я семейный, ребятишки на руках. Жить будем!

НОКТЮРН ШОПЕНА

В воскресенье Зеленин потащил Инну в клуб.

— Сашка, иди один,— взмолилась она.— Я лучше почитаю — сегодня принесли свежий номер «Нового мира». Ей-богу, мне эти клубы в Москве надоели! Сегодня хочу только тихой, сельской жизни — пеньюар, лампада и вольнодумный роман. Хочу быть Татьяной.

— Поздно,— сказал Зеленин,— ты уж другому отда-на и будешь век ему верна, а он закружит тебя сегодня в вихре светских развлечений.

— А что там за действо сегодня?

— Сначала будет лекция об умении красиво одеваться... Что с тобой?

Инна содрогнулась от беззвучного смеха.

— Сашенька, милый, все-таки, может быть, мне не ходить? Вдруг мне станет дурно?

Зеленин обиженно шмыгнул носом.

— Напрасно смеешься! Лекция интересная, чехословацкие моды через проектор будем показывать.

По дороге в клуб он не умолкал ни на минуту:

— Понимаешь ли, Инка, просто обидно за людей. У большинства есть врожденный вкус, чувство гармонии. Посмотришь на них на работе — все так ладно пригнано: спецовки, косыночки, даже телогрейки. А в выходной день, подчиняясь какой-то несусветной моде, напыжатся и выходят такими чудовищами. Сапоги гармошкой, пальто колом и обязательно белый шелковый шарфик чуть ли не до земли. А у девушек платья со средневековыми оборочками, шляпища, черт знает, вроде пропеллера... Обидно. Вот мы и решили вести войну за хороший вкус.

— Кто это «мы»?

— Правление клуба.

— А ты тоже в правлении?

— А как же! Инна, посмотри-ка. Вот и этому мы объявили войну.

Он показал на окно одного дома, где за откинутой занавеской красовалась глиняная собачка с умильной и страшноватой мордочкой, расписанной белой, красной и синей красками.

В клубе было тесно, шумно и весело. Зеленина хлопали по плечу, пожимали ему руку, кричали: «Саша, привет!», «Здравствуйте, Александр Дмитриевич!» Подошли Борис и Тимоша.

— А свадьбу-то вы зажали, дети,— сурово сказал Борис.

— Ничего подобного,— сказала Инна,— свадьба будет одновременно с моими проводами.

Борис весело подмигнул Тимоше:

— Все сэкономить хотят. Учись, Тимка!

— А чего ж, люди семейные! — пробасил Тимофей.

Зеленин усадил жену в первом ряду и сказал, что ему сейчас нужно развить бурную деятельность за кулисами, Инна поинтересовалась, не дирижирует ли он танцами в клубе.

— Бутоньерку в петлицу, прямой пробор. Кавалеры, приглашайте дам! Первый тур! Какая прелесть, это тебе подойдет!

Зеленин нервно хихикнул и скрылся. Кто-то приоткрыл занавес, и Инна на долю секунды увидела мужа, оживленно беседующего с Дашей Гурьяновой, которая в широченном платье до пола и кокошнике была похожа на матрешку. Прыгнуло сердце, шевельнулось в душе что-то нехорошее, и Инна подумала: «Щеки у нее слишком уж румяные, мажет, конечно». Но тут же она мысленно посмеялась над собой, вздохнула: «Ох, какая ерунда!» — стала смотреть на сцену.

Лекцию слушали с вежливым интересом, но, когда началась демонстрация фотографий через проектор, в зале послышались смешки.

— В жисть не надену я такой недомерок! — категорически заявил сидящий за спиной Инны бородатый мужчина, разглядывая появившегося на экране юношу в коротком, до колен, пальто.

— Общая тенденция, — бесстрастно вещала со сцены лектор-учительница, — состоит в отказе от кричащих красок и в переходе к простым и удобным формам одежды.

— Не понимаешь ты, Тихон, тенденции! — с досадой прошептала женщина, видимо жена бородача.

Инна украдкой оглянулась и увидела ее серьезные, внимательные глаза.

После лекции начался концерт. Зеленин то и дело появлялся на сцене, участвовал в конференсе, прилепив бородку, играл в скетче роль профессора, отца беспутного сына, сольным номером читал стихи. Фигура его казалась непомерно длинной на маленькой сцене и была смешной сама по себе, но зрители, к удивлению Инны, смеялись, когда надо было смеяться, и замолкали, когда надо было молчать. Инна вдруг почувствовала гордость за своего мужа. Она только недавно узнала, что театр — тайная страсть Саши. Он рассказал ей, что с первого курса почему-то возомнил себя актером, стал шляться по театрам, был статистом, таскал декорации и даже одно время собирался бросить медицинский и поступить в театральный институт. Инна улыбнулась и

подумала, что ее гордость вызвана отнюдь не актерскими удачами Зеленина.

Зеленин читал стихи, Тимофей играл на баяне задумчивые вальсы, Даша пела частушки, Борис с какой-то тоненькой девочкой, о которой сзади сказали, что она бертонщица, показывали акробатический этюд. Вдруг Зеленин подошел к краю эстрады и громко сказал:

— Следующий номер — ноктюрн Шопена...

«Ого!» — подумала Инна.

— ...Исполняет Инна Зеленина.

Она не сразу сообразила, о ком это он говорит, а когда поняла, ахнула, и сердце у нее задрожало. Секунду спустя она страшно разозлилась на Сашку, топнула ногой, отвернулась, но зал так дружелюбно заголосил, что пришлось встать. Она не помнила, как поднялась на сцену, как села к инструменту. На мгновение мелькнула виноватая улыбочка Зеленина, и Инна сказала шепотом:

— Я тебе этого никогда не прощу.

Потом она видела только клавиши. Затем исчезли и клавиши, и она стала видеть то, чего не видел никто другой. Вокруг ожила страна, о которой знала только она одна. Инна совершенно забыла о том, что на нее смотрят две сотни чужих глаз, и совсем не видела высокого, худого человека в черном костюме, который стоял в толпе, побледнев от волнения и сжав кулаки. Очнувшись она от плеска аплодисментов, неловко раскланялась и убежала за кулисы. Зеленин через всю сцену прошагал вслед.

— Ты сердисься? — пролепетал он. — Пойми, Инночка...

— Отстань! — сказала она и села на стул спиной к нему.

Саша обошел вокруг и сел на пол напротив.

— Прости меня! — умоляюще сказал он. — Я очень хотел тебя послушать, а другого случая уж не представилось бы. И потом... — он помолчал и кивнул в сторону зала, — разве они не достойны Шопена?

— Иди сюда, — хрипло сказала Инна. Когда он подошел, она больно дернула его за ухо и рассмеялась.

— Я люблю тебя сейчас в сто раз больше! — воскликнул счастливый Зеленин.

Проводы... Как могут люди переносить такое? Как можно за пять минут до разлуки рассказывать анекдот и смеяться? Почему люди стали бояться слез? Ведь легче плакать, чем смеяться во время проводов. Проводы — это бесчеловечно. Фонарь мурманского экспресса налетает из сумерек и рвет любовь пополам. Тебе и мне по половинке монеты на память. Последние секунды, когда наконец перестают балагурить, — это самое страшное. Тут надо держаться вовсю.

— Смотри, обязательно зайди к моим старикам!

— Обязательно! Я дам телеграмму уже из Москвы.

— Хорошо, Инна. Крепись, родная! Скоро мы!..

— Скоро?

— Время идет быстро.

— Это сейчас. Прощай!

Все. В проход свисают ноги в шерстяных носках и капроновых чулочках.

«Козыри — пики». Храп и чавканье. И мутную, застилающую весь белый свет тоску уже начинают прорывать другие слова: «Что? Постель? Да-да, обязательно. Мельче у меня нет. Дайте мне по две десятки, а я вам пятерку. Чай? Пожалуйста, один стаканчик».

За окном мрак. Кажется, что поезд грохочет и трясется на одном месте, но редкие огоньки появляются в ночи и стремительно улетают назад, как искры из паровозной трубы, как последние слова привета.

ГЛАВА X

В МАРТЕ РЕШАЮТ

На комсомольском собрании Медико-санитарного управления обсуждалось персональное дело врача-комсомольца Столбова. В маленьком зале, набитом до отказа, сидели медицинские сестры, лаборантки, шоферы, дезинфекторы и молодые врачи. Только что кончил говорить сам Столбов, обвиняемый в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. Стояло молчание; зал еще не мог оправиться от общего чувства

брезгливой жалости. Этот огромный парень вел себя сейчас, как несовершеннолетний карманник: то юлил, то плакался, произносил фразы о чуткости, то вдруг, словно под действием каких-то стихийных сил, наглед и начинал вызывающе хохотать и орать. Когда же он не нашел больше слов и сел, вид у него был измученный, затравленный, а взгляд даже немного человеческий. Во всяком случае, на него было тяжело смотреть. Особенно неприятно было Алексею и Владьке. Они-то его знали больше всех: ведь Столбов шесть лет был их товарищем по институту, а для остальных Петя Столбов был просто взяточником.

— Кто-нибудь будет еще говорить? — наконец слышалось из президиума.

Встал представитель партийного бюро доктор Дампфер. По привычке он прикрыл глаза, и его лицо стало похожим на маску аскета.

— Товарищи, — начал он, — вы разбирали сейчас дело комсомольца Столбова с пристрастием и принципиальностью. Вы выясняли детали, но не подумали, что не это главное. Детали — это дело ОБХСС. Важно другое: как дошел до такой жизни комсомолец, молодой специалист? Что же, он вдруг сразу испортился в нашем учреждении? Здесь присутствуют молодые врачи, товарищи Столбова по учебе в вузе. Вероятно, они сейчас вспоминают его поведение и пытаются подвести базу под этот чудовищный поступок. Не знаю, что они вспоминают, но вот я смотрел бумаги Столбова, различные его характеристики, и передо мной предстал образ идеального героя современности: «Скромнен, инициативен, чуток, политически грамотен». В комсомоле он со второго курса института. Хотелось бы мне побывать на заседании комитета, где его принимали в организацию, услышать, о чем с ним говорили, какие вопросы ему задавали.

В зале кашлянул Карпов.

— Что? — сторожко приставил ладонь к уху Дампфер.

— Ничего, — смущенно пробурчал Владька, — погоняли по уставу — и все.

— Вот! — обрадованно воскликнул Дампфер и под-

нял палец вверх.— Вот, товарищи, что получается! Стоило человеку вызубрить устав, как перед ним открылись двери в организацию Коммунистического союза молодежи. И никого не заинтересовали тогда его подлинные чувства и мысли, его сокровенные взгляды на жизнь. Я не хочу навязывать вам решения сейчас. Я хочу призвать вас к искренности в ваших комсомольских делах.

Дампфер сел было, но сразу же встал снова и отыскивал взглядом Максимова.

— Я хочу сказать несколько слов еще об одном комсомольце.

Максимов оцепенел и сжал кулаки.

— О враче Алексее Максимове. Партийная организация знает, что он в связи с этим делом подвергался шантажу и угрозам. И то, что он, именно он, а не кто другой, не побоялся этих угроз и выполнил свой комсомольский долг, меня глубоко, по-человечески обрадовало.

Глаза Дампфера вдруг засветились. На какую-то секунду он застыл в этом необычном для себя состоянии, и Максимов подумал: «Сашка будет таким к старости». Потом Дампфер прикрыл глаза и загасил свет. Алексей усмехнулся и шепнул Владьке:

— Воображает старичина, что на меня его проповедь подействовала!

Карпов ничего не ответил и протянул ему какую-то бумажку. Это была записка от Вали, секретаря начальника.

«Мальчики, вас обоих вызывают к пяти часам в отдел кадров. Будут решать вопрос».

...Почему это именно в марте люди любят решать вопросы? Воздух, что ли, на них действует, запах весны? В марте вздыхают и теребят листочки календаря. В марте готовятся к путине и штурмуют первый квартал. В марте подводят итоги и ждут перемен. В марте решают вопросы.

— Ну что ж, товарищ Максимов, даем вам «добро». Что скажете?

— Добро.

— Главный врач говорила, что вы хотите плавать на...

— Да, на теплоходе «Новатор», если можно.

— Понятно, это ведь наш подопечный. Трофимов, глянь-ка, где у нас сейчас «Новатор».

— «Новатор»... «Новатор»... Так. Вот он. Снялся с Калькутты на Владивосток. Встанет там на малый ремонт.

— Ну, товарищ Максимов, оформляйтесь, получайте подъемные — и счастливого плавания!

— Благодарю вас. До свидания.

Спускаясь по лестнице, Максимов вдруг закричал: «Иго-го!» — и сиганул вниз на площадку через пять ступенек. Кто-то шарахнулся в сторону, кто-то покрутил пальцем у виска, но Алексей, уже окончательно забыв о своем «холодном спокойствии», мчался к выходу, подмываемый желанием перейти на галоп.

На крыльце здания пароходства на него, гикая, налетел Владька.

Оказалось, что Карпов должен сесть на судно в Мурманске.

На Север поедет один из вас,
На Дальний Восток другой,—

пропел Владька и смущенно посмотрел на друга.

И Максимов, взглянув на него, неожиданно почувствовал боль. Курение вредит здоровью, это верно, но зато как часто мужчин выручают сигареты. Спички, правда, гаснут безбожно.

— Как ты думаешь, дадут нам перед отъездом по недельке за свой счет?

— К Сашке слетаем, верно? — восклицает Карпов.

СНОВА ВМЕСТЕ

Максимов топтался возле вагона, поглядывая на часы и в толпу. Наконец в конце перрона замаячила знакомая атлетическая фигура с лыжами на плече. Владька весело шагал, напевая студенческий гимн.

Рюкзаки и лыжи свалили на третью полку, поезд тронулся. Максимов вышел в тамбур.

Открыл дверь вагона. Клубы морозного воздуха ворвались в тамбур, окутали его с головы до ног и словно на какое-то мгновение приподняли вверх. Как странно все изменяет скорость! Вот мелькает, уносится назад тонкий ряд осин и березок, а за ними висит солнце, как

багровый глаз генерала, принимающего парад. Чуть переведешь взгляд — и уже осины и березки стоят на месте, а солнце, не отставая от поезда, стремительно рвется сквозь частокол, как свирепый раненый зверь. Поворот головы — в стекле открытой двери весь этот сполох красок: красной, белой, голубой, зеленой, оранжевой, — вся эта взбесившаяся палитра несется куда-то в сторону, влево. На миг кажется, что пространство расходится надвое, как разрываемый платок, а в середине остаешься только ты, неподвижный, грохочущий человек. Но все это только миг. Человек устроен замечательно: в любую минуту он может увидеть предметы такими, какие они есть. Солнце — это не глаз и не зверь, а звезда средней величины. Земля вращается вокруг солнца и вокруг своей оси. Березы и осины стоят на месте, а эти краски, летящие в сторону, — это отражение зимнего заката, нечеткое потому, что стекло покрыто льдом и копотью. Вот поезд действительно перемещается в пространстве со средней скоростью пятьдесят километров в час, а среди четырехсот его пассажиров имеется субъект, размышляющий в этот момент: счастлив ли он или несчастлив?

Алексей никогда не был счастлив полностью. Все ему чего-то доставало. Скоро он полетит во Владивосток, потом увидит море, тропики, будет работать (в соответствии с вашими заветами, дорогой отец и учитель Дампфер), писать стихи, заниматься фотографией, мечтать о встречах. Счастье? Да, но Вера... А если бы с Верой все было хорошо, был бы он тогда счастлив? Вряд ли. Нашлось бы еще что-нибудь. Человек не может быть полностью счастлив, потому что он должен идти вперед.

Максимов выбросил сигарету, захлопнул дверь, секунду постоял в красноватом сумраке тамбура и прошел в вагон. Он увидел, что возле их мест толпится народ. Слышался рокот гитары. Карпов пел «Парня с Петроградской стороны». Рядом с ним сидела проводница, толстая девушка с льяными волосами и голубыми глазами.

— Макс! — крикнул Владька. — Обрати внимание на это дитя фиордов. Поморка! Северная девушка! Сольвейг, а?

— Ой, да ну вас! — Девушка вспыхнула и убежала. ...На полустанке не было платформы, и ребята, навьюченные рюкзаками, с лыжами в руках, стали прыгать вниз, как десантники из самолета. Из вагона им махали и кричали новые приятели — шахтеры из Донбасса, завербованные на Шпицберген. Тут же стояла с желтым флажком проводница. С грустью она смотрела, как выпрыгивают, даже не обернувшись, веселые попутчики. Вот так всегда.

Поезд пролязгал, простучал, сунул голову в лес, вскрикнул на прощание, вильнул хвостом и исчез. Мела пороша. Друзья огляделись по сторонам. Близ бревенчатого станционного здания сгрудились десятка три избушек, над трубами которых трепались сизые клочья дыма. Горизонт был зубчатым: вокруг во всем великолепии стоял хвойный лес. Накатанная колея пряталась в нем.

Друзья надвинули шапки, положили лыжи на плечи и пошли к станции, скользя в своих тяжелых ботинках. С грохотом они ввалились в буфет и разбудили продавца, дремавшего за прилавком. Из-под халата у него выглядывала засаленная телогрейка, в недельной щетине слабо мерцали глазки. Буфет был засижен мухами. За стеклом стояло несколько бутылок шампанского, валялось две-три банки консервов.

— Откуда и куда, люди хорошие? — подозрительно мигнул буфетчик.

— Мы, дед, с Частой Пилы, — ответил Максимов.

— А-а... Ну, как там?

— Чего?

— С промтоварами как там у вас?

— Блеск! Вот что, дед, вскипяти-ка нам чайку и отвесь полкило колбаски. Автобус на Круглогорье когда будет?

Буфетчик объяснил, что автобус будет не раньше чем через час, постоит здесь с полчаса и потом только тронется в обратный путь.

— Шасейка у нас никудышная. А в Круглогорье, граждане, хорошо. И масло вам и сахар! Все через нас и мимо нас к ним идет. Строительство там.

Ребята решили идти на лыжах вдоль «шасейки» до тех пор, пока их не нагонит автобус.

...Они шли уже больше трех часов, а лесу все не было конца. Торжественно нависали над лыжной ветви елей. Ели, ели... Могущественное племя в богатых зеленых шубах с белыми выпушками, а среди них, как бедные родственники, зябкие осинки и березки. Временами в лесу попадались впадины, на дне которых угадывались замерзшие ручьи. Тогда лидер Владька Карпов усиливал темп, отклонялся в сторону и начинал крутить слалом.

Алексей, который ходил на лыжах гораздо хуже Карпова, уже порядком устал от бега, от тишины и заскучал от безлюдья, когда на фоне сплошной хвои мелькнула красно-желтая табличка автобусной остановки — визитная карточка прогресса.

— Все! — сказал Максимов и воткнул палки в снег. — Пусть занесут меня метели. «А жене скажи слова прощальные». — С добрым чувством он облокотился о столб. Столб был срублен, обтесан и врыт в землю людьми. Они, наверное, галдели и дымили махоркой, когда продавливали это.

— Притомился, витязь? — спросил Карпов. — Ну ладно, поищем жилья. Раз тут остановка, должно быть и жилье.

— Чую запах! — по-сусанински завопил Максимов и добавил деловито: — Дымком потягивает. Щами.

— Селедочкой! — простонал Карпов.

— Перцовкой! — гаркнул Максимов.

— А может, тут резиденция этого... знаешь, с рогами, с хвостиком?

— Душу заложу! — рявкнул Алексей.

Из-за поворота дороги показался грузовик с крытым кузовом. Он шел медленно, погружался в ухабы и выныривал из них, как катер в тяжелых волнах. Ребята замахали перчатками и палками. Поравнявшись с ними, водитель открыл дверцу и молча устался.

— Вы не в Круглогорье? — спросил Максимов.

— На Стекланный я. — По лицу водителя было видно, что в нем борется любопытство с мужской суровостью. — А чего? Залазьте, подброшу.

Он вылез из кабины, потоптался в снегу и потом, когда ребята уже взгромоздились в кузов, равнодушно спросил:

— Агитпробег, что ли?

— Нет, мы врачи.

— Ага,— сказал шофер так, как будто теперь для него все стало ясно, как будто он привык видеть врачей, передвигающихся попарно в лесу на лыжах.

Грузовик начал карабкаться по ухабам довольно резко. Ребята катались на каких-то мешках и стонали от смеха. Вдруг машина покатила ровно. Карпов подполз к заднему борту и увидел внизу огромный карьер, желтые отвалы песка, копошащихся людей, грузовики, бульдозеры...

Машина мчалась с бешеной скоростью и через полтора часа въехала в поселок. Остановилась. Появилось розовое лицо водителя с сигаретой в зубах.

— Станция «Вылезай»,— сказал он.— Вам к Саше?

— Что?

— Ну, к доктору нашему, что ли, в больницу?

— Вы его знаете?

— Кто его не знает!

Ребята попрыгали вниз.

— Тут близко. Советую по льду срезать. В березовой роще больница.

Максимов протянул ему четвертную. Водитель покоился на деньги, выбросил окурок и зашагал к машине.

— Эх, медицина!— протянул он разочарованно.

Алексей хмыкнул, покрутил ассигнацию и почему-то сунул ее в карман Владыкиной куртки.

Над Круглогорьем небо было чистым. Лишь маленькие, узкие тучки, как лодки, стремительно мчались по нему, словно пытаясь догнать сдвинутую к северу тяжелую армаду. Крепкий ветер шумел в проводах, клонил ели и веселил людей. Солнце висело за старенькой церковкой, делая ее загадочной. Косые лучи освещали крутобокий холм-погост, на котором крестики были словно вырезаны из фольги, словно дрожали на ветру.

Ребята пошли по мосткам, с интересом поглядывая по сторонам и вызывая любопытство редких прохожих. На них оборачивались, шептались, а когда они скатились на лед озера, к обрыву набежала кучка ребятешек.

...В этот час Зеленин выехал на лыжах на лед. Эти одинокие прогулки стали для него системой, но каж-

дый раз, скатываясь с берега, он испытывал острую тоску. Прошло уже больше месяца после отъезда Инны, а он все еще не мог примириться со своим одиночеством. Теперь все: квартира, книги, клуб, лыжи — напоминало ему о жене, словно он прожил с ней большую жизнь. Работал он это время как-то механически, с друзьями встречался редко и больше старался остаться один, для того чтобы вспомнить еще какое-то слово, какой-то жест, какой-то взгляд. Опять пошли письма и телефонные разговоры, эти жалкие суррогаты близости. Он похудел, непрерывно курил, подолгу сидел в тишине, мечтал, вспоминал.

Вот и сейчас, скользя по накатанной лыжне, он смотрел себе под ноги, а видел желтые Иннины лыжи с черной каймой. Он снял шапку и подставил лицо ветру.

Двое людей с лыжами на плечах двигались по льду берега. Зеленин стоял в тени, а эти двое шли по кромке золотого сияния и отбрасывали длинные тени. Это молодые люди: они идут легко. Это веселые люди: один хлопнул другого по спине, тот на мгновение присел, будто корчась от смеха. Это не местные люди: слишком «мастерский» у них вид (узкие брюки, кепки с длинными козырьками, канадки). Это... Зеленин испустил вопль, подбросил высоко вверх малахай, не поймал его и помчался вперед.

...Карпов встал, поправил воображаемый галстук, одернул воображаемый фрак, щелчком сбил с плеча пылинку и произнес спич:

— Дорогие сэры! Ты, высокочтимый наш хозяин Александро Круглогорский, и ты, Алеша Попович, солнце Частой Пилы и гроза амбарных вредителей, и я, ваш скромный слуга, благороднейший из благородных, храбрейший из храбрых, именуемый в народе Владиславом Безупречным! Заткнись, Леха! Сейчас я предлагаю вам проявить самопожертвование и героизм и отвлечь свои алчные взоры от этого исторического стола, заваленного окороками, омарами и кильками, заставленного бургундским и кахетинским. Я предлагаю вам, сэры, устремить свои взгляды в прошлое, а равно и в будущее, дабы... Дашь ты договорить, плебей, или нет?

— Заткни фонтан! — угрожающе проворчал Максимов.

— Ребята, выпьем за дружбу, — тихо сказал Зеленин и встал.

— Виват! — закричали все разом, и каждый подумал, как хорошо, что Сашка пришел на выручку и без дымовой завесы шутовства сказал то, о чем думал каждый.

...Зеленин тихо рассказывал Максиму о своей жизни. Карпов вышел на улицу «прохладиться».

— ...Ты был прав в одном, Лешка, — говорил Александр, — нужно жить в полную силу, выжимать максимальное число оборотов. Но главное в том, куда направить свою энергию. Не скажу, что для меня уже все ясно, но я понял, что всегда буду жить среди людей и для людей. Эти месяцы были для меня вроде эксперимента. Ты смеешься?

— Нет, — ответил Алексей.

— Понимаешь, я грущу сейчас, тоскую по Инне, но временами вздрагиваю, как в ознобе, от ощущения счастья. Не могу объяснить тебе. Тебе это особенно трудно объяснить. Ты, наверное, снова начнешь издеваться над шелухой высоких слов. А другими словами я не могу этого передать.

— Напрасно ты думаешь, что я буду смеяться. Я тоже экспериментировал все это время, но по-другому. И теперь, кажется, начинаю с опозданием на десять лет усваивать азбучные истины. Цинизм — удобный щит, Сашка, от него трудно отказаться. Но, видимо, у каждого наступает такое время, когда он понимает, что нельзя оставаться небокопителем. А ты счастлив оттого, что вошел, как болт, в эту хитрую машинку — жизнь. Правильно я понял?

— Да! — воскликнул Саша. Он был радостно поражен словами друга. Кажется, Лешка набил-таки себе шишек, блуждая. — Как я счастлив, Алексей, что ты все понял!

— Перестань! — резко оборвал его Максимов. — Я не понял еще всего и вряд ли пойму. Временами меня охватывает жалкая паника.

— Это у всех бывает, — глухо ответил Зеленин, — но ведь у нас же есть, понимаешь ли, мужество!

— Зачем нам это мужество? Зачем нам все наши замечательные качества? Есть у Франса в «Восстании ангелов» такое... Кто-то зажигает спичку, смотрит на огонек и думает: может быть, в пламени этом миллионы галактик, несметное число звезд и планет, где расцветают и гибнут цивилизации, где проходят миллионы лет? Через секунду спичка гаснет, и в этих мирах разражается космическая катастрофа. Слышишь, Сашок? Это так непонятно, что руки опускаются.

Неожиданно Максимов услышал смех. Сначала неуверенный, хрипловатый, а потом раскатистый.

— Ой, Лешка,— задыхался Зеленин,— ну тебя к черту! Что же ты, предлагаешь, чтобы все жители земли тихонько легли, созерцали свой пуп и вздыхали над тайнами бытия?

Впервые в жизни Сашка попытался высмеять Максимова. Это было невероятно, но тот только виновато кашлянул и сказал:

— Конечно, чушь. Я сам понимаю. Глупо, смешно и до предела эгоистично. Несовременно. Но что делать? Во мне идет какая-то борьба.

Послышался голос Карпова:

— Эй, жалкие бургеры! — Он вошел и бесцеремонно зажег спичку.— Бургеры! Улеглись в такую ночь!

— Что ты предлагаешь? — деловито спросил Максимов.

— Я предлагаю легкой кавалькадой промчаться по окрестным весям и спеть серенаду Снежной королеве. А потом рыбку в проруби половить.

— Дельная мысль! — воскликнул Алексей и начал одеваться.

Ночь была сказочной, густо намалеванной чуть подсиненными белилами на черном фоне. Она ударила им в глаза, когда они выбежали на крыльцо, и потянула за ноги в свою глубину. Спустя минуту глаза привыкли и различили абстрактный орнамент лунного света на снегу, мелкую россыпь звезд, контуры домов. Максимов втянул носом воздух, почувствовал необъяснимый, таинственный запах весны. Он ощутил глубину ночи и необъятность земли, близость весны, близость любви и дальней дороги, ощутил свою молодость и силу.

КОЛЛЕГИ

Утром, в одиннадцать часов, когда они сидели за завтраком, зашел Зеленин. Он поднялся, как обычно, в семь часов и уже закончил обход больных.

— Привет,— сказал он.— Что собираетесь делать?

— Как что? Поедем кататься.

— Завидую! А мне на прием идти.

— Ну-ну,— буркнул невыспавшийся Карпов.

Саша смущенно потоптался, кашлянул и вздохнул.

— Очень интересные есть у меня больные,— промямлил он.

— Владя, передай-ка мне масло,— сказал Алексей.

— Такие сложные больные, вы себе не представляете!

— Что это там, шпроты? Давай сюда!

— Уверен, что любой стоящий врач заинтересовался бы этими больными.

— Шпрот, товарищи, любит, чтобы его ели с маслом.

— Вот, например, Иван Климаков. Очень странный анализ мочи, а клиники почти никакой.

— Налей-ка мне чаю, Владя, только покрепче.

— Очень странная моча,— безнадежно вздохнул Саша.

— Слушай, хозяин!— возмущенно сказал Карпов.— Может быть, теперь, к чаю, скажешь несколько слов про дизентерию?

— Чего ты хочешь, рыцарь? Говори прямо,— сказал Алексей.

— Я думал,— нерешительно протянул Саша и вдруг, будто набравшись храбрости, зачастил:— Может быть, посмотрим больных вместе, а, ребята? Так сказать, консультация столичных специалистов. Ты, Леша, как эндокринолог, ты же делал успехи в этой области, а Владик как высококвалифицированный хирург и уролог.

— Как вам нравится эта наглость!— воскликнул Карпов:— «Леша», «Владик»— тон-то какой! Я расцениваю это как попытку зверской эксплуатации заезжих туристов.

— Это не совсем так, друзья,— протянул обескураженный Зеленин.

— А по-моему, это забавно,— проговорил Максимов,
— Конечно,— обрадовался Саша,— это же страшно весело! Значит, договорились?

— Как с оплатой?— подмигивая Алексею, спросил Владька.

Саша растерянно заморгал.

— Оплата? Конечно, оплатим. Я не подумал об этом.— И, поняв шутку, в тон Владьке ответил:— Что-нибудь придумаем. Сейчас сбегая к бухгалтеру. Может быть, проведем по безлюдному фонду.

Владька захохотал:

— Люблю я этого дурака Сашку Зеленина!

По поселку были разосланы сестры и санитарки собирать больных. Вскоре в амбулатории образовалась небольшая очередь «сложных случаев». По дороге ребята еще немного поворчали что-то насчет «пауков, таящихся в глуши и затягивающих в свои сети...», но, придя в амбулаторию и увидев больных, стали серьезными. Тут дело уже было нешуточным — медицина есть медицина. Они разобрали халаты и уселись за столы. Карпов некоторое время ошарашенно смотрел на Дашу, но потом вздохнул и взялся за истории болезней. Максимов лихорадочно перебирал в уме свои познания по эндокринологии. Во время работы в порту он не думал об этом.

Зеленин был счастлив. Он называл друзей по имени-отчеству, обстоятельно докладывал о больных, высказывал свои суждения и почтительно замирал, когда Владька или Алексей начинали обследование. Потом пришло увлечение. О каждом больном спорили до хрипоты. Много прояснилось для Зеленина. Ум хорошо, а три — лучше.

Всех сложных больных из поселка они разобрали в тот же день. Зеленин наметил дальнейшую программу: втроем они обойдут на лыжах окрестные колхозы, лесные командировки и строительства.

— Мы будем сочетать приятное с полезным,— сказал он.

— Диагностические набегИ,— засмеялся Максимов.

На третий день после приезда в Круглогорье они возвращались с дальнего Гим-озера. Они шли по своей же лыжне и потому развили хорошую скорость. Карпов, как

всегда, возглавлял, остальные двигались за ним в одном темпе, в точности повторяя взмахи его рук и стремительный шаг. В лесной тишине слышалось только поскрипывание лыж, креплений и дыхание людей. Все чаще в стене леса мелькали голубые прорези, и вот лыжники вынеслись на голый крутой холм, под которым в зябком свете ежилось Круглогорье. Огромное снежное пространство окружало поселок — крохотный пятачок. Друзья сгрудились на вершине холма и остановились. Страшновато было сразу, не подумав, бросаться под такой уклон.

— Пари, что не свалюсь! — предложил Карпов.

Зеленин тронул Максимова за плечо:

— Лешка, действует на тебя это?

— Что это?

— Все это, Русь северная?

Максимов пожал плечами и усмехнулся.

— Ты же знаешь меня, брюзгливого горожанина, поклонника мокрых переулков и модернизированных пивных.

— Ну посмотри на это! — Зеленин палкой показал в сторону.

На соседнем холме стояла церковь. Высокие белые стены ее с проступающей кое-где красной сеточкой древней кирпичной кладки строго поднимались вверх гладкими полосами и лишь на самом верху украшались скупыми разводами. У Максимова захватило дух. Он ощутил малознакомый гул в душе, какой-то древний призыв и словно воочию увидел осатаневших от борьбы за жизнь лапотников, воинов с прямыми прядями волос и женщин с провалами черных глазниц, поднимающихся на холм, чтобы броситься в ноги своему строгому богу.

— Ты слаб в коленках, Макс. Смотри! — сказал Владыка и скользнул вниз.

— Что скажешь? — Зеленин заглянул Максиму в лицо. — Зябко стало? Какая гармония, правда? А ты бы видел роспись внутри!

— Да, — проговорил Максимов, — сила! А такие детали на этом фоне тебе не кажутся лишними? — спросил он и показал в сторону Стеклянного мыса, где желтела горстка барачков и поднимались над лесом три башенных крана.

Зеленин засмеялся:

— Чудак! Приезжай сюда через три года, посмотришь, каким станет край.

Максимов взглянул на него:

— Через три года? Ладно, заеду.

«Через три года,— подумал он,— ты сам, рыцарь, забудешь эти благолепные места. Три года! Поступишь в аспирантуру — и все...»

Глубоко внизу махал рукой крошечный Владька. Саша тоже подъехал к краю. Алексей еще раз взглянул на церковь. Не хочется съезжать с холма, не хочется расставаться с простором и простотой. Он окинул взглядом горизонт, и ему стало досадно оттого, что он не увидит этот край весной, летом и снова зимой. А через три года? Кто знает...

Вечером они сидели в столовой. Алексей и Сашка играли в шахматы. Владька, сидя на полу возле печки, настраивал гитару и бурчал что-то себе под нос.

— Давайте хоть в кино ходим,— сказал он.

— Сегодня в клубе танцы,— пробормотал Зеленин.— Лучше послушаем радио, из Москвы будут передавать фестивальныи концерт.

— Да ну? — воскликнул Карпов.— Замечательно! Пойдем на танцы.

Зеленин поднял голову:

— Вы пойдете без костюмов? Не в свитерах же!

— Тью! Здесь не пускают без фраков?

— Пускать-то пускают, но неловко же будет самому.

— Да, сгорю от стыда.

Саша неожиданно обиделся:

— Значит, если периферия, можно никого не смущаться? Разве в Ленинграде ты пошел бы на танцы в лыжных ботинках?

— Молчу, молчу, патриот круглогорский! Слышал, Макс, как взвился рыцарь?

— Через три года Сашка организует здесь клуб хороших манер,— беззлобно улыбнулся Максимов.

— А почему бы и нет? — с вызовом сказал Зеленин.— Через три года здесь будет настоящий город.

— Мечтатель ты, Сашка,— сказал Карпов.

— Ну, а дальше? — спросил Максимов. — Через три года ты уедешь отсюда или останешься?

Зеленин прошелся по комнате, зачем-то заглянул в окно, повернулся к ребятам и проговорил:

— Не знаю, мальчишки. Я сейчас собираю очень интересный материал. Кажется, вытанцовывается тема. Напишу работу, а там видно будет. Если где-нибудь я буду нужен больше, чем здесь, тогда уеду. Если же нет, с радостью останусь здесь. Я полюбил здесь все. Вы усмехаетесь, думаете: вот, мол, какой правильный, какой газетный? Что ж, это — мое убеждение, что жить можно только так! Знать свое место в хороводе людей, чувствовать локоть соседа, мечтать, работать, любить. Чем же еще может заниматься человек в наше время?

— Пьянством, нытьем, обманом, спекуляцией, убийствами, — заметил Максимов.

— Это дела не нашего времени! — крикнул Зеленин. — Это то, что осталось, и то, что уходит, цепляясь и брызгая слюной.

Максимов кивнул. Он на такой ответ и рассчитывал.

— Мы люди социализма... — начал Зеленин, но в это время послышался стук в дверь, и вошла Даша.

— Александр Дмитриевич, с брандвахты прибежали... Да, кажется, начались...

Зеленин сразу же стал задерживать «молнию» на куртке.

— Ах, черт, — пробормотал он. — Ах, черт, надо бежать!

— Куда?

— Да на брандвахту, нелегкая ее возьми! Роды начались у одного матроса. Что ты ржешь? Ну, женщина-матрос. Поперечное положение плода. Понимаете?

— А почему же ты ее в больницу не положил? — спросил Карпов.

— Отказалась. Муж не пустил, дубина этакая!

Он вышел вместе с Дашей, зашел в больницу за сумкой и договорился с сестрой, что она тоже придет на брандвахту, как только закончит раздачу лекарств и процедуры. Нахлобучил ушанку, перекинул сумку через плечо и вышел во двор. На земле уже лежали сумерки, а небо разливалось томительной зеленью. Над головой пер-

вая звезда словно шевелилась от легкого морозного ветра. Зеленин на миг задержался, посмотрел в небо и почему-то вспомнил блоковский город, охваченный тревожным ожиданием таинственных кораблей. Он вздохнул и увидел, что на крыльце флигеля, широко расставив ноги, стоит Максимов.

— Ты что, Макс?

— Сашка, хочешь, я с тобой пойду?

— Думаешь, я сам не справлюсь?

— На всякий случай, а? И веселее будет...

— Спасибо, Лешка, ты лучше отдохни: завтра маршбросок на Журавлиные.

— Давай-ка пойдем вдвоем, Саша, знаешь...

— А, перестань! — махнул рукой Зеленин и потрусил к воротам.

Максимов вернулся в столовую. Владька сидел на тахте, покуривал.

— Дней через десять, — сказал Алексей, — мы будем уже далеко друг от друга.

Он подошел к приемнику, включил его, пошарив на длинных волнах, нашел Москву. Звуки большого зала вошли в комнату. Отчетливо слышалось покашливание и хлопанье стульев.

— Начинаем заключительный концерт фестивального конкурса. Выступают участники студенческой самодеятельности города Москвы...

Пауза.

— Студентка Московского университета Инна Зеленина исполняет ноктюрн Шопена.

Максимов охнул, Карпов вскочил.

— А Сашка-то, Сашка... Проклятье!

— Тише!

УДАР НОЖА

Зеленин подходил к пристани. Безлюдная, преобразенная толстыми сугробами, она была печальна. Метрах в пятидесяти от берега темнели тела барж, находившихся во льдах на зимнем отстое. Он решил пойти кратчайшим путем, мимо складов, выбраться на озеро и по протоптанной на льду тропинке добраться до брандвахты.

Вокруг стояла настолько плотная тишина, что казалось, уши заложены ватными тампонами. Чтобы рассеять это ощущение, Зеленин начал прислушиваться к скрипу снега под своими ногами и неожиданно различил посторонний звук. Это был храп. Сторож Луконя сидел, завернувшись в свой могучий тулуп, возле стены одного из складских зданий. Голова его бессильно свисала набок. Открытый рот чернел среди серой бороденки, как нора.

— Опять поднабрался,— подумал вслух Зеленин. Он хотел разбудить Луконю, но, решив, что тот все равно сразу же заснет, прошел мимо и свернул за угол. И тут он снова услышал звук — вороватый стук железа по железу. Это был звук активной преступной жизни. Звук трусливый и в то же время угрожающий — не подходил Зеленин ускорил шаги и увидел у дверей склада две копошившиеся фигуры. В желтом пятне фонарика — огромный висячий замок.

«Я иду на вызов, меня ждет роженица», — подумал он, вздрогнул, почувствовав свое одиночество, и гаркнул: — Стой!

Темные фигуры бросились в разные стороны. Одна юркнула за угол склада, другая метнулась к озеру и скатилась под обрыв. Не отдавая себе отчета в происходящем, Зеленин побежал за этим вторым. Гнаться было трудно: ноги увязали в снегу. А тот уже выбирался на голый лед.

«Все равно уйдет,— подумал Зеленин.— Лучше пойду на брандвахту, а оттуда pošлю кого-нибудь в милицию».

Но в это время фигура впереди остановилась, обернулась. Лунный свет сделал ее рельефной. Александр узнал четырехугольные плечи и бычий наклон Федьки Бугрова. Федька всмотрелся, потом чиркнул спичкой, закурил и спокойно пошел на Зеленина.

«Поперечное положение — дело не шуточное. Надо повернуться и бежать на брандвахту. Не мое дело — бандитов ловить».

Зеленин зачем-то дрожащими пальцами туже затянул шарф, глубоко, до самых последних бронхов, вдохнул в себя морозный воздух и пошел навстречу Федьке.

— Стойте, Бугров! — сказал он, когда они сблизись. — Сейчас я вас передам сторожу.

— Да ну? — буркнул Федор и вздохнул. — Ничего не поделаешь, придется подчиниться.

Он сделал еще шаг к Зеленину, дохнул сивушно-табачным перегаром и с размаху ударил его по виску. Подбежал, ткнул упавшего сапогом в лицо и отскочил. Зеленин беспомощно ворочался на снегу. В глазах его колыхался красный туман. Откуда-то сверху, с края пропасти, донесся до него голос:

— Это тебе, вонючка, за польки-кадрили. А сейчас вставай и беги. Нашепчешь кому-нибудь — задавлю, как клопа.

Зеленин встал. Пошел на Федьку. Тот сделал шаг назад, взвизгнул:

— Уйди! Уйди от греха!

— Врешь, негодяй! — прошептал Саша.

Ударил Бугрова в лицо. И сразу же они одним бешеным, хрипящим клубком покатались по снегу. Улучив момент, Федька ногой отбросил Сашу. Оба вскочили.

— Беги! — завопил Федька.

Александр снова, вытянув руки, как пьяный пошел на него. Федька пригнулся к голенищу и метнулся вперед с финкой в правой руке.

Зеленин немо открыл рот, схватился за живот и в последний миг перед падением вытянулся, как струна. Из глубины его тела поднималось и закрывало все огромное красное облако. Прошла в мозгу медленная мысль: «Атомная бомба, что ли?» Зеленин упал. Красный дым клубился, конденсировался, ходил волнами. И вдруг появились и с бешеной скоростью полетели вниз фотоснимки, множество фотоснимков: Инна, мама, отец, друзья. Он пытался поймать хоть один из них, но тут схлынули красные волны. Появилось темно-синее небо. Звезды шевелятся. Тропики? Море, белые пляжи, пальмы... Сухуми, что ли? Радио... Да, громкоговорители на набережной. Трансляция концерта. Виолончель. Кого это она оплакивает? Уж не его ли? Уж не его ли самого, не его ли молодость, не его ли прощание с землей?

Потом небо почернело, стремительно снизилось и прихлопнуло его.

...Луконя так и не понял, отчего он проснулся. Зевнул. Прошелся вдоль склада, обогнул его. Высморкался на снег, посмотрел на озеро. Там, на льду, баловали два подгулявших парня. Луконя заинтересовался.

— Ишь ты, ишь ты! — пробормотал он.

Один из парней упал. Другой склонился над ним, потормошил и вдруг бросился прочь. Он понесся большими прыжками. Падал, полз и снова бежал. А второй лежал неподвижно.

— Ну и дела! — закричал Луконя, снял с плеча ружье и скатился вниз.

ГЛАВА XI

УБИЛИ САШУ!

Ночь хороша светом далеких окон. Человек может в одиночку бороться за свою жизнь, но он должен знать, что в глубокой ночи далекие теплые окна ждут его. Иначе зачем бороться? И, погибая ночью, хрипя и выплевывая кровавый снег, человек посылает последнюю искру гаснущего сознания к светящимся окнам, к окнам матери, брата, любимой, к окнам друзей, к теплым окнам всего мира.

В тот час, когда Зеленин дрался с Федькой, его друзья продолжали слушать радио.

— Жалко, что Инна играла без Сашки, — сказал Максимов.

— Так ведь он же сегодня дежурный, — возразил Карпов.

— Он тут каждую минуту дежурный!

Владька тронул струны и запел, и сейчас же Алексей закурил сигарету. Сразу же обняла их знакомая грусть, возникло предчувствие разлуки и еще какая-то чертовщина: то ли посвист какой-то степной, то ли запах весны. Шапку на затылок! Не трогайте меня, оставьте в покое — я ухожу! В поле ухожу, и на шоссе, и дальше через болото в горы, к морю. Буду «голосовать» на дорогах, и ставить паруса, и голодать, и знакомиться с каждым встречным, и встречать девушек. Оставьте же меня!

Подари на прощанье мне билет
На поезд куда-нибудь.
Мне все равно, куда он пойдет,—
Был бы лишь дальний путь.

Когда затихают жаркие споры о будущем и о смысле жизни, когда застегиваются мундиры и пиджаки и похмелье в латаных валенках начинает бродить из угла в угол, кто-нибудь берет гитару, поет низким баском, и снова все присутствующие чувствуют себя молодыми и готовыми на все.

Ах, не знать бы мне губ твоих, рук,
Не видать твоего лица.
Мне все равно, где север, где юг,
Был бы лишь путь без конца-а-а-а...

Последнее слово Карпов шутовски затянул, словно пытаясь ослабить впечатление. Потом он искоса посмотрел на друга. Тот сидел с отсутствующим видом, и только легкая тень смущения на его лице говорила о том, что он ему благодарен за эту песню.

Они сидели и горланили, перебирали студенческие песни, старинные и новейшие, когда вдруг захлопали одна за другой все двери. В клубе морозного пара в комнату вбежала Даша Гурьянова.

— Александра Дмитриевича!..— крикнула она и остановилась. В испуге закрыла рот руками, качнулась и осела на пол. Карпов сразу же перемахнул через стол. Максимов тоже подбежал к девушке. Даша открыла глаза и прошептала:— Убили Сашу...

...Ни на одном кроссе они не бежали быстрее. Они бежали молча, охваченные злобой и надеждой. Узнать как можно скорее, что эта нелепая весть — брехня! Что Сашка жив и здоров или хотя бы ранен. Пусть тяжело ранен, но только не мертв! Только не мертв! Они бежали, даже не замечая того, что темные улицы поселка пришли в движение, что тут и там двигались люди, прыгали дымные круги ручных фонариков.

Возле складов глухо шумела толпа. Друзья врзались в нее с налету. Тело Зеленина лежало на куче тулупов и телогреек. Тело? А не труп ли? Заострившееся белое лицо с громадным кровоподтеком, с рваной раной на правой щеке, тупо, безжизненно открытый рот.

— Готов доктор,— тихо сказал кто-то вблизи.

— Сашка! — закричал Карпов, упал на колени и, схватив руку Зеленина, стал искать пульс.

— Спокойно! — гаркнул Максимов.— Куда он его пырнул? В голову?

— В живот,— ответили из толпы.

Кто-то посветил фонариком. Максимов увидел залившую кровью прореху на зеленинском пальто. Мелькнула мысль: «Если бы на нем была моя канадка, может быть, ничего страшного не случилось бы». Алексей встал на колени, расстегнул пальто, куртку и осмотрел рану. Владька сидел на снегу и рыдал.

— Это невозможно, это невозможно! — повторял он.

— Есть пульс? — резко спросил его Максимов. Владька отрицательно покачал головой. Максимов сам взял руку Зеленина.— Кажется, есть пульс.

«Какого дьявола Владька закатывает истерику в такой момент? Тоже мне хирург! Но если кто сейчас и сможет что-нибудь сделать, это Владька. Если возьмет себя в руки. Он хороший хирург». Максимов помнит тот день, когда Владьке, единственному из студентов, поручили делать струмэктомиию. Круглов тогда сказал, что такие руки, как у Карпова...

«Удивительно, как это мысли разбегаются в такой момент»,— подумал Алексей, взял пригоршню снега и вытер лицо. Потом встряхнул Владьку и спросил:

— Диагноз?

Карпов тоже провел рукой по лицу, голосом автомата ответил:

— Проникающее ранение брюшной полости. Должно быть, ранен желудок, вероятно, задета артерия дэкстра...

— Будем оперировать,— жестко сказал Максимов.

Владька вздрогнул:

— Сами? С ума сошел!

— Артерия не задета. Понял? Перестань хныкать: оперировать придется тебе. Подвода есть? — крикнул он.— Ну-ка, мужики, дайте дорогу.

— Есть надежда-то? — хрипло спросили из толпы.

— Да! — яростно воскликнул Максимов.

— Да,— прошептал Карпов.

Филимон бешено настегивал конягу, Бежавшие рядом

люди на скользких местах тянули ее за уздцы, толкали сани.

«Куда подевались все машины?» — подумал Алексей.

В это время из темноты выступили контуры трех автомобилей. Вокруг них возбужденно махали руками люди. Слышались короткие возгласы:

— В севастьяновской баньке сидит!

— Ружье у него!

— Откуда?

— У Лукони двустволку отнял.

— Возьмем бандюгу!

Неожиданно все три автомобиля зажгли фары. Лучи вырвали из мрака головы, шапки, погоны милиционеров, фосфорическими полосами легли на снег и уперлись в крохотную, кособокую избенку. Толпа начала растекаться.

Максимов вдруг толкнул Владьку:

— Езжайте дальше. Я догоню вас на машине.

— Куда ты? — ахнул Карпов, но Алексей уже мчался прочь. Он пробежал мимо какого-то инвалида, подбежал к цепи и пошел рядом с другими, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега.

— Сашка-то, а? — сказал ему, сдерживая рыдание, кто-то справа.

Алексей покосился. Лицо идущего рядом парня показалось ему знакомым.

Цепь смыкалась вокруг баньки. Оставалось не больше сотни метров. Неожиданно оттуда бухнул выстрел, и в наступившей после этого тишине резко скрипнули петли двери. Максимов увидел, что из баньки боком выбирается высокая фигура с ружьем в руках. Вот он! Тот, кто оборвал Сашкину жизнь, одним движением руки перерезал глотку его мечтам, чудачествам, планам. Вот, значит, он! Убивший огромный Сашкин мир, искалечивший Инну, смертельно ранивший стариков Зелениных, заставивший плакать по-бабьи Владьку, поднявший на ноги весь поселок! Вот, значит, эта гадина!

Алексей ринулся вперед, сразу обогнал цепь.

«Я его сейчас прикончу, задушу, раздроблю голову! Растопчу эту мразь! Никому не позволю — сам! Боже мой, а Сашке-то от этого будет легче? Легче!»

Он подбежал к Федьке. Тот стоял, качаясь и тихо, натужно рыча. Обеими руками он держал перед собой двустволку, но не как оружие, а скорее как балансир. Лицо его надвинулось на Алексея. Щеки дрожат, глаза моргают, под носом смерзшиеся сопли. Жалкая гадина... Такому мстить? Убить — еще не значит отомстить.

Максимов вырвал ружье, отбросил в сторону, тремя ударами, словно тренируясь на боксерской груше, свалил Федьку себе под ноги и сам в истерике покатился по снегу.

Человек может долго держать себя под контролем, боясь показаться сентиментальным, но в какой-то момент оглушительно распаивается его душа, и он уже не в состоянии сдержать крика и своих слез.

Замелькали над головой ноги. Цепь сомкнулась во круг Федьки и Алексея.

— Посчитаем ему, ребята, за доктора нашего! — крикнул кто-то.

Кулаки рабочих, грузчиков, лесорубов поднялись над убийцей.

— Стойте! — раздался голос. — Перестань, Ибрагим! Его будут судить.

— Чего там судить!

— Еще не известно, дадут ли высшую!

— Не слушайте Самсоныча, мужики!

— Бей!

— Я не хотел! — закричал Федька, словно очнувшись. — Не хотел убивать!

— Бей его!

Но в круг протолкнулся Егоров с милиционерами.

— Спокойно! — закричал Егоров. — Судей вы сами выбирали или нет?

Федьку увели. Ушла, возбужденно галдя, толпа. Максимов растерянно встал на вытоптанном снегу. Он уже начал приходить в себя.

«Молчи! — диктовал он себе. — Лучше скрипи зубами, но не хнычь. Молчи, не говори ни слова. Вытри снегом лицо. Иди. Давай пошевеливайся!» Возле машины стояли трое, видимо ждали его. Тот парень со знакомым лицом, и инвалид, тоже до странности знакомый, и какой-то верзила.

— Послушайте,— взволнованно сказал инвалид,— говорят, есть какая-то надежда?

— А мы думали все, крышка! — пробасил верзила.— Шли с Борисом из клуба, вдруг кричат: «Убили Сашу!»

— Может быть, останется жив? — спросил знакомый парень.

— Быстрее в больницу! — прошептал Максимов и полез в машину.

Ему было стыдно оттого, что он потерял надежду и поддался злобе и отчаянию. Может быть, действительно удастся раздуть огонек жизни, который еще теплится в Сашке? Сколько времени он пролежал на снегу? Ведь он был, в сущности, очень здоровым парнем. Был? Нет, Сашка есть, Сашка будет! Мы еще поборемся.

НАСТОЯЩИЕ РЕБЯТА

Гордость Зеленина — роскошная бестеневая лампа, вырванная с таким трудом у снабженцев райздравотдела, — освещала операционное поле ярким ровным светом. Такая аппаратура обычно вселяет уверенность в могущество медицины. Карпов уже стоял возле стола, держа на весу руки, прямой и строгий. Макар Иванович налаживал систему для переливания крови. Даша лишний раз пересчитывала инструменты. Вошел Максимов и занял свое место напротив Карпова.

— Макар Иванович, у вас все в порядке?

— Да.

— Начнем, Макс?

— Давай.

На секунду все четверо подняли головы и обменялись взглядами. На секунду дрогнули лица со сжатыми губами и снова превратились в бесстрастные маски. Каждый словно принял переброшенный от одного к другому канат и намертво закрепил его. Теперь они почувствовали себя альпинистами в одной связке.

Карпов сделал разрез. Брюшная полость была заполнена кровью. Оказалось, что лезвие ножа пересекло веточку крупной артерии и пробило желудок. Карпов взглянул на Максимова:

— Понимаешь?

Максимов молча кивнул.

— Что там? — спросил Макар Иванович. И Даша подалась вперед, напряженная и суровая.

— В двух сантиметрах прошел от артерии декстра, — сказал Карпов. — Лигатуру!

«Может быть, как раз то, что он лежал на снегу, и спасло его, — подумал Максимов, — от холода сжались сосуды... Спасло! Неужели спасен? Неужели мы вытянем Сашку? Держись, рыцарь! Тебя еще нет, ты еще отсутствуешь, но твое тело живет, вокруг него друзья, и ты будешь снова! Спокойно, Владька уже начал ушивать желудок!»

Максимов смотрел на ловкие длинные пальцы — совершеннейший аппарат, — копошащиеся в ране, ловил каждое их движение. Вот он, Владька Карпов, — хирург, спасающий друга! Вот он — настоящий Карпов! Вот и он — настоящий Алексей Максимов. Вот мы, врачи, — настоящие ребята!

Вдруг Макар Иванович выпрямился, бросился к Сашкиной голове, что-то сделал там.

— Пульса нет, — сказал он. — Зрачки не реагируют.

Кровь прилила Алексею в голову, помутилось в глазах. Он увидел, как задрожали Владькины пальцы, державшие иглу. Он поднял голову и уставился Владьке в глаза. И тот тоже смотрел на него. Они не двигались.

— Неужели все кончено? — спросила Даша.

Этот вопрос словно вывел их из оцепенения. Максимов сказал:

— Адреналин в сердце. Ты когда-нибудь делал это?

— Нет, — ответил Карпов, — представь себе, не приходилось.

— Мне тоже. Сделаешь?

— Технически это не сложно, но... руки... Сделай лучше ты!

Максимов взял шприц с иглой, нащупал четвертое межреберье. Думал ли он когда-нибудь, что будет прокалывать сердце Сашки Зеленина для того, чтобы вернуть его к жизни? Он проколол сердце и ввел адреналин.

— Появился пульс, — щепнул старик,

Стали ждать,

— Пульс становится лучшего наполнения,— подавляя возбуждение, сказал старик.

— Введите теперь под кожу.

— Есть!

Движения всех четверых стали еще более четкими. Внезапно забеспокоилась Даша. Несколько раз она тревожно посмотрела на лампу.

— Макар Иванович, который час?

— Без четверти двенадцать.

— Ой!

— Что такое?

— После двенадцати у нас электричество горит вполнакала.

Карпов озадаченно взглянул на нее. Работы было еще по меньшей мере на полчаса.

— Зажжем керосиновые лампы,— сказал старик.

Но и после двенадцати свет продолжал гореть ярко. Люди, для которых сейчас весь мир замкнулся в операционной, не знали, что вокруг ходит, смотрит с надеждой внешний мир. Поселок не спит. Темные фигурки собираются кучками, смотрят туда, где за березами светится цепочка больничных окон.

У крыльца больницы дежурит автомобиль. Мотор периодически прогревается. В дежурке у телефона курит Егоров. На подстанции прогуливается Тимофей, зверски поглядывая на обслуживающий персонал. Звонят со Стеклянного мыса — не надо ли чего? Звонят из районной больницы — выехал главный врач. Звонят с лесозавода, с соседнего аэродрома... Идут в темноте лыжники, трусят лошадки, рычат, карабкаясь по ухабам, грузовики. Взбаламучена вся мартовская ночь.

— Все! — сказал Карпов, отошел от стола и посмотрел на лицо Зеленина. Оно по-прежнему было бледным, как матовое стекло, но какие-то еле уловимые приметы говорили, что это уже лицо не трупа, а просто тяжелобольного человека.

Они гуськом вышли из предоперационной и прошли в дежурку. Тяжело стукнул костылем Егоров, вскочил Борис. Они не сказали ни слова, но глаза их кричали громче всех голосов. Теперь Максимов узнал Бориса. Улыбнулся ему.

— Подумай, как будешь ставить Сашке блок. Это не так-то просто.

— Ну?! — воскликнули вместе Борис и Егоров.

Врачи молча, со странными улыбками сели. Пустили по кругу пачку сигарет. Закурили, стараясь не глядеть друг на друга. Поняли и замолчали Борис и Егоров. Трудно сказать что-нибудь связное после того, что произошло этой ночью. Максимову даже казалось, что усталость, сразу навалившаяся ему на плечи, вызвана тем, что он сказал несколько ободряющих слов знакомому волейболисту. Ободряя другого, ты сам надеешься. А что все-таки ждет их завтра утром? Так или иначе, они прошли сквозь ночь. Сегодня они впервые побывали там, на рубеже жизни и смерти. Вели там бой и вернулись усталые, опустошенные и в то же время наполненные чем-то новым. Теперь Сашка должен бороться сам. Они все вокруг, все настороже, но он должен и сам побарахтаться. Отчего они молчат? От усталости? Нет, в них должно перебродить первое ошеломление от величайшего в их жизни события. Эта ночь не забудется никогда. Они прошли ее насквозь и нашли сами себя. Наконец-то все стало ясным. Спасая друга, они поняли свое назначение на земле. Они — врачи! Они будут стоять и двигаться в разных местах земного шара, куда они попадут, с главной и единственной целью — отбивать атаки болезней и смерти от людей, от веселых, беспокойных, мудрых, сплоченных в одну семью существ. Все остальное второстепенно. Они — врачи! Год назад им сказали об этом, но они все еще воображали себя просто молодыми парнями.

— Где это я вас видел? — прищурился на Егорова Максимов.

Тот хлопнул его по спине и улыбнулся:

— Завтра я вам напомню. Сейчас нужно отдыхать.

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Морозный, дымный рассвет смотрел в окна. Максимов сгорбившись сидел у кровати Зеленина и смотрел на его лицо. Казалось, оно порозовело. Или это только отсвет восхода? Во всяком случае, дыхание ровное, пульс 64,

давление 100 и 60. «Наши шансы растут, а? Сашка, ты молодец! Мы еще с тобой пофилософствуем, побродим еще по Петроградской стороне! Поиграем в волейбол, поплаваем вместе. Посмеемся и погрустим, ходим не раз в кино. Встретимся через три года или гораздо раньше. Будем писать друг другу письма и посылать фотокарточки. Все еще у нас впереди...»

Максимов встал и подошел к окну. Морозные узоры кустиками поднимались вверх по стеклу, но закрывали только нижнюю его половину. Был виден далекий берег озера, над которым висело солнце. На льду перемешались розовые и голубые тени. Скоро начнет таять. Придет весна, похожая на сотни других весен, но все-таки чем-то отличающаяся. Это закон, постоянный круг. Раньше, в прошлые годы, века, жили Максимовы и Зеленины, похожие на них, теперешних, но все-таки другие. Сейчас живут они. А после них будут другие, похожие на них, но другие. И нужно, чтобы те, новые, временами вспоминали о них. Тогда... тогда не будет страшно. Надо все делать для того, чтобы нас вспоминали. Не персонально Максимова, а всех нас. Сашка прав: нужно чувствовать свою связь с прошедшим и будущим. Именно в этом спасение от страха перед неизбежным уходом из жизни. Именно в этом высокая роль человека. А иначе жизнь станет зловещей трагедией или никчемным фарсом. Мы, люди социализма, должны особенно ясно понять это. Не нужно бояться высоких слов. Прошло то время, когда отдельные сволочи могли спекулировать этими словами. Мы смотрим ясно на вещи. Мы очистим эти слова. Сейчас это главное: бороться за чистоту своих слов, своих глаз и душ. А на старье — в облаву!

Максимов вспомнил кособокую избушку, освещенную фарами автомобилей, ссутулившуюся фигуру убийцы и цепь, окружающую его. Вот они, рабочие, грузчики, лесорубы, шоферы, милиционеры, идущие в атаку на старый мир! На мир, где в дело пускались ножи, где жизнь не стоила и копейки, где людей сжигали мрачные страсти. Мы идем, мы все в атаке, в лобовой атаке вот уже сорок лет. Мы держимся рассыпанной по всему миру цепью. Мы атакуем не только то, что вне нас, но и то, что у нас внутри поднимается временами. Уныние, неве-

рие, цинизм — это тоже оттуда, из того мира. Это еще живет в нас, и временами может показаться, что только это и живет в нас. Нет. Потому мы и новые люди, что боремся с этим, и побеждаем, и находим свое место в рассыпанной цепи. Максимов повернулся и увидел, что в дверях стоят Владька и Даша и еще какие-то люди.

— Иди спать, Макс,— сказал Владька,— мы тебя сме- ним.

Алексей встал в ногах у Зеленина и посмотрел на его лицо. И вдруг он увидел, что Сашка смотрит на него.

— Лешка,— сказал Зеленин,— ну что там со мной?

Максимов вцепился в спинку кровати и сказал хрипло:

— Пустяки. Ты жив.

Подошли Владька и Даша. Зеленин повел взглядом и улыбнулся:

— О, да вы все здесь! Привет, ребята!

— Привет! — сказал Владька.

— Саша! — сказала девушка.

— А как на брандвахте?

— Не волнуйся, Макар Иванович успел принять роды, Зеленин кивнул, закрыл глаза и снова открыл их.

— Вы, конечно, не слушали концерт из Москвы? Там Инна...

— Слушали,— сказал Владька.— Да перестань ты бол- тать! Нельзя!

— Я хотел вам сделать сюрприз,— продолжал Зеленин,— а сам так и не услышал.

— Можно послать заявку на радио,— сказал Макси- мов,— пусть прокрутят пленку. Наверняка они записали.

— Конечно, записали такую игру! — проговорил Владька.

— Правильно! Так и сделаем,— прошептал Зеленин и закрыл глаза.

— Заявку от моряков из Тихого океана,— сказал Макси- мов.

— И с Баренцева моря,— сказал Карпов.

— И от жителей Круглогорья,— вставила Даша.

— И от рабочих Стеклянного мыса,— пробасил стоя- щий в дверях Тимоша.

Р А С С К А З Ы

МАЛЕНЬКИЙ КИТ, ЛАКИРОВЩИК ДЕЙСТВИТЕЛЬ- НОСТИ

Что это такое ты принес? — спросил меня Кит.
— Это кепка.
— Дай-ка сюда.

Он взял в руки и с удивлением стал рассматривать мою новую кожаную кепку. Через секунду любопытство его достигло такой силы, что он задрожал.

— Толя, что это такое, а? — закричал он.

— Такая своеобразная кепка, — пробормотал я.

— Это кепка, чтобы в ней летать? — еще сильнее закричал он и запрыгал с кепкой в руках.

Я с готовностью уцепился за эту идею.

— Да, чтоб летать. В этой кепке мы с тобой полетим на Северный полюс.

— Ура! К белым медведям?

— Да.

— К моржам?

— Да, и к моржам.

— А еще к кому?

Голова у меня трещала после рабочего дня, в течение которого я переругался с несколькими сослуживца-

ми, получил устный выговор от директора, совершил несколько ошибок, настроение было прескверное, но я все-таки напрягся, пытаюсь представить себе скудную фауну Ледовитого океана.

— К акулам,— сшельмовал я.

— Нет, неправда,— возмущенно возразил он,— акул там нет. Акулы злые, а на Северном полюсе все звери хорошие.

— Да, ты прав,— торопливо согласился я.— Значит, мы полетим к белым медведям, моржам...

— К китам,— подсказал он.

— Ага, к китам и к этим... ну...

— К лимпедузе! — восторженно крикнул он.

— Что за лимпедуза?

Он смутился, положил кепку на тахту, отошел в дальний угол комнаты и оттуда прошептал:

— Лимпедуза — это такой зверь.

— Верно,— сказал я.— Как же это я так забыл? Лимпедуза! Такой скользкий юркий зверек, верно?

— Нет! Он большой и пушистый! — уверенно сказал Кит.

В комнату вошла моя жена и сказала Киту:

— Пойдем займемся нашими делами.

Они вышли вместе, но жена вернулась и спросила:

— Звонил?

— Кому?

— Не притворяйся. За целый день ты не смог ему позвонить?

— Хорошо, сейчас позвоню.

Она вышла, и я впервые за этот день остался один. Прислушиваясь к необычной тишине, я словно принимал ванну или душ, душ одиночества после рабочего дня, наполненного во всех своих измерениях шумными людьми, знакомыми и незнакомыми.

Я сел к пустому письменному столу и положил на него руки, с удовольствием ощутил прохладную пустую поверхность стола, лишенного всяких дел, бумаг, исполняющего сейчас лишь обязанность подставки для моих тяжелых рук.

За окном солнце, бесшумно преодолев желтые заросли близкого сада, подкатывало к углу многоэтажного

дома, к гигантскому, торчком стоящему параллелепипеду, темному сейчас и словно безжизненному.

Во дворе по крыше котельной носились осатаневшие десятилетние мальчишки. По их разинутым ртам можно было представить, какой за нашими стеклами стоит гвалт,

Из палисадника боязливо вышла культурная старуха, сторожка, словно лань, повернулась в сторону котельной. Мальчишки при виде старухи попрыгали с крыши наземь.

Старуха эта, каждый вечер выходявшая во двор подышать кислородом и подкладываящая под свой бедный зад надувную резиновую подушечку, была постоянным объектом злых мальчишеских шуток. Она давно привыкла к ним и терпеливо сносила проделки этих загадочных, по ее мнению, коварных и быстрых дворовых террористов, терпеливо сносила, но все-таки боялась, всегда боялась.

Сейчас мальчишки пустили поперек ее пути струю из дворничьего шланга и развлекались, дико прыгали с открытыми в хохоте ртами, а старуха терпеливо топталась, ожидая, когда им наскучит их затея. Появилась дворничиха, подруга старухи, и бросилась в атаку, широко раскрывая при этом рот и размахивая руками.

Вся эта сцена, будь она озвученной, должно быть, вызвала бы во мне гнев или боль, но сейчас она прошла перед моим безучастным взором, словно кадры старого немого фильма.

Итак, старуха благополучно пересекла двор, а террористы бесились на крыше котельной, не думая о том, что близкая уже смерть старухи произведет в их душах, может быть, первое, незначительное, конечно, опустошение.

Стараясь сохранить свою безучастность и спасительную вялость, я придвинул телефон и стал набирать этот проклятый номер, будто между прочим, будто это для меня пустяк — позвонить ему, но уже на третьей цифре все засосало у меня внутри, сердце, печень, селезенка сжались в один бешено колотящийся ком, и лишь короткие частые гудки освободили меня. Занято!

Я представил себе, как он сидит в кресле или лежит на тахте, но обязательно играет очками, крутит их на

одном пальце, разговаривая с кем-то. С кем? С Садовниковым? С Войновским? С Овсянниковым?

Я чертыхнулся, и в этот момент с кухни послышался крик Кита. Он там что-то разбуянился. Иногда на него находит.

— Уходи! — кричал он изо всех сил. — Уходи! — кричал он моей жене. — Ты нам не нужна!

Послышался возмущенный голос жены и потом щелканье выключателя. К Киту были применены санкции — он остался на кухне в одиночестве и в темноте. Сразу затих.

Жена ушла в спальню и забилась там в угол. Она очень тяжело переживает размолвки с Китом, с этим маленьким мальчиком, нашим сыном, с этим «мужичком с ноготок» трех с чем-то лет от роду.

Я встал и пошел на кухню, слоподобно ступая по паркету, весело и грозно трубя:

— Ту-ру-ру! Пап-слон идет! Из глубины джунглей сам слон Бимбо! Ту-ру-ру, сам папа! Лично! Собственной персоной.

В сердце моем вихрем влетело ощущение спокойствия и любви.

На кухне я увидел его круглую голову на фоне сумеречного окна. Он сидел на горшке и что-то шептал, поднимая палец к окну, где начинали уже зажигаться огни дома напротив.

Я теперь почти привык к Киту. Все реже и реже посещает меня странное чувство иллюзорности, когда он вбегает в комнату или вкатывает в нее на велосипеде. Благоговение перед тайной и страх первых месяцев его жизни почти прошли. Сейчас получается так: ну, Кит — и все! Мальчишка, сынок, чудо-юдо рыба-кит на заваulinке сидит... и прочая чепуха.

Ему было полгода, когда я назвал его Китом. Вдвоем с женой мы купали его в ванночке, и он ворочался в мыльной воде и разевал беззубый рот. Я его за голову держал и всовывал назад в уши выпадающие кусочки ваты, а он иногда поднимал на меня свой голубой взгляд и хитровато улыбался, будто предчувствуя нынешние наши замысловатые отношения. Сначала он показался мне сосиской в бульоне, и я сказал об этом жене,

— Вот еще сосиска в бульоне.

Подумав об этом полминуты, жена заметила, что это вряд ли очень эстетично. Тогда я придумал другое сравнение — Кит.

— Это маленький Кит,— сказал я.

Жена промолчала.

Вечером после купания я уехал во Внуково и сел там в огромный самолет, отбывающий на Восток. Потом на Сахалине, разъезжая по тамошним портовым городкам, в гостиницах и в домах приезжих, я вынимал его карточку и думал о нем уже так: «Как там мой маленький Кит?»

Ну мало ли какие прозвища я давал ему впоследствии. Он был Кусакой и Чашкиным, а однажды получил такую сложную фамилию — Чушкин-Плюшкин-Побрякушкин-Раскладушкин-Ложкин-Плошкин,— но все эти прозвища постепенно отходили, забывались, а оставалось одно, главное — Кит.

— Ну, что случилось, Кит? — спросил я, усаживаясь в кухне на табуретке и закуривая.

— Смотри, огонечки! — сказал он и показал в окно.

— Раз, два, три, восемнадцать, одиннадцать, девять,— взялся он считать огоньки и вдруг воскликнул: — Смотри, луна!

Я повернулся к окну. Бледная луна с выеденным боком висела над домами.

— Да, луна,— чуть-чуть заволновался я и стряхнул на пол пепел.

— Толя, Толя, пепельница есть,— сказал Кит тоном своей матери.

— Ты прав,— сказал я,— извини.

Мы замолчали и некоторое время сидели — я на табуретке, он на горшке — в полной тишине, нарушаемой только вздохами жены из спальни и шелестом страниц ее книги. Глаза Кита таинственно светились. Затишье, видно, было ему по душе.

— Знаешь,— вдруг встрепенулся он,— на луну летает пилот Гагарин.

— Да,— сказал я.

— Знаешь,— сказал он,— ни Гагарин, ни Титов, ни Терешкова, ни Джон Глен...

Задумчивая пауза.

— Что? — спросил я.

— ...ни Купер в рот и в нос ничего не берут,— закончил он свою мысль.

В кухню вошла жена и приподняла его с горшка.

— Ничего не сделал. Садись снова и старайся. Ты совершенно не стараешься.

— Толя, а ты стараешься, когда сидишь на горшке? — спросил Кит.

— Да,— сказал я,— слон Бимбо старается.

— А слониха Тумба?

— Тоже.

— А слоненок Кучка?

— Еще как старается.

— А кто еще старается?

— Кашалот,— сказал я.

— А кашалот добрый? — спросил он.

— Звонил? — спросила жена.

— Занято было,— сказал я.

— Так позвони еще.

— Послушай! — вскипел я.— Ведь это мое дело, правда? Это мое дело, и я сам знаю, когда звонить.

— Ты просто трусишь,— презрительно сказала она. Я вскочил с табурета.

— Отправляйтесь гулять! — резко сказала она.— Собирайтесь живо и марш!

Мы вышли с Китом из дома и пошли по нашему переулку к бульвару. Было уже темно. Кит шагал широко, деловито, маленькая его ручка крепко сжимала мою.

— Так что же? — спросил он.

— Что? — растерялся я.

— Кашалот добрый?

— Да, конечно, добрый. Акулы злые, а кашалот добрый.

«Как он представляет себе море, которого никогда не видел? — подумал я.— Как он представляет себе глубину и бескрайность моря? Как он представляет себе этот город? Что такое для него Москва? Ведь он ничего еще не знает. Он не знает, что мир расколот на два лагеря. Он не знает, что такое мир. Мы обозначили уже... художбно, но мы уже обозначили почти все явления, окружающие нас, мы соорудили себе наш реальный мир, а

он сейчас живет в удивительном, странном мире, ничуть не похожем на наш».

— А кто у луны бок скусил? — спросил он.

— Большая Медведица, — ляпнул я и испугался, сразу представив, как я все это буду ему объяснять. По его ручонке я понял, что он снова весь задрожал от любопытства.

— Что такое, Толя? — вкрадчиво спросил он. — Какая такая медведица?

Я поднял его на руки и показал на небо:

— Видишь звездочки? Вот эти — раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... В виде ковша. Это называется Большая Медведица.

Что такое звезды? Что такое Большая Медведица? Почему она так испокон веков висит над нами?

— Да, большая медведица! — весело вскричал он и погрозил ей пальцем. — Это она скусила бок у луны! Ай-я-яй!

Легкость, с какой воспринял он эти условности, ободрила меня.

— А там повыше есть еще и Малая Медведица, — сказал я. — Видишь маленький ковшик? Это Малая Медведица.

— А где медведь? — задал он резонный вопрос.

Он стремился организовать медвежью семью.

— Медведь, медведь... — забормотал я.

— Охотиться пошел в лес, да? — выручил он меня.

— Да, да.

Я спустил его с плеча.

Мы вышли на бульвар. Скамейки все здесь были заняты стариками и няньками, а по аллеям расхаживали ряды четырнадцатилетних девочек, а за ними ряды пятнадцатилетних мальчиков. Здесь было светло и голубовато, люминесцентные лампы освещали Конька-Горбунка величиной с мамонта, Жар-птицу, похожую на гигантского индюка, огромного, в два человеческих роста, Кота в сапогах с порочным выражением круглой физиономии, другого кота, совсем уже растленного вида, на золотой цепи у лукоморья, Царя Гвидона, Царевну Лебедь, ракету, Королеву полей, Гулливера...

Это был «Мир фантазии» — детский книжный базар,

разбитый на нашем бульваре. Киоски в этот час были закрыты, лишь кое-где сквозь щели сказочных фанерных гигантов струился желтый свет — там продавцы подсчитывали выручку.

Кит обомлел. Он не мог сдвинуться с места, не зная, к кому бежать — к Коту ли, к Царевичу, к Лебеди... В первые минуты он словно лишился дара речи, лишь вращал своими большими глазами и что-то беззвучно шептал. Потом дернул меня за руку, заверещал, и мы почти вприпрыжку припустили к киоскам. С трудом я отбивался от града вопросов, рассказывал ему, что к чему, кто добрый, кто злой.

Оказалось, что почти все фигуры являли собой добро и свет, мудрость, народную смекалку, лишь жалкий коршун, паривший над Лебедью, представлял здесь силы зла, но в него уже была нацелена стрела Гвидона.

В конце концов мой Кит устал и привалился боком к Коньку-Горбунку.

— Пойдем, Кит,— сказал я,— надо уже домой идти.

— Толя, слушай, давай их всех с собой возьмем.

— Как же мы возьмем таких больших?

— Возьмем-возьмем, все равно возьмем.— Он хлопнул ладошкой Конька:— Этого взяли!— Побежал к Коту и его хлопнул:— И этого взяли!

Таким образом всех он забрал к себе в кровать на сон грядущий и после этого, уже совершенно спокойный, отправился домой, не оглядываясь.

При выходе с бульвара он задержал шаги, и я остановился. В чем дело?

— Посмотри, Толя,— сказал он,— какая идет красивая тетя.

И впрямь — я увидел красивую тетю, которая приближалась к нам. Ее походка напоминала какой-то сдержанный, вернее, еле сдерживаемый танец. Толчками замечательных своих колен она раскидывала полы замечательного пальто, а зонтик, невероятно острый, тонкий, который она держала под мышкой, видимо, являлся не чем иным, как запасным внутренним стержнем для вращения, а глаза ее, тайные и хитрые, ярко осветились при виде нас. Я не видел ее уже три дня, эту тетю, и сейчас стало мне муторно и тревожно, как всегда, когда я ее ви-

дел или думал о ней. Сейчас, в присутствии Кита,— особенно.

— О,— сказала она,— так вот, значит, он какой, твой маленький Кит. Какая прелесть!

Она нагнулась к нему, а он дотронулся до зонтика и спросил:

— Что это? Стрела? Ружье?

— Это зонтик,— воскликнула она и в мгновение ока раскрыла зонтик. Чуть хлопнув, он развернулся над ее головой, придав всей ее фигуре дополнительную, почти уже цирковую легкость.

— Дай поддержать! — закричал Кит.

Она передала ему зонтик.

— Приятно видеть вас, синьор, за таким мирным занятием,— сказала она мне.

— И вас, мамзель, я рад узреть,— сказал я.

Вообще-то мы могли бы обойтись без этого идиотского остроумия, свойственного нашему кругу, и сразу заговорить серьезно о том, что нас тревожило в последние дни, но так уж повелось, что для начала надо было проявить подобным или более удачным образом чувство юмора, и мы с ней тоже не могли отступить от этого.

Кит кружил вокруг на зонте, и мы могли говорить спокойно.

— Почему ты кислый?

— А ты обижаешься?

— Тебе тошно, да?

— Почему?

— Думаешь, я пристаю к тебе?

— Ты можешь не хитрить?

Она сказала, что не хитрит, что мы могли бы не ссориться, ведь не виделись три дня, она понимает, что на душе у меня кошки скребут, она все понимает, и думает всегда обо мне, и, может быть, это мне помогает...

Она врала и не врала. Как ловко в женском сердце могут сочетаться искренность и хитрость, думал я. Вечное спокойствие и безумная, отвратительная внутренняя суета. Потом им легче, красивым бабам, думал я, они смерти не боятся и не думают о ней никогда, они лишь старости боятся. Глупые, они старости боятся.

Еще я думал, пока она сочувствовала мне, что не следует мне снова входить в ее мир, не хватит меня на это, в голове у меня одна суета, не до приключений мне сейчас и не до романтики, как я хочу спокойствия, а спокойным за целый день я был только среди фанерных чудищ «Мира фантазии».

— Милый,— говорила мне «красивая тетя»,— я понимаю, что это унизительно, но наберись мужества и позвони ему. Ты должен выяснить все до конца, и, если даже будет хуже, все-таки будет лучше, уверяю тебя.

Она подняла свою руку и приложила ладонь этой руки к моей щеке. Погладила.

В это время между нами втерся Кит. Он дергал за рукав «красивую тетю»:

— Эй, возьми свой зонтик и не трогай папку. Это мой папка, а не твой.

Мы расстались с «красивой тетей» и пошли домой. Несколько секунд у нас в ушах еще стоял ее чуть-чуть фальшивый, деланно добродушный, может быть горький, смех.

По дороге мы остановились у ворот автобазы. Огромные автобусы въезжали в ворота, и средних размеров, и микроавтобусы.

— Автобус-папа, автобус-мама, автобус-детка,— сказал Кит и засмеялся.

Итак, мы вернулись домой. Пока Кит ужинал и рассказывал маме о прогулке, я слонялся по комнате, поглядывая на телефон, и так волновался, что прямо сил не было никаких.

Я ненавижу этот аппарат. Просто поражаюсь, как может жена часами разговаривать по телефону со своими подругами, как она может устанавливать душевную близость с людьми при помощи телефона. Может быть, нежность ее к своим подругам переносится на телефонную трубку и именно к ней она испытывает в эти часы нежность и привязанность?

Я массу времени теряю из-за того, что не люблю разговаривать по телефону. Вместо того чтобы снять трубочку и «брякнуть», я еду через весь город, теряю время и деньги. Может быть, это оттого, что я стремлюсь к

реальной жизни, а когда слышишь голос в трубке, кажется, что это выдуманно, все выдуманно, все не по-настоящему.

Может быть, и сейчас так сделать? Может быть, не звонить сегодня, а завтра поехать к нему и поговорить, глядя ему в лицо. Глядя ему в лицо, я смогу мимикой, еле заметной тонкой мимикой показать ему, что я не так-то прост, что меня не так-то просто унижить, дать понять ему, что я не размазня, а мужчина, что мой визит — это тоже акт мужества, а на него мне чихать. Разговор по телефону дает ему огромное преимущество, для меня такой разговор все равно что разговор со сверхъестественной силой.

Телефон зазвонил. Задребезжала, гадина! Я снял трубку и услышал голос дружка своего Стасика.

— Я на тебя обижен, ты на меня обижен, я свинья, ты свинья,— лепетал Стасик.

Когда закончилась увертюра, я спросил, зачем он звонит.

— А затем, чтобы сказать: не будь дураком и немедленно позвони этому деятелю. Ты же знаешь, как много от него зависит. Я видел сегодня Войновского, а тот встречал Овсянникова, который вчера говорил с Садовниковым, они все считают, что ты должен это сделать. Сейчас я позвоню Овсянникову, а тот попытается связаться с Садовниковым, а Садовников позвонит тебе. Ты не знаешь телефона Войновского?

Я положил трубку. Рычажки гадко щелкнули. В течение пятнадцати минут, сидя у молчавшего аппарата, я почти физически чувствовал телефонную возню, поднятую моими друзьями, представлял, как слова, гладкие, словно мыши, юркают в кабели и скользят по ним встречными потоками.

Потом позвонил Садовников, обещая связаться немедленно с Овсянниковым, который даст ему телефон Стасика, а Стасик поможет ему соединиться с Войновским.

— Дозвонился? — спросила, входя в комнату, жена.

— Никто не подходит,— солгал я.

— Понятно. Ты просто безответственный человек.

Она ушла. Я был в полной растерянности и смяте-

нии, когда вошел улыбающийся Кит со своими книжками в руках.

— Давай почитаем, Толя?

Здесь были сочинения Маршака, Якова Акима, Евгения Рейна, Генриха Самгира, а также разные народные сказки. Мы взялись за сказки. Кит привалился ко мне и внимательно слушал, в напряженные минуты теребя мое ухо.

Индийскую сказку о слоненке он отверг. Когда мы дошли до того места, где слоненка за хобот ухватил крокодил, он закричал, выхватил книжку и швырнул ее на пол.

— Неправда! — он даже покраснел. — Этого не было! Это плохая сказка!

— Послушай, Кит, — сказал я, — сказка хорошая. Она хорошо кончается.

— Нет! Нет! Она злая! Читай вот эту!

Он вытащил из кучи «Волка и семерых козлят». Господи, подумал я, ведь здесь тоже описаны драматические события, страшный акт съедения маленьких козлят, и, хотя все кончается хорошо, как я это прочту Киту, маленькому лакировщику действительности?

Кит тем временем переворачивал страницы и разглядывал картинки.

— Вот коза-мама, — говорит он, — несет молоко. Вот козлята-детки играют.

Милая идиллия развертывалась перед нами, и это радовало Кита. Наивный, он не знал законов драматургии и спокойно открыл следующую страницу, где зверски намалеванный волк тащил в свою страшную пасть маленького козленка. Я замер.

— А вот козленок-папа, — сказал Кит, показывая на волка, — он играет с деткой.

Самым спокойным образом он организовал козльную семью.

— Кит, ты ошибаешься, — осторожно сказал я, — это не козленок-папа, а гадкий серый волк. Он собирается проглотить козленка, но все кончается хорошо, волк будет наказан. Это драматургия, мой маленький Кит.

— Нет! — закричал он и чуть не заплакал. — Это не

волк! Это — козленок-папа! Он играет! Ты ничего не понимаешь, Толя!

— Да, я ошибся,— торопливо сказал я.— Ты прав. Это козленок-папа.

— Ванюша, пойдём спать,— позвала его мать, и он ушел, забрав с собой в свои тихие сны семью небесных медведей, семейку автобусов и семью козлят, зонтик «красивой тети», добрых чудищ «Мира фантазии», мою кепку, которая, конечно, ночью вырастет до размеров самолета и в которой он полетит на Северный полюс, в царство добрых зверей.

Уложив его, жена вернулась и села в кресло напротив меня. Мы закурили. Обычно это были хорошие минуты, когда мы вместе курили в конце дня, но сейчас мы курили плохо.

— Что за тетя, о которой рассказывал Иван? — спросила жена.

— Это из главка, консультант по правовым вопросам.

— Так,— сказала она.— Что же ты намерен теперь делать?

— Не знаю.

— Что вообще теперь будет?

— Не знаю.

— Так,— сказала она.

— Господи, скорей бы зима! — вырвалось у меня.

— Зачем тебе зима?

— Зимой ведь у меня отпуск. Поеду кататься на лыжах.

— Конечно,— язвительно сказала она.— Ведь ты прекрасный лыжник.

— Перестань.

— Нет, правда. Ведь ты же первоклассный лыжник. Все это знают.

Она чуть прикусила губы, чтобы не расплакаться. Тогда я придвинул телефон и одним махом набрал этот проклятый номер.

Пока в трубке звучали длинные редкие гудки, я представлял, как он сейчас сбрасывает свои ноги с тахты и медленно идет к телефону, читая на ходу какую-нибудь из своих книг. Может быть, он потирает спину

или зад, может быть, думает, кто же это звонит, наверное тот жалкий тип со своими идиотскими просьбами. Вот он снимает трубку.

Он говорил со мной тихо и доверительно.

— Послушайте, мне передавали, что вы не решаетесь мне звонить. Я давно жду вашего звонка. Право, что за церемонии и опасения? Видимо, это вызвано недоразумением. В последнюю нашу встречу мне показалось, что вы неправильно поняли меня. Я думаю, что все решится положительно. Спите спокойно. Я всей душой с вами и каждым ее фибром и каждым своим нервом, сердцем, печенью и селезенкой, моим достоинством и честью, верностью, искренностью и любовью, всем святым, что есть у человечества, идеалами всех поколений, земной осью, солнечной системой, мудростью моих любимых писателей и философов, историей, географией и ботаникой, красным солнцем, синим морем, тридевятым царством я клянусь быть верным вашим слугой, оруженосцем и пажем.

Обливаясь потом, я повесил трубку.

— Вот видишь,— сказала мне жена,— как все просто и не страшно. Стоит только захотеть и..— Она улыбнулась мне.

Я встал, отправился в ванную, умылся, потом зашел в спальню и посмотрел на Кита. Он спал, как маленький богатырь, раскинув руки и ноги. Младенческие перетяжки еще не окончательно исчезли у него, они были обозначены на запястьях, на пухлых его лапах. Он хитровато улыбнулся во сне, видимо совершая в этот момент разные смешные и милые перестановки в своем царстве.

Когда я смотрю на него, я наполняюсь радостью, светом и добром. Мне хочется выпить за счастливую жизнь семерых козлят.

МЕСТНЫЙ ХУЛИГАН АБРАМА- ШВИЛИ

1

Почти всегда Георгий ночевал прямо на пляже под тентом. Сразу после танцев, проводив ту или иную даму, он шел на пляж, проверял замки на своих лодках, а потом затаскивал под тент какой-нибудь лежак и растягивался на нем, блаженно и медленно погружался в дремоту.

Несколько секунд, отделявших его от сна, заполнялись солнечными искрами, плеском воды, смехом, стуком шариков пинг-понга, писком карманных радиоприемников, голосами Анкары и Салоник, шарканьем подошв на цементе...

— Георгий? Ты спишь, Георгий?

Иногда к нему под тент приходили отдыхающие. Тогда он садился на лежаке и делал зверское лицо.

— Уходи отсюда, ненормальная женщина! — говорил он. — Раз-два-три, чтобы я тебя не видел. Раз-два-три, нарушение режима!

И отдыхающие уходили, унося с собой как самое нежное воспоминание его грубый юношеский голос, вид его корпуса, облитого лунным светом, как самое тре-

петное и романтическое воплощение дней, проведенных на юге.

Утром его точно подбрасывала какая-то пружина, он вскакивал, длинными прыжками пересекал полосу холодной гальки, сильно бросался в воду, рассекал ее долго и стремительно, выныривал и переходил на баттерфляй, потом снова нырял и уже далеко от берега ложился на спину, глядя, как над хребтом поднимается огненный лоб солнца.

Этот горящий, полыхающий, саднящий глаза лоб солнца, и чистое небо, и маленькая точка утреннего вертолета из Гагры — все это обещало еще один день в цепи однообразного, пышного, бездумного, утомительного счастья. А для тех, кто, зевая, выходил на балконы дома отдыха, коричневая фигура, бегущая от воды, фигура с втянутым животом и мощной грудью, с длинными летящими ногами, фигура матроса спасательной лодки Георгия Абрамашвили, была первой приметой этого дня.

Не вытираясь — да полотенца не было и в помине — он натягивал на себя истертые джинсы тбилисского производства, повязывал на шее платок, подаренный одной немкой, всовывал ноги в сандалии и отправлялся на кухню. Там была повариха русская женщина Шура, которая кормила Георгия.

— Ешь, Жорик, рубай, — говорила она, смахивая слезы, и ставила перед ним полную тарелку и отдельно на блюдечке три куска сахара и двадцать пять граммов масла.

— Шура, он пришел? — спрашивал Георгий, погружаясь в еду.

— Пришел. Принесла его нелегкая, — кивала Шура в окно.

Значит, там под окном уже сидел ее муж: она была замужем за греком, пьяницей и дурнем. Обычно грек весь день сидел под окном кухни, питался, а к вечеру пропадал и колобродил всю ночь, где — неизвестно. Шура вечно была заревана, честила своего грека, но, если утром его не оказывалось под окном, она горько бедовала, то и дело застывая, подпирая скрещенными руками свои тяжелые, распаренные груди.

— Пришел, бестия! — вздыхала она. — Ох, неизвестная нация!

— Какая нация, Шура?! — вскрикивал грек, и в окне появлялась его сияющая физиономия с оплывшими щечками. — Какая нация?

— Сам знаешь, какая у тебя нация, — ворчала Шура, отворачиваясь от окна.

— Моя нация — шатлан! — куражился за окном грек.

— Ох-ох, — качалась, уперев руки в бока, Шура, глядя на него и словно издеваясь, а на самом деле не в силах сдерживать любви. — Выпил, да? Выпил, да?

— Выпил, Шура! За твое здоровье выпил!

— Ох-ох, ишь ты, герой! Герой — штаны с дырой!

— Дай поесть, Шура! — кричал грек и прятался на всякий случай.

Шура ставила на подоконник тарелку.

— Дай пятьдесят копеек, Шура! — кричал грек, хватая тарелку.

Шура замахивалась полотенцем, и муж ее скрывался надолго. Шура тогда подсаживалась к Георгию и невидящими глазами смотрела, как он ест.

— Сколько тебе лет, Шура? — спрашивал Георгий.

— Сороковка подходит, Жорик, — отвечала Шура, — а сама-то я воронежская, да ты знаешь.

— Старовата немного, Шура, — говорил он.

— То-то оно и есть, — вздыхала повариха и вдруг как-то воспламенялась и выпрямлялась. — Знаешь, какая я была? В санитарном поезде я служила! Знаешь, девочка какая была — сапожки, ножки, талья вот такая, коса вот такая... Врачи за мной бегали с высшим образованием и в чинах, стихи мне писали...

— Шурочка! Ходы-ы сюда на закладку! — кричал шеф-повар, и она вставала.

— Покажу тебе как-нибудь карточку, Жорик. Влюбисься.

Георгию было жалко Шуру: второй сезон она его питала. Он думал о том, что, если бы он родился пораньше и там, на войне, встретил бы ту самую Шуру, лихую девчонку с санитарного поезда, он бы тогда полюбил ее и жизнь ее сложилась бы тогда иначе.

Качая головой и вытирая свои ранние усики, он вы-

ходил из кухни и шел к месту своей работы — к Черному морю.

— Гоги! — кричал ему какой-нибудь пинг-понгист. — Дашь пять очков форы, сделаю тебя!

— Не смейся меня, дорогой, — отвечал Георгий. — Десять очков получишь и проиграешь.

Он был одновременно королем пляжа и шутком; он ходил на руках и позировал перед кинокамерами, демонстрировал падения в волейболе; со всех сторон к нему несло его имя, ответственные работники старались быть с ним по-свойски; полдня он проводил в воде и слыл «Ихтиандром», морским дьяволом, дельфином; и впрямь, ему иногда казалось, что он возник где-то на большой глубине, в темных расселинах между скал. За свою работу он получал 40 рублей в месяц плюс питание; не густо, конечно, но жизнь эта его устраивала — в плеске, в шуме, в свисте, в музыке, покрываясь немислимым загаром, он ждал призыва в армию; мускулы его росли.

Он следил за тем, чтобы не заплывали за боны, и в тот день, когда возле ялика появились две головы в голубых шапочках, он встал во весь рост и заорал:

— Назад, ненормальные женщины! Раз-два-три, нарушение режима! Раз-два-три, докладную подам!

Два смеющихся свала прыгали возле ялика, и в воде слабо колебались белые тела.

— Посмотри, Алина, какая анатомия? Какой эллиптический тип! Ты видела что-нибудь подобное?

— Я ничего не вижу без очков, ах, я ничего не вижу!

Георгий шуганул их веслом. Голубые шапочки повернули назад.

Очкастую девицу он заметил уже на пляже. Узнать ее было нелегко после той встречи в море. Она стояла возле самой воды, вытянувшись и подставив лицо солнцу. Она была высока, а рыжие волосы ее, густые и длинные, падали на спину. На ней почти ничего не было, только две узкие полоски материи на груди и на бедрах. Да, и кроме того очки. Иногда она их снимала каким-то удивительным движением — поднималась тонкая рука, поворачивалось чистое лицо с закрытыми глазами, вздрагивала рыжая грива.

Рядом с Георгием отдыхающая показала на очкастую.
— Как вам нравится? Голые скоро будут ходить,— сказала она.

— Лично я не возражаю,— с некоторым похабством и отпускным легкомыслием хохотнул отдыхающий, который у себя дома, должно быть, карал дочь и ее подруг за малейшее легкомыслие в туалете.

Георгий взял в руки мяч и, крутя его на одном пальце, независимо прошел мимо девицы. Она была в этот миг без очков и не заметила ни вертящегося на его пальце мяча, ни его самого.

Гоги сделал стойку и пошел на руках. Никто на пляже не удивился— все привыкли к таким его выходкам, к брожению его молодой силы, и сам он ни на секунду не думал о нарочитости своих действий, просто потянуло его встать на руки, и он пошел на них. Он шел на руках и смотрел назад, на грубое каменистое небо, а может быть, это было и не небо, а выгнутый бок земли, нависший над голубым простором вселенной, и по нему, по этому боку, вниз головой шествовала девушка, удалялись длинные голени. Девушка почему-то не срывалась в синюю пустоту, а шла, помахивая вялыми красивыми руками.

У Георгия потемнело в глазах, и он сел на гальку. Что-то плакать ему захотелось, и он пощипал себя за уски.

— Гоги! Миленький! — позвала знакомая дама, и он вскочил, словно молодой услужливый лев; плакать ему расхотелось.

Потом он увидел, что очкастая его рисует. Она сидела на надувном матрасике, в обществе своей подружки и очень коротко стриженного молодого человека и рисовала в большом альбоме, выглядывая то и дело из-за него, очки ее то и дело вспыхивали на солнце. Гоги как раз играл с дамой в бадминтон. Волан взлетал очень высоко и пропадал в солнечном свете, и дама, колыхая руками, бежала к предполагаемому месту его падения. Гоги вспомнил, как дедушка его осудил эту игру.

— Вот еще новости,— сказал дедушка,— пробкой от шампанского вздумали играть. Нехорошая игра.

Игра эта и Гоги казалась тупой и вялой, не то что

пинг-понг, и играл он в нее с дамами только из чистой любезности. А в пинг-понг он играл, словно шашкой рубил — справа, слева, и защищался, как воин.

Очки перестали поблескивать из-за альбома, склонилась рыжая голова. Георгий бросил играть, зашел сзади и заглянул в альбом. Там он увидел себя, но только в странном каком-то виде — будто бы он был сердит, будто в гневе поднял над головой не ракетку, а камень или пращу.

— Нравится вам ваш портрет? — спросила очкастая, не оборачиваясь, словно спиной почувствовав, что он стоит сзади.

Друзья ее обернулись и посмотрели на него.

— Почему ноги такие длинные? — спросил Георгий. — Разве у меня такие ноги?

— Элементарная стилизация, — заносчиво сказал глупый молодой человек.

Девицы переглянулись и засмеялись.

Георгий вскочил в ярости. Ему показалось, что это над ним засмеялись белокожие женщины, приехавшие с севера, туманной громадой висевшего над узкой полоской его жаркой земли. Нежные и вялые женщины, с папиросами в длинных пальцах... В гневе и обиде он зашагал прочь.

2

В неделю раз он ночевал на горе, у дедушки и бабушки, в маленьком и хилом их домике — 600 метров над уровнем моря. Терраса поскрипывала под его сильным телом, когда он поворачивался на кошке. Лунный свет заливал террасу, мешки с айвой и горку дынь, бочонки и ящики, бутылки разных размеров и рыцарскую утварь деда — бурдюк, огромный рог, охотничье старое ружье.

За стеной стонал дедушка, его мучили боли в затылке, под террасой топотали бабушкины козлята, сама же бабушка Нателла спала тихо, словно девушка, — ее не было слышно.

Георгий приходил сюда каждую неделю с субботы

на воскресенье. Утром в воскресенье он отвозил вниз на базар бабушкины фрукты, продавал их там, поднимался на гору, отдавал Нателле выручку и снова устремлялся вниз, торопясь на танцы или в кино. Здешний верхний быт ничуть не был похож на быт нижний, шумный и праздничный. Здесь Георгия встречали бабушкины хлопоты, топот козлят, то нарастающие, то стихающие, но никогда не прекращающиеся стоны деда и скрип колодезного ворота, и тихий преданный взгляд горной овчарки, запах помета и сырого подземелья, лопата и мотыга и огромный желтый подъем горы, где на отшибе от поселения стоял домик греческого семейства и где бегала с оравой своих сестричек четырнадцатилетняя девочка, тонкая и долгоногая, давно выросшая из школьного платья.

Ночью Георгий лежал на животе, подперев кулаками голову, и смотрел вниз на море, по которому светящейся игрушкой полз пассажирский теплоход.

Он думал о теплоходе, на котором когда-нибудь он будет матросом, а художница сидела бы на палубе с альбомом; кроме того, он должен попробовать свои силы в спортивном плавании, ведь он еще ни разу не плавал под хронометр,— может быть, он покрыл уже все мировые рекорды,— а художница сидела бы на трибуне водного стадиона; кроме того, у него еще никогда не было костюма и он не носил галстука, но когда-нибудь он сошьет себе пиджак с двумя разрезами, как у Левана Торадзе, и поедет в Москву, а художница встретила бы его на улице Горького; кроме того, о том, что скоро уже придет осень, и его призовут в армию и отвезут на север, и он увидит большие русские города и в армии продолжит учебу, а может быть, он станет летчиком, а художница подняла бы голову и увидела бы в небе белый след от его самолета и подумала бы... ах, как обидела его эта художница!

Утром Нателла разбудила Георгия, дала ему лоби, сыр, кувшин маджари и принялась укладывать в чемоданы крупные свои мандарины, крупные и ровные, один к одному.

Дедушка уже сидел на сундуке, подобрав ноги в галошах и длинных коричневых носках, в которые были

заправлены старые бостоновые брюки. Он стонал и презрительно наблюдал за сборами на базар.

— Э,— сказал он,— молодежь! Э, э, ну и молодежь пошла,— два чемодана мандаринов на базар везут. Я, когда молодой был, в Астрахани полвагона продал, а во Львове целый вагон продал. Э!

Глаза его, напряженные и тупо страдальческие, на миг сверкнули далеким и темным рыцарским огнем, но тут же он снова застонал, покачиваясь и отключаясь от этих хлопот.

— Продай быстрее, внучек,— сказала Нателла,— не дорожись. Продай быстрее и беги по своим делам.

Георгий кивнул, вывел из сарая старого дедовского коня, ржавый велосипед, перекинул через раму связанные деревянные чемоданы. Он двинулся вниз по каменистой колкой тропе, с трудом сдерживая вихлянье велосипеда.

Солнце уже встало за спиной, и в море вонзилась тысяча огненных спиц, и утренний вертолет из Гагры, похожий отсюда на крохотную стрекозу, уже нацеливался на свою посадочную площадку.

Вместе с Георгием в этот час по тропам вниз спешили на базар представители грузинских, армянских и греческих горных семейств. Вскоре Георгий догнал Мишу Габуня, шофера санатория имени Первой пятилетки, который, так же как и он, поднимался раз в неделю на гору в помощь своим старикам. Вдвоем они добрались до базара, взяли весы, заняли места за прилавком, выставили свой товар и написали объявления.

Миша написал: «Мандарины самые лучшие. Цена 1 кг — 1 р. 40 к. Можно и за 1 р. 20 коп.»

Георгий написал: «1 р. 20 коп., бэз разговоров».

Все это, разумеется, было тонкой игрой, призванной привлечь смешливых покупателей, и «э» Георгий написал лишь для этой же цели, для колорита.

Парни прекрасно подходили друг к другу — красавец Георгий и маленький шутник Габуня с быстрыми горячими глазами. Вокруг них толпились дамочки, торговля шла бойкая, Миша сыпал «колоритными» шуточками.

Базар шумел, У входа, заложив руки за спину, стоял

огромный и толстый директор в хорошо отглаженном голубом костюме и плоской кепке. Рядом стояли представители местной дружины во главе с Авессаломом Илларионовичем Черчековым, наблюдали за порядком. Дальше в два ряда сидели торговцы живностью. Розовые поросята, тоненько визжа, дергали свои веревочки, пытаясь разбежаться во все концы этого мира, оглушившего их младенчество. Куры гроздьями висели вниз головой, иногда прикрывая налитые кровью глаза. На мягком асфальте лежали в предсмертной апатии два связанных за лапки петуха. Временами, словно вспомнив старые счеты, они вскакивали и начинали бешеный неуклюжий бой, потом в изнеможении падали, распластывались, зарывали клювы и гребни в зеленые и красные свои перья. Сидели здесь горцы с ягнятами на шее, поджав худые ноги в носках и галошах, и темные старухи с деревянными лицами, и младшее поколение в ковбойках. А дальше шли ряды с булыжниками груш, с баррикадами баклажанов, с пирамидами апельсинов; а еще дальше — кепочные мастерские, где шла тайная и ловкая купля-продажа разных пустяков; потом сидели умельцы, производящие по трафаретам клеенчатые коврики с волоокими княгинями и зубчатыми башнями. В толпе бродил на деревянной ноге лукавый старичок с птицей попугаем на плече. Для удобства вещая птица делила все человечество на русских и армян. Русским она вытаскивала из банки белые билетки, армянам — розовые. Старичок тут был, понятно, ни при чем.

Художница Алина развернула белый билетик и прочла:

— «Попутная дорога обещает бесчисленные наслаждения на основе взаимной привязанности, счастья, любви».

Молодые люди, а их уже стало трое вокруг Алины и ее подруги Насти, расхохотались и принялись острить. Повод, конечно, для острот был завидный.

— Алина, смотри — там наш Гоги! — сказала наперсница Настя.

— Верно! — весело воскликнула Алина.

Компания повалила к фруктовым рядам.

— Гагемарджос, кацо! Почем мандарины, генацва-

ле? — кавалеры наперебой защеголяли своим умением обращаться с местными людьми.

Георгий твердо смотрел на художницу. Она склонилась к мандаринам. Сарафан ее еле прикрывал белую грудь.

— Здравствуйте, Гоги! — она протянула ему руку. — Вы напрасно обиделись. Мы не над вами смеялись.

Глаза ее за толстыми стеклами расширились, и зубы вспыхнули в улыбке.

— Я хочу подарить вам ваш портрет.

Она вынула из сумки альбом, вырвала лист и протянула Георгию. Потом она пошла от прилавка, часто оглядываясь. Георгий остался с портретом в руках.

— Георгий, дорогой, подари мне эту девочку на день рождения, — попросил Габуня громко, чтобы художница слышала. Был он скромным семьянином, этот Габуня, а подобные шуточки отпускал опять же только для колорита.

— Вот это парень, — сказала Настя, — просто бог.

— Сколько ему лет, как ты думаешь? — спросила Алина.

— Лет двадцать пять. Вот уж, наверно, любовник!

— Да уж воображаю. Может быть, проверить?

— Попробуй. Он на тебя глаз положил.

— Ты сгорела, Настя.

— Это ты сгорела, а я загорела.

— Еще бы, ты ведь мажешься этим маслом.

— Что это вы шепчетесь? — бросились к ним кавалеры.

Кавалеры, лукавые бандиты, изворотливые, как ящерицы, угодники, похотливые козлы и ослы, прочь! — в разные стороны! — врассыпную! — прочь от нее! — под горячим кинжальным взглядом Георгия Абрамашвили.

3

Под щелканье длинных лихих ножниц падали на салфетку, на плечи и на пол черные космы морского бога Абрамашвили. Жужжал вентилятор, жужжали мухи, пахло крепко и противно одеколоном. Георгий стригся под «канадку».

— На нет или скобочкой? — спросил мастер.

Скобочку пожелал Георгий, и шея стала прямой и высокой, как колонны «Первой пятилетки».

Георгий вышел на улицу. Был он в этот вечер в нейлоновой итальянской рубашке, польских брюках и западногерманских ботинках, которые прислал ему из Москвы двоюродный брат,—словом, в полном параде.

— Эй, Гоги, куда собрался? — крикнули ему от стоянки такси Леван Торадзе и вся компания. Леван с компанией обычно после обеда занимал свой пост на главном перекрестке городка. Стояли они, облокотившись на головное такси, крутили в пальцах брелоки, разговаривали друг с другом и с шофером. Когда пассажир занимал машину, подъезжала следующая, и друзья облакачивались на нее. Если же машины на стоянке все кончались, компания тогда переходила через улицу и начинала стоять возле чистильщика. Так стояли они ежедневно до темноты, а потом отправлялись на турбазу, на танцы, и начинали там стоять.

— Пойдем с нами на турбазу,— сказал Леван, когда Гоги подошел и со всеми перездоровался,— там знаешь какие девочки, не то что ваши старухи.

— Нет, я к себе пойду,— сказал Георгий.

— Георгию старухи нравятся,— засмеялся кто-то из компании.

— Пойдем, Гоги, выпей с нами вина,— сказал Леван и улыбнулся.

— Нет, я лучше так пойду,— сказал Георгий и тоже улыбнулся.

— Гоги вина еще и не пробовал,— подсмеивалась компания.

Он попрощался со всеми за руку и, широко вышагивая, в легких ботинках, чуть откинув назад корпус, направился в платановый тоннель, в конце которого за забором уже зажигались лампочки над танцплощадкой.

— Эй, Абрамашвили, стой! — остановила его народная дружина.

Авессалом Илларионович Черчеков был строг.

— Почему не пришел на дежурство? Почему? — спросил он.

— Почему? — счастливо улыбаясь и глядя на близкие уже лампочки, переспросил Георгий. — Почему я не пришел?

— Тебе оказали доверие, выдвинули в дружину, а ты не пришел, — удивленно поднял Черчеков густые брови. — Как это понять?

— Я приду, обязательно приду! — воскликнул Георгий и поплыл, полетел дальше.

— Смотри! — вслед ему крикнул Черчеков.

4

— Что ты, Алина, ты с ума сошла? Посмотри, сколько пришло знакомых, будет скандал, или ты скандала хочешь? Откажи ему теперь, сумасшедшая!

— Какой бес вселился в нее?

— Разошлась Алина!

— А красавчик грузин!

— Не приглашай его хотя бы на дамский, подожди, позор, ей-богу! Шутки шутками, но зачем тебе это надо, дурацкие шутки, ведь это даже банально, не ходи, ты с ума сошла!

— Я встречал ее в Москве. Говорят — стерва.

— Брось, отличная девка и талантливая.

— Ее муж...

— Ты хочешь, чтобы я ушла? Я — уйду! Алинка, ну хватит, похохмили, и довольно, нас зовут... может быть, ты хочешь?.. Знаешь, давай поговорим серьезно...

— Парень здесь увеселяет дам.

— Может, поговорить с ним по-мужски?

— Не связывайся. Налетят с ножами.

Алина с ума сошла и сняла уже очки, чтобы ничего отчетливо не видеть, чтоб все предметы чуть-чуть расплылись и даже его лицо, но пальцы ее тонкие точно ощущали весь рельеф спины молодого разбойника, услужливого Дон-Жуана, и ноздри улавливали запах моря сквозь запах «Шипра», уйдем, давай уйдем. Алина сошла с ума.

Волны молча шли в темноте, а потом шипящей белой лавой покрывали всю гальку и хлопались о парашет, и Алина с Гоги, стоящие у подножия парашета, были мокры с головы до ног.

— Что же делать, Гоги? — спросила она.

— Не знаю,— пробормотал он, дрожа, не выпуская ее из рук.

— Ты замерз, что ли?

— Не знаю, ничего не знаю.

— Подожди, подожди, ты очки мои разобьешь... Слушай, ты знаешь наш корпус, в ста метрах отсюда над самым парашетом? Крайний балкон на втором этаже... Сможешь влезть?

— Конечно!

— Пусти, я побегу и буду тебя ждать.

По стене на второй этаж, какие пустяки, не так ли когда-то поднимался Тариель в доспехах и с оружием, а ему, мокрому и гладкому, как дельфин, гибкому, как обезьяна, сильному, как барс, влюбленному, как Тариель, по стене на второй этаж — это пустяки!

На балконе ему стало страшно. Он тронул дверь ногой, она скрипнула. Он замер, но дверь заскрипела еще сильнее и отворилась, и за ней в темноте стояла Алина, она была без платья, и тут ему стало так страшно, как никогда не было страшно в жизни.

— Иди, Гоги,— сдавленно прошептала она,— я Настю прогнала.

Он лежал, уткнувшись лицом в подушку, и одним глазом тайно наблюдал за ней. Она долго была неподвижной, потом зашевелилась, взяла с тумбочки сигареты, щелкнула зажигалкой, огонь осветил ее шею, подбородок, губы, чуть вислый кончик носа...

— Да-а, вот уж не ожидала,— вяло проговорила она и вяло помахала в темноте огоньком сигареты.— Сколько тебе лет? — спросила она, нагибаясь к нему.

— Восемнадцать,— прошептал он.

— Мда-а,— она засмеялась и погладила его по голове.— Это я над собой смеюсь. Хочешь закурить?— спросила она.

Он взял сигарету и сел на кровати.

— Первая сигарета, понимаешь,— сказал он.

— Ну и денек у тебя выдался,— ласково сказала она,— первая сигарета, первая женщина.

За панбархатом, за кисеей очень близко шумел прибор, как будто там шла тяжелая стирка.

— Иди, Георгий, вниз,— сказала она,— сейчас Настя придет. Иди,— она поцеловала его,— не расстраивайся. Все еще впереди.

Он сполз по стене вниз и уселся на край парапета. Вдали в черноте стояло судно, очертаний его видно не было, только светились желтые огни, как будто стоял там стол со свечами, накрытый к ужину.

«Почему я должен расстраиваться, когда такое счастье, понимаешь»,— думал Георгий.

7

На турбазе был вечер отдыха: шутили культурники-затейники, грохотал барабанный джаз, когда с четырех разных концов подошли к танцплощадке компания москвичей с Алиной в центре, Леван со своими друзьями, городская дружина во главе с Черчковым и одинокий Абрамашвили.

Георгий издали увидел Алину. Она была очень хороша, и он гордо подбоченился возле колонны и послал к ней гордый и счастливый свой взгляд.

— Нехорошо получается, Абрамашвили,— сказал подходя Черчков, — опять ты не пришел в штаб. Как это понимать?

И снова удивленно поднялись его густые брови.

— Отстань, Авессалом Илларионович,— сказал Георгий, глядя на Алину,— отойди, дорогой.

— Хулиганишь, Абрамашвили?— удивился Черчков и зафиксировал уже утвердительно: — Хулиганишь.

Компания Алины сильно разрослась за истекший день — кроме Насти были уже здесь и другие женщины, а также появились крепко сколоченные мужчины лет

тридцати пяти, уверенно оттеснившие на задний план троицу легкомысленных молодых людей.

Алина наконец заметила Георгия и еле заметно кивнула ему, чуть нахмурилась и тут же отвернулась к мужчине, что стоял рядом, широко расставив ноги в голубых джинсах, расправив плечи в полосатой рубашке, подтянув начинающий тяжелеть живот.

Улыбку Алины и знак ее бровей Георгий воспринял как выражение общей тайны, близости, ласки.

На самом же деле Алина смеялась над собой и над ним, над своим дурацким приключением накануне неожиданного приезда мужа, смеялась, вспоминая неумелые мальчишеские ласки Георгия и подавляя невесть откуда взявшуюся горечь. Женщина она была неглупая и добрая, способная художница, в общем-то весьма рассудительная, но в их кругу почему-то за ней утвердилась слава «неожиданной» женщины, и она иногда выкидывала «неожиданные» номера, возьмет да уедет вдруг ни с того ни с сего в какой-нибудь город или вот сделает то, что вчера, но впрочем, может быть, она действительно была неожиданной женщиной, как и все остальные, впрочем, женщины.

— Хелло, друг,— сказал подходя Леван,— посмотри, какую я заметил женщину. Великолепная женщина. Он показал на Алину.

— Это моя женщина,— сказал Георгий, и от счастья и гордости все струны в нем натянулись и загудели.— Не смотри на нее, Леван. Любовь, понимаешь.

— Понятно, Гоги,— сказал Леван и скрестил руки на груди.— Друзья одной помадой губ не мажут.

Он был доволен, что высказал один из параграфов своего курортного рыцарского кодекса.

Георгий зашагал к Алине, чуть-чуть, вежливо взяв за талию, подвинул мужчину и поклонился ей.

— Ого! — сказал мужчина, взглянув на него.— Горный орел!

Алина танцевала ловко и красиво, но, конечно, не так, как тогда она танцевала. Георгий встревожился, глядя ей в очки и пытаясь уловить выражение глаз. Увы, очки отсвечивали, лишь иногда мелькали в них зрачки, но понять что-нибудь было невозможно.

— Алина, давай уйдем,— шепнул он, как она шептала ему тогда.

— Приехал мой муж,— усмехнулась она,— и поэтому... ты же понимаешь... и вообще не будем вспоминать и...

— Давай уйдем,— шепнул он, не вслушиваясь в ее слова, а только чувствуя течение речи.

— Муж приехал,— с маленьким раздражением произнесла она,— мой законный муж, серьезный человек.

— Какой муж, что ты говоришь? — в ужасе и смутении забормотал он.— Глупости говоришь, дорогая...

Они танцевали в центре площадки, а вокруг бушевал вечер отдыха, и под крик и визг культурников танцующие очищали место действия то ли для бега в мешках, то ли для ловли призов с завязанными глазами. Они остались одни. Музыка смолкла. К ним уже бежали культурники, а Гоги все не отпускал Алину.

— Пусти немедленно,— зло прошептала она.— Мальчишка, дурак, пусти!

На шее у нее вздулись вены.

— Я твой муж! — закричал вдруг Георгий.— Я тебя увезу! Я тебя спрячу! Я не отдам...

Происходило что-то дикое и нелепое. Их окружили культурники, еще какие-то люди. Все кричали:

— Позор! Совсем обнаглели!

Какие-то лица мелькали перед Гоги: ощеренные лица Левана и его дружков, ее лицо без глаз, с огромными стеклами, деловые лица дружинников, возмущенные лица, ухмыляющееся, тяжелое лицо того человека, ее мужа, его тяжелая рука...

Тут произошла вспышка, похожая на длинный кустистый разряд молнии, и рассеченное время стало плавиться, оползать, зрение Гоги застил красный туман — это его военная древняя кровь хлынула в мозг, он закричал что-то, чего и не знал никогда, и он не помнил потом, что он сделал, а опомнился через секунду уже в руках двух дружинников.

Из-за плеча Черчекова вспыхнул блиц — Гоги сфотографировали.

Потом его вывели за ворота турбазы.

По вечерам на парапете сидит старик горец, шамкает что-то и за пятнадцать копеек наливает желающим маджари из автомобильной канистры. Знающие люди легонько толкают старика в плечо, подмигивают ему, словно он может в темноте увидеть это подмигивание, суют полтинники, и тогда он лезет в корзину, разворачивает тряпки, вытаскивает оплетенную бутылку и наливает знающему человеку добрый стакан чачи. Итак, в мальчишескую прекрасную жизнь Георгия бурно ворвались первая женщина, первая сигарета, первый стакан водки.

Он долго плавал в темноте, пока не попал под луч прожектора. Тогда он выбрался на берег, натянул штаны и рубашку и заснул на остывшей уже гальке.

В сатирическом окне городской дружины, которое называлось «Солнечный удар», появилась фотография Гогиной головы, к которой пририсовано было извивающееся в безобразных конвульсиях тело. Текст гласил: «Девушкам строго воспрещается танцевать с местным хулиганом Георгием Абрамашвили, 1947 г. р.»

Леван Торадзе по этому поводу высказался так:

«Разве так делают? С девушками делают совсем по-другому. Гоги — осел».

Авессалом Илларионович Черчекhov докладывал так:

«Ничего страшного не случилось. Георгию Абрамашвили мы дадим возможность исправиться. Еще раз в связи с этим хочу поднять вопрос о мерах наказания безобразных бесстыдниц, которые к нам приезжают для поправки сил здоровья. У нас молодежь южная, горячая, а они разгуливают по городу, понимаете ли, фактически без ничего, и отсюда вытекают печальные факты недоразумения. Нужно штрафовать».

Георгий сидел на самом солнцепеке над обрывом возле вагончика, в котором жила водолазная команда. Внизу под обрывом, метрах в двадцати от берега, с маленького катера опускали в море водолаза. Вот завин-

тили у него на шее шлем, толстяк какой-то хлопнул ладонью по шлему, и водолаз ушел в глубину.

Георгий сполз по обрыву вниз, поплыл и в двадцати метрах от берега нырнул.

Там, где работал водолаз, было уже чуть-чуть темновато и прохладно. На камнях качались длинные водоросли. Гоги поплавал немного вокруг водолаза, заглянул к нему в стекло, увидел смеющийся глаз молодого парня, подмигнул ему и пошел вверх.

В пронизанной солнцем воде над ним качалось днище катера, он вынырнул рядом и взялся рукой за борт.

— Ты! — сказал ему толстяк с катера. — Ну и тише! Иди к нам работать, кацо.

— Нет, — сказал Георгий. — Я скоро в армию иду. В авиацию.

Поплыл к берегу, посидел немного на берегу, оделся и пошел в парк.

В парке возле горбатого мостика, прихотливо повисшего над пересохшим ручьем, сидела повариха Шура. На газетке лежали куски пемзы разной величины.

— Здравствуй, Шура, — сказал Георгий.

— Здравствуй, Жорик, — сказала Шура, виновато как-то улыбаясь.

На голове у Шуры был выцветший платок с надписями «Рим», «Париж», «Лондон» и с видами этих столиц. Гоги сел рядом с ней и закурил.

— Вот видишь, — кивнула Шура на газету, — пемзы насобирала. Торгую. Может, наберу своему ироду на сто грамм. Вот ведь иго иноземное, а, Жорик?

— Да-а, Шура, — сказал Георгий. Ему было хорошо сидеть рядом с ней и чувствовать к ней жалость, добро.

— Что же ты не питаешься, Жорик? — спросила Шура. — Совсем не ходишь.

— Уволился, — сказал он. — Скоро в армию иду. Скоро, Шура, летчиком я стану.

— А ты все равно приходи, — сказала Шура. — Приходи, Жорик, я тебя питать буду. А сейчас закурить мне дай.

Они посидели немного молча, покуривая и глядя на аллею, которую пересекали редкие отдыхающие под зонтами.

— Вон он идет! — вдруг вырвалось у Шуры восклицание, звонкое как у девушки. В конце аллеи, волоча широкие штаны, появился ее муж. — И-идет, древний грек! — язвительно пропела Шура, а в глазах ее светилась любовь.

— Здравствуй, Шура, — смущенно хихикая, сказал грек, — торгуешь?

— Торгую! — закричала Шура. — Ради тебя тут сижусь, всему народу на позор.

— Конечно, ради меня, Шура, — заулыбался грек, протягивая уже ладонь и выворачивая большой палец. — Ведь я твой муж.

— Муж! — Шура уперла руки в бока. — Ох уж и муж. Муж объелся груш.

Георгий оставил супругов на мостике, а сам пошел вдоль ручья к ущелью. Идти было приятно — сзади жарило солнце, висевшее над морем, а в лицо дул прохладный ветер из ущелья. Желтеющие уже листья платанов важно колыхались.

На окраине, возле станции, стояли в ряд четыре палатки военно-строительного отряда. Георгий прошел мимо них, с любопытством заглядывая в глубь каждой. Там шла тихая жизнь — солдат в майке писал письмо, другой лежал на койке с книгой, третий под взглядом Георгия испуганно встрепенулся — оказывается, разглядывал в зеркало свой затылок; четвертый спал. К расположению отряда подъехал грузовик с гравием, трое солдат прыгнули в кузов и принялись сбрасывать лопатами гравий.

— Что стоишь, кацо, подсоби! — крикнул один из них, длинный и голый, в одних только трусах и сапогах.

Георгий взял лопату и прыгнул в кузов.

— Да я шучу, — сказал длинный парень.

— Ничего, — сказал Георгий, и они заработали вчетвером.

— Пошли купаться, — сказал потом длинный Георгию, напялил на себя мешковатую тропическую форму, нахлобучил зеленую панаму с вислыми полями, и они пошли вдвоем к морю.

— Житуха! — сказал парень, жмурясь на море. — Ты местный?

— Ага, местный. Я скоро тоже в армию иду.

— Советую тебе, друг,— просись в строительные отряды.

— Нет, я в авиацию. Мне вчера военком обещал.

— А-а, в авиацию,— сказал солдат, видно задумавшись о чем-то своем.— В авиацию, значит... А я так решил, дорогой кацо. Сам я москвич. Так? На «Красном пролетарии» работал. Там у меня и девчонка осталась — нормировщица. Мне в военно-строительном отряде деньги платят. Верно? Понял? А я их на сберкнижку кладу. Правильно? Вернусь с деньгами. Верно или нет? И тогда мы купим мотоцикл с коляской и будем с ней гонять по живописному Подмосковию. Ну, и вечернюю школу закончим. Правильно я говорю?

Возбужденный своими мечтами, солдат все сильнее махал руками и ногами, Георгий еле поспевал за ним.

— Правильно говоришь, солдат.

— А ты, значит, в летные войска хочешь? В аэродромное обслуживание? — заинтересовался солдат судьбой Георгия.— Тоже дело. Специальность можно хорошую приобрести.

Они уже бежали к морю, двое мальчишек с торчащими ушами.

— Я хочу...— сказал Георгий и на миг сощурился под нестерпимым блеском солнца и моря,— я хочу...

Что-то вдруг пронзило его в этот миг. Он словно услышал какой-то далекий, очень далекий, бесконечный зов и бессознательно стиснул кулаки, пытаясь понять, чего же он хочет и что это за звук, услышанный им.

Может быть, это был ветер древней Месхети, пролетевший по всем грузинским ущельям от неприступного Вардзия сюда, к юноше Абрамашвили? Чего он хочет?

Путь им пересек шлагбаум, и они остановились. Прогонел скорый поезд Сухуми — Москва.

— Гоги! Приветик, Го-о-ги! — поезд унес этот крик в тоннель.

Они побежали дальше к морю.

— Я хочу стать космонавтом! — яростно закричал Георгий.

— Тоже дело,— одобрил солдат,

Япон- ские Заметки

ГОРА

Когда сейчас при взгляде на карту мира среди крутобоких материков я вижу тоненькую цепочку японских островов, мне даже не верится, что именно на этих ярко окрашенных камешках я провел три удивительные недели, что именно на них я встретил такое множество разных людей, что японская земля в течение трех недель замыкала мой горизонт. Почему-то хочется начать этот сумбурный рассказ с описания Горы.

Мы много болтали о ней на обратном пути из Хиросимы в Токио. Неизменно все наши разговоры в конечном счете сводились к одному: увидим ли мы Гору? Она уже навязла в зубах, и шутки по ее адресу уже становились банальными. Последний взрыв остроумия возник тогда, когда администрация экспресса «Утренний ветерок» нижайше извинилась перед пассажирами за то, что из-за густой облачности им не удастся увидеть Гору.

Тут мы пошутили немного и подумали: «Ну, хватит!»

Однако мы продолжали вяло чесать языки и тогда, когда на такси поднимались из приморского курорта Атами в горный курорт Хаконе.

Желтое солнце плавало в легких неподвижных тучах, и шофер наш огорчился, и Хара огорчился, что из-за этих странных пустяковых туманностей мы не видим Гору. В конце концов была высказана надежда, что, может быть, завтра у нас это получится.

Честно говоря, я уже и не особенно хотел увидеть ее завтра. Столько было ожидания и столько было брошено на ветер слов, что я боялся разочарования. Ну, гора есть гора, а эта уж не так и высока ведь. Может быть, лучше, если она по-прежнему будет скрываться за этим таинственным желтым свечением, таинственная, недостижимая для глаз чужеземцев Гора?

Отель, в котором мы поселились в Хаконе, был огромен и пуст: зима была, не сезон. Только три старые английские дамы встретились нам утром. Печаль какая-то была в этом отеле, а в холле внизу под фотографией маститого попугая висело объявление: «Мы с прискорбием сообщаем о кончине нашего старого попугая Бимбо, которого многие наши гости хорошо знали и любили. Мы благодарим вас за привязанность к этому существу. Менеджер».

Присоединившись к скорби администрации, мы с Харой отправились играть в пинг-понг. Везде было пусто: и в баре, и в бассейне, и в спортзале. Шаги наши гулко стучали в высоких пустых коридорах. Я вообразил себе одинокую и печальную жизнь миллионера, и мне захотелось в Москву, в свою двухкомнатную квартиру или в компанию друзей, в галдящую толпу вокруг кофеварочной машины.

— Такуя, ты хотел бы один владеть этим шикарным домом? — спросил я Хару.

— Ага,— сказал он, но это не значило, что он хотел бы им владеть. Это означало, что он воспринял мой вопрос, зафиксировал его и сейчас готовит ответ.

Друг мой Такуя Хара блестяще владеет русским литературным языком, но разговорная речь для него пока несколько сложна, и ему требуется несколько секунд для ответа.

— Нет, пожалуйста, не хотел бы,— ответил он.

Ну, поиграли мы с ним в пинг-понг, потом выпили не-

много в баре, посмотрели в телевизоре ковбоев и отравились спать.

Утром всем было очень весело. Вальдемар Кристапович сильно шутил, Ирина Львовна тоже сильно шутила, я тоже сильно шутил, и очень сильно шутил Хара. Вообще мы как-то нарушали чинную тишину завтрака и, может быть, даже несколько шокировали пожилых люди. Шутили мы по поводу густой облачности, по поводу молочно-серого неба.

Мы уже забыли про эту Гору, поднимаясь ввысь в вагончике канатной дороги и наблюдая другие, более доступные горы, покрытые хвойным лесом, и наблюдая домики внизу, и переваливая один перевал за другим, и остря по поводу прочности канатов, и болтая, болтая, болтая, радуясь долгожданному отдыху, венчавшему нашу поездку по Японии, когда Хара вдруг толкнул меня в бок и вскричал:

— Фудзи!

Я обернулся — и даже «ах!» застряло у меня в глотке.

Она была видна вся и занимала полнеба. Она была белая и большая среди зеленых и небольших. Наша желтая букашка, подвешенная в пропасти, ползла мимо нее. Это было совершенно невероятно — то, что она открылась нам вдруг вся и так просто! Лица наши осветились ее белым сиянием, а кроткое обычно лицо Хары стало торжественным.

Что-то было в этой Горе не передаваемое словами. Что-то было в этих минутах важное и сокровенное. Это была сильная и простая Японская Гора. Симметрия ее и тройная ее вершина гармонизировали всю округу, а может быть, и всю эту страну. Это было то, что для нас, русских, составляет Волга. Молча и медленно мы проехали мимо Фудзи в нашем смешном вагончике, с орехами в кармане и с «Торрис-виски».

Второй раз мы увидели Фудзияму, когда уже отправлялись домой и стартовали из аэропорта Ханеда на Гонконг. Это было ранним утром. «Боинг» пропорол облака, Япония скрылась, и только снежная, розовая от вставшего солнца Фудзи, возвышаясь над облаками, долго провожала нас. Долго виднелась, чтобы мы получше ее запомнили.

ЯВЛЕНИЕ ТЫСЯЧЕРУКОЙ

Когда поезд, постукивая, покачиваясь и виляя, выбирается из каменных джунглей Токио, иностранный пассажир прилипает к окну, желая увидеть сельский японский пейзаж, какие-нибудь домики, какие-нибудь рисовые поля под луной, перевернутые лодки, то есть хочется немного идиллии. Огней становится все меньше, меньше, меньше, потом побольше, еще больше, больше и снова через десять минут кажется, что ты и не выезжал из Токио.

Я вспомнил обширные пространства моей родины и полную, непроглядную темноту за стеклом, когда ты ночью покуливаешь в тамбуре. Здесь на всем пути от Токио до Хиросимы только дважды за окном наступала полная темнота, и оба раза это был тоннель.

Светящиеся иероглифы и латинские буквы трепетали всю ночь внутри нашего спального вагона. Соусы Мицува, бурильные машины Микаса, шоколадные конфеты Гончаров, бензин Эссо... «Санья!», «Сони!», «Аполло!», «Сантори!», «Мариман!...»..!..!

Но вот из ночи, поднимаясь над горизонтом, выплыла гигантская, подсвеченная прожекторами богиня Каннон. Тысячерукая Каннон — одно из воплощений Будды. Высеченная из камня, она возвышалась в этой сумасшедшей ночи над всем мельтешением реклам, как гора, как Фудзи. Светящаяся гора с древней непонятной улыбкой.

А у ее подножия мертвенно отсвечивало под луной скопление яйцеобразных газгольдеров.

БОГИ, ХРАМЫ, ГАДАНИЯ

Мы в буддийском храме в районе Асакуса, в Токио. Алтарь Будды от толпы молящихся отделяет четырехугольная яма, взятая в крупную решетку. Туда бросают монеты. В храме довольно шумно: люди входят, выходят, не болтают, конечно, между собой, но сморкаются, кашляют. Призывая внимание бога, похлопывают в ладоши. Через головы летят монеты, звякают о решетку. Словом, довольно деловая обстановка. Ничего похоже-

го на воскресные мессы в католических соборах или на православное богослужение.

Древние храмы отданы туристам. Вот храм Дайбутсу в священном городе Нара. Мы приближаемся к нему по священному парку, а за нами бегут ласковые, но несколько нахальные священные олени, выпрашивают печенье. Тычется теплым влажным носом священный олень тебе в ладони, а сзади тебе под зад поддает другой олень: обрати, мол, и на меня внимание.

В билете указаны габариты гигантского Будды, скрытого под крышей храма. Высота тела — 16,21 м, окружность лица — 4,84 м, окружность глаз — 1,18 м, длина носа — 0,48 м. Будда этот очень велик, несколько мрачен, суров. Конечно, снимать его запрещается, но вокруг трещат кинокамеры — японцы, американцы и прочие туристы усердно выполняют свои туристские обязанности. Я тоже, не будь дураком, навожу свой «Кварц» на Будду.

В одной из колонн храма круглое отверстие — кто пролезет через него, тот, значит, будет счастлив. Отверстие рассчитано на изящное японское телосложение. Неприятность случилась с одним американцем. Задорный этот человек полез в дыру, старательно звинчивался и — застрял: ни назад, ни вперед! Плечи мешают и другое место не способствует. Мы все, кто тут был, без различия политических взглядов и вероисповеданий, стали его тащить. «Мирное сосуществование», — подумал я, ухватившись за американскую ногу. Вытащили недотепу!

По дороге к синтоистскому храму на острове Миядзима бойко торгуют мелкие торговцы. «Сэр, купите любопытную чашечку!» На дне чашки изображена девица в прельстительном туалете. Наливаешь в чашку какую-нибудь жидкость, и пожалуйста — девица предстает в обнаженном виде. Деревянный древний храм прекрасен. Он стоит на сваях над голубой прозрачной водой. Ворота его, похожие на иероглиф, далеко в море. Мимо них проплывают старинные стилизованные кораблики, драконы с дизельными моторчиками. Несколько монахов деловито принимают деньги; они продают «омамори» — амулет для мореплавателей и путешественников. Монахи не последние люди в туристском бизнесе.

Однажды я решил получить информацию о своей судьбе. Это было в Токио, в парке Уэно. Перед буддийским храмом стояли гадальные автоматы. Цена пустяковая — 10 иен. Я опустил монетку и вытащил длинную бумажку, испещренную маленькими иероглифами. (Вообще я полюбил иероглифы. Они очень красивы сами по себе, что бы они ни означали. Недаром каллиграфия считается в Японии искусством.) Потом Ирина Львовна любезно перевела мне предсказание. Начиналось оно стихами:

Когда приблизишься,
По рукаву потянутся блики
От белых цветов хачи.
Цветы благоухают в лунном свете.

Затем следуют практические советы:

Нужно быстро идти вперед, не упуская момента.

Если все будут действовать дружно, будет удача.

При этом все-таки надо быть осторожным.

Не следует идти туда, где, как вы знаете, плохо.

То, что вы утратили, вряд ли вернется назад.

Путешествие будет удачным, без неприятностей.

В коммерческих делах вы будете иметь прибыль, но небольшую.

В области науки (искусства), если будете прилежным, добьетесь успеха.

Счастье вам принесет восточное направление.

В споре вы победите, но не нужно быть крикливым.

В отношении ваших служащих пока следует переждать — не увольнять и не нанимать новых.

И т. д.

Спустя несколько дней вечером мы гуляли с Такуей Хара и с Хироси Кимура по кварталу Синдзюко. На углу под черным зонтом сидел пожилой человек в черном шерстяном кимоно и в черной круглой шапочке. Иногда он зажигал ручной фонарик, давая понять, что гадает по линиям руки. Желая позабавиться, я бодро протянул ему ладонь. Толя (Такуя) и Сережа (Хироси) взялись переводить.

— Вы чужеземец, — сказал старичок.

Я поразился его проницательности.

— Вы литератор,— сказал он и после этого, быстро крутя мою ладонь, стал давать мне советы, аналогичные советам автоматического оракула из парка Уэно.

На перекрестке гулял сильный ветер, и в узких улочках Синдзюко раскачивались бумажные фонари и гирлянды. Сильный ветер гнал мою судьбу по улочкам этого странного города, и лишь цепкие пальцы старого колдуна мешали мне броситься за ней вслед. Что же мне делать с моими служащими и принесет ли мне счастье восточное направление? Все-таки я до сих пор надеюсь, что это была шутка Сережи и Толи.

Буддизм, синтоизм, амулеты, гадальные автоматы — то, что имеет отношение к судьбе и душе человека, в тех или иных видах мелькало в пестрой и бесконечной ленте нашего путешествия. И, наконец, мы подошли к Саду Камней — это святилище поклонников философии «дзен». «Дзен» — религия, не имеющая персонифицированного бога, религия, которая призывает смотреть в глубину своей души. Сад Камней — символ вечности. Отбросьте все ваши эгоистические мысли и побуждения, не воспринимайте внешних звуков, не думайте ни о чем, садитесь и спокойно смотрите на Сад Камней, пытайтесь раствориться в нем. Попытка к растворению в вечности — это и есть ваш молебен «дзен».

В самом деле, эти камни, разбросанные с естественностью, свойственной только природе, как острова, и симметричные линии гравия, этот макет бесконечности, действуют каким-то странным образом, если долго смотреть. Может быть, моя попытка испытать состояние «дзен» и удалась бы, если бы не внезапный вой сирены «скорой помощи», донесшийся из-за стен.

УЛИЦЫ ГОРОДА ТОКИО

По вечерам на самых людных перекрестках столицы зажигаются объявления:

«Сегодня в городе Токио убито 7 человек, ранено 123».

Вот час пик в районе Гинза. Без конца, без конца, без конца тянутся блестящие автомобили. Проносится

надземка. Наконец перекресток перекрыт. В путь устремляются бесчисленные рати белых воротничков, сверкающих ботинок, серых и коричневых пальто. Над толпой плывет и рвется сигаретный дым. Шарканье подошв, болтовня, смех, пузырьки молчания...

Над перекрестком проносится хриплый крик: «Аб-най!» Это означает: «Опасность!»

Опасный город, огромный город, волшебный, качающийся, мгlistый и тревожный, магнитный город, плещущийся, лакомое блюдо, спрут, звезда — самый большой город мира.

Мы летели в Токио ночью все время над морем в крошечной темноте. И когда он появился внизу, с самолета, с десятикилометровой высоты, могло показаться, что все перевернулось и мы подлетаем сейчас к какой-нибудь туманности Андромеды.

Потом с автомобильной эстакады меня поразило безумие светящихся газов района Гинзы. «Безумие, ярмарка, водоворот! Как тут люди живут!» — так сказал однажды о Москве мой казанский приятель. А в общем-то ведь и в Токио, и в Париже, и в Москве люди живут себе — и в ус не дуют! У каждого своя циркуляция, свой уют, свой пузырь, который он проносит в любой самой шумной толпе.

Есть люди на вечерних улицах, объединенные чем-то общим. К примеру, рабочие в брезентовых робах, в желтых и зеленых касках. Может быть, их объединяет компрессор, подающий сжатый воздух к их перфораторам? Может быть, их осеняет длинная лапа экскаватора? Быстрые и веселые рабочие на вечерних улицах города Токио, что же вас объединяет в вашем ловком труде? Как называется эта объединяющая сила?

Должно быть, что-то объединяет и скучающих элитных господ, подъезжающих в шикарных автомобилях к подъездам ночных клубов. Определенно, у них есть что-то общее, хотя каждый замкнут в сферу хромированного металла и толстого стекла. Как именуются нити, связывающие этих господ?

А вот и девушки, встречающие джентльменов, девушки в кимоно, сгибающиеся в традиционном поклоне. Их, конечно, объединяют традиции.

Девушки из бара «Альбион», длинноногие европейзированные бестии, затянутые в белые брючки и белые курточки... Этих прелестниц объединяет ритм твиста.

А вот одинокий предприимчивый жук — кепка сдвинута на нос, кашне до ушей.

— Сэр, ду ю лайк герлс?

— Но.

— А! Бойс?

— Но.

— О! А ю америкен?

— Но.

— Фрэнч?

— Но.

— Джермен?

— Но.

— Ху? — Жук в полном недоумении.

— Рашен.

— О! О! — Жук отбегаёт в сторону и смотрит издали в спину.

А вот одинокий печальный Санта-Клаус с рекламным плакатом на спине.

А вот человек с мегафоном в руке. Он кричит, надрывается: его дядю несправедливо привлекли к суду. Все, кто любит справедливость, должны явиться на процесс и защитить его дядю.

Прошли, растирая синие носы, два американских солдата в штатской, не по сезону легкой одежде. Похоже, что сорвались парни в самоволку. Трепещут на зимнем ветру свечи на лотках продавцов газет. Трепещут старухи, чистильщицы сапог. Трепещут нейлоновые елочки. «Мерри Крисмас!» («Веселого рождества!»). «Тра-ля-ля, тра-ля-ля!» — медовый голос Фрэнка Синатры.

Течет мимо толпа одиночек: усталые клерки, подтянутые гуляки, девушки с кукольными личиками...

Вот я иду, одинокий иностранец: польский плащ, английские штиблеты, отечественный костюм. Я иду и ничего не понимаю — вышел на пятнадцать минут, а хожу уже два часа. Скажете вы, этот город мало приспособлен для прогулок. Да, это верно. Но почему он тянет меня все дальше и дальше в свой бензиновый, соевый,

сигаретный лабиринт? Может быть, виной тому бесконечные светящиеся иероглифы, загадочные, как детские конструкции из спичек? Или бумажные фонари, качающиеся в узких переулках? Может быть, это столица Марса? Недаром так странны контуры рекламных башен.

Вот развеселая улица: с одной стороны — сплошной ряд стрип-шоу, с другой — кинотеатры. Справа нависают над тобой связки, гирлянды обнаженных женских грудей, слева на тебя нацелены бесчисленные гангстерские пистолеты. Здесь впору вконец растерять чувство юмора. Ходу, парень, ходу!..

Район Гинзы затихает рано. В 11 часов вечера уже почти нет прохожих, только шелестящие автомобильные реки текут по мостовой. Рабочие греются у костров. На перекрестках появляются маленькие дымящиеся тележки; они набиты «якитори» — удивительно вкусными шашлычками на деревянных палочках. Здесь закусывает простой люд. Хозяин ставит скамейку, трое или четверо присаживаются к тележке. Хозяин опускает брезентовую штору, замыкает пространство — и вот перед тобой только свеча, потрескивающие «якитори», усталые лица сотрапезников. Хозяин дружелюбно подмигивает иностранцу.

Я иду дальше по пустым улицам. Путь мой похож на полет летучей мыши. Где мой отель?

Приближается музыка, гул сотен голосов, шарканье подошв, и я вхожу в какой-то незнакомый квартал, где, оказывается, и не собираются ложиться спать. Снова блестящие автомобили, франты, девушки, раскрытые двери бесчисленных ночных клубов и баров, рекламы, бумажные фонари. Но в боковую улицу сворачивает одинокий велосипедист. Он едет замкнуто и шатко, пожилой человек в шапке с длинным козырьком, только нос торчит и поблескивают бедные очки. Он удаляется, а мне хочется его догнать и побежать рядом. Нет, я не собираюсь к нему приставать с расспросами. Просто он очень близок мне, я слишком хорошо понимаю, что значит везти свой внутренний мир на двух маленьких колесах, на хрупких спицах уезжать в темноту. Я уважаю его — и все.

ТАКОЕ СЛОВО — «СПЛОЧЕННОСТЬ»!

Вот приплясывает на ветру группа смеющихся парней в зеленых нейлоновых куртках и каскетках. В руках у них плакаты с насмешливыми иероглифами. Ирина Львовна читает надписи:

— «Наш хозяин Макумато — главный жадина Японии! Все на похороны главного жадины!»

Эх, как весело этим ребятам! Как они смеются, представляя себе своего хозяина, награжденного таким титулом! Они приплясывают, хлопают себя по бокам и друг друга по плечам. Все новые и новые ребята в каскетках подбегают к ним; их становится все больше и больше. Трепещи, Макумато! Вот слово, которое объединяет этих парней, — «сплоченность»!

Бесшумно летят вверх скоростные лифты гигантской Токийской башни. Девушки с кукольными личиками — лифтерши — тихими, нежными голосами благодарят туристов за посещение. «Спасибо, большое спасибо!» («Аригато, домо аригато!») На рукавах у девушек красные повязки с надписью: «Сплоченность!» Это знак солидарности с бастующими шахтерами.

Ах, девушки, милые девушки, оказывается, вы не просто рекламные символы высшего японского сервиса!

Шахтеры съехались в столицу из разных префектур. Намечена была грандиозная демонстрация перед парламентом в знак протеста против закрытия многих шахт. Отряды шахтеров двигались по мостовой, большие отряды коренастых людей в брезентовых робах и желтых касках с красными повязками на них. И на повязках опять это слово: «Сплоченность!»

Они шли и пели, пожилые рабочие сдержанно улыбались, молодые хохотали. Я уверен, что у каждого из них в душе царил в эти минуты тревожная революционная праздничность.

Они шли не в ногу и размахивали руками не в такт, но не сбивались в кучи и не топтались на месте. Их объединял в этот момент не пронзительный свист милитаристских флейт, не гром устрашающих барабанов, не су-

Бординация, не погоны, а одно лишь торжественное слово — «сплоченность!»

Цепenea, я смотрел на их движение, и кожу мою охватывал озноб, который возникает от прекрасной музыки или от стихов, возникает у человека в минуты высшего душевного подъема.

Толпа на тротуарах молчала, и дрожали от непонятных чувств оскаленные радиаторы в автомобильной пробке.

ПАЧИНКО

В промозглом, сыром бензиновом чаду дрожат, переливаясь нежным голубым светом, буквы, составляющие дикую абракадабру: «Интернейшнл центр пачинко Нью-Мексико». Из окон на мостовую низвергаются джазовые обвалы.

С улицы виден большой зал с длинными рядами таинственных блестящих аппаратов. Сквозь джаз прорываются резкие звонки, слышится грохот скатывающихся металлических шариков. То тут, то там вспыхивают красные лампы.

Перед машинами стоят сумрачные мужчины с пустыми глазами. Правая рука непрерывно нажимает рычажок — вылетают и кружатся по лабиринтам металлические шарики. В левой руке — дымящаяся сигарета. На голове — кепка, на шее — шарф, под ногами — окурки.

Пачинко — это азартная игра, завезенная в Японию из Гонконга. Вы покупаете в кассе несколько шариков и идете к аппарату.

Перед вами застекленная поверхность с несколькими отверстиями. Цель — загнать шарик в одно из этих отверстий. Если вам это удастся, раздастся звонок, зажигается красный свет, и аппарат выбрасывает вам премию — определенное количество шариков. Но чаще всего шарики, бестолково покружив по поверхности, продравшись сквозь частокол маленьких столбиков, исчезают в нулевом отверстии, и вы оказываетесь на бобах. Если же вы в выигрыше, то можно подойти к кассе и обменять выигранные шарики на сигареты, консервы, кон-

феты, жевательную резинку. Нужно только усилием воли прекратить эту заразную игру.

Пачинко — это огромный бизнес. Во всех городах и на железнодорожных станциях существуют бесчисленные павильоны пачинко. Иногда это грязные забегаловки, иногда крупные заведения вроде «международного центра Нью-Мексико».

«Нью-Мексико» располагался напротив нашего отеля: Там я тоже однажды попал в эту азартную карусель. Купил десятка два шариков и стал неумело запускать их по одному, нажимая на рычаг. Рядом работал «профессионал». Он только презрительно покосился на меня. Презрительный глаз его сверкнул из облака сигаретного дыма. Карманы его оттопыривались: в них лежало несметное количество шариков. За стеклом перед ним одновременно плясало не меньше десятка шариков. Большой палец его правой руки непрерывно нажимал на рычаг, а остальные пальцы непрерывно запихивали в аппарат все новые и новые шарики. Аппарат его почти непрерывно звонил, выбрасывая премиальные порции. Мне удалось выиграть какую-то ерунду только на пятнадцатом шарике. Вместо двадцати у меня оказалось их теперь всего десять, но радость, возникавшая при удачном попадании, была так сильна, что я снова пустился в игру. Сосед работал рядом в непрерывном грохоте и звоне. Вдруг он затих. Я повернулся к нему — оказалось, что он совершенно прогорел в каких-нибудь несколько минут. Мой аппарат зазвонил и звонил после этого почти не переставая. Карманы мои разбухли от шариков. Сосед с философским спокойствием наблюдал за мной, а я совсем ошалел. Сосед тронул меня за плечо: хватит, мол, парень, иди получай выигрыш. Но я только помотал головой и, нажимая, нажимая, нажимая на рычаг, в две минуты просадил все. Сосед хрипло расхохотался и приподнял кепку. Я побрел к выходу.

На улице я долго стоял и смотрел в окно на зал пачинко. Сосед мой уже выкладывал у кассы новые денежки. Другие мужчины упорно торчали перед аппаратами, тупо глядя перед собой, не видя вертящихся шариков, чуть покачиваясь под грохот музыки, занимаясь этим общим делом каждый в одиночку.

ХИРОСИМА И ГЕРНИКА

— Япония — печальная страна, — сказал как-то раз поэт Кусака.

Мы прогуливались по узким улочкам в районе Синдзюко. Над нами в вечернем зеленом небе висела чудовищная реклама турецких бань.

Я вспомнил крики бейсболистов и взмахи их бит, крепкий шаг веселых демонстрантов, мелькающие рекламы, бешеный торговый раж Японии, поразительную автоматику заводов, и опять бейсболистов, и хриплые выкрики борцов «смо»...

— Печальная? Почему?

— Печальная страна, — повторил Кусака и отвел взгляд в сторону.

Крепенький такой, невысокий поэт, деловой ежик волос, деловые очки.

— Вы поэт, Кусака, вы ищете печаль.

Он не ответил. Что мог он объяснить мне, заезжему иностранцу? Поэты знают, где живет печаль, но это их секрет.

Я вспомнил, что мне рассказывали о Токио первых послевоенных дней. Гигантское пепелище, над которым поднимались лишь бесчисленные несгораемые шкафы — все, что осталось от семейных очагов. Вокруг этих шкафов начинала возрождаться жизнь — копали землянки, огораживали садики. Вон как вымахала эта жизнь — в стальной, железобетонный и алюминиевый город, лихо-радочно деловитый город, где печаль — ищи-свищи!

Но вот наш поезд приближается к центру японской печали, к центру всемирной печали — к Хиросиме. Прямо с вокзала мы приехали в отель, в потрясающий модернистский «Хиросима Гранд-отель». Был яркий солнечный день, и мы отправились по бурлящим хиросимским улицам к тому месту, где когда-то на стене банка отпечаталась тень сгоревшего, испепелившегося в один миг человека.

В толпе туристов мы постояли перед этой тенью. Стрекотали кинокамеры. Вдали виднелось произведение Корбюзье, Музей атомной бомбы — стеклянный пенал на железобетонных ногах. Мы подошли к памятнику и воз-

ложили венки. Рядом с памятником несколько торговцев продавали памятные открытки и сувениры.

В мрачном и странном тоннеле памятника, в его внешней и внутренней сферах было много скорби, но все-таки как-то не верилось, что здесь, на этом месте, когда-то бушевало смертоносное пламя. Может быть, яркое солнце, и купы чистой зелени, и вид города с рекламными башнями были тому виной, но надо было все время себя контролировать, все время напоминать себе о том, что это здесь, здесь, что это было здесь, где ты сейчас стоишь.

При возвращении из Парка Мира в отель мы прошли мимо бейсбольного стадиона. Оттуда доносился рев хиросимских болельщиков.

Со странным чувством я покидал этот город. Если чем и потрясла меня Хиросима, так это своей благотворной забывчивостью.

Под ярким солнцем в элегантных аллеях парка трехсоттысячный шумный город экспонирует перед многочисленными туристами последние следы своего горя.

Шофер такси рассказывает. Да, у него здесь погибли родственники, но сам он в это время был в Квантунской армии. Свидетелей взрыва сейчас осталось мало, в основном живет здесь приезжий народ.

«Искусство лучше напоминает о страшных днях человечества, чем вещественные доказательства», — подумалось мне, когда я вспомнил «Гернику», выставку Пикассо в токийском парке Уэно.

Страшные плакальщицы Пикассо и раненые кони, напоминающие о Лорке, весь раздираемый, разрушаемый звериной фашистской силой человеческий мир, все Герники, Ковентри, Киевы, Варшавы глядели на нас с огромных панно, с бесчисленных этюдов великого мастера.

И в поднятых кверху лицах молодых японских студентов жила память о Хиросиме.

Так, должно быть, и надо: забывать — и жить, а страшной памяти посвящать только значительные минуты одиночества. Ведь когда смотришь на «Гернику», остаешься совсем один, в какой бы плотной толпе ты ни стоял.

ПИСАТЕЛИ

Вот один из людей, знающих адрес печали: писатель Кайко, мой сверстник. Замшевая куртка, грубый свитер, резкий голос, отрывистый хохот, надменно вскинутая голова. Жизнь его странным образом связана с производством и распространением спиртных напитков. В пору своей бедности он служил в рекламном отделе фирмы, производящей виски и сакэ. В ту пору он изобрел странного, смешного человечка, эдакого японского Париока, чудака и недотепу, большого поклонника продукции этой фирмы. Человечек появился на рекламах, в газетах и стал чрезвычайно популярным. Теперь он живет своей особой, независимой от Кайко жизнью. Тексты для него пишут другие.

— Реки виски, озера сакэ — вот источник моего пессимизма, — говорит Кайко.

— А вы пессимист?

— А как вы думаете? Лучшие годы молодости я посвятил черному делу.

— Это ужасно, да?

— Ужасно!

— Советую вам стать сторонником сухого закона. Может быть, избавитесь тогда от пессимизма.

— Ваше здоровье! — хохочет Кайко.

Мы ведем этот шуточный разговор, держа в руках подогретые бутылочки сакэ.

Шутки шутками, но Кайко описывает жизнь токийского дна. Он имеет доступ в те кварталы, где респектабельным джентльменам появляться не рекомендуется. Это остросоциальный и гневный писатель.

Мы сидим в баре «Вантей». Вдоль всей стойки тянется вделанная в нее полоса жести — это жаровня. Юноша-бармен перед каждым посетителем смазывает жаровню маслом, бросает устриц, тонкие ломти мяса, лук, какие-то коренья, поджаривает это на ваших глазах, ловко орудуя длинными деревянными палочками — «хашу».

Рядом с Кайко сидит его друг, совсем молодой писатель Оэ. В противоположность Кайко все на нем подогнано ниточка к ниточке, волосок к волоску — аккуратная прическа, элегантный костюм, за толстыми стеклами оч-

ков улыбающиеся вежливые глаза. У этого благовоспитанного молодого человека достало мужества написать резко антифашистский роман, непосредственно откликнувшийся на события политической жизни Японии.

Все помнят, конечно, как прямо на трибуне ножом фашистского убийцы был заколот генеральный секретарь Социалистической партии Японии.

Оэ написал об убийце. В его романе это юноша из респектабельной буржуазной семьи, жалкий мальчик, занимающийся онанизмом, измученный своими комплексами, стремящийся к самоутверждению любой ценой. Его приводит в стан фашистов преклонение перед их силой, ожесточенностью и решительностью, стремление и самому стать таким «суперменом».

После опубликования романа эти «супермены» настойчиво тревожили Оэ телефонными звонками, сипло выли в трубку и угрожали.

Ладно, что там о них говорить, разве мало других тем? Мы сидим с Кайко и Оэ в баре «Вантей» и говорим, говорим о пессимизме и оптимизме, о «новом романе» и о старом романе, о милых наших женщинах и детях, о разных морях, над которыми летали. Мы познакомились еще в Москве несколько месяцев назад, а сейчас сидим здесь. Тепло, потрескивает странное жаркое, за окнами квакают «форды» и «ниссаны». Бармен усиливает звук радио, хохочет Кайко, улыбается Оэ... Где же адрес японской печали?

...Однажды я проснулся рано и смотрел с десятого этажа вниз на мокрый утренний Токио, покрытый разноцветными кружками зонтов. Зонты бежали в разных направлениях, пути их пересекались, они кружили, исчезали, но появлялись новые. Тогда мне стало вдруг печально. А может быть, старый велосипедист, мой друг, ехал как раз по тому адресу? Страна эта показалась мне близкой, но в то же время далекой и туманной. Что узнал бы я о ней за три года, за десять лет? Можно досконально изучить язык и историю и располагать самыми точными статистическими данными, но раствориться в чужом народе нельзя. У души нет «НЗ», вся она отдана своей стране. Должно быть, поэтому и нельзя узнать точный адрес чужой печали.

РУССКОЕ ПЕНИЕ

Однажды профессор Курода пригласил нас в университет Васэда. Великий знаток русской литературы, профессор ни о чем другом, кроме этого предмета, говорить не может. Мы шли по территории университета и вели какой-то литературный разговор, когда послышалось пение. Изумлению нашему не было предела — это была популярная наша песня: «И снег, и ветер, и звезд ночной полет...»

На ступенях административного университетского здания, стилизованного под Кембридж, молодежный хор распевал советскую песню. Парни и девушки в свитерах и джинсах покачивались обнявшись, а толпа слушателей, черноголовых студентов, бурно их приветствовала. Рядом стоял грузовик, в котором перемещаются по стране артисты этого популярного хора.

Пение вообще очень популярно в Японии. Поет 65 процентов населения. Есть бары, где только поют и почти ничего не пьют. Они так и называются — «поющие бары». Там собирается молодежь, сидят с песенниками в руках и поют хором. О популярности русских песен можно судить уже по тому, что самый известный такой бар называется «Катюша».

Есть еще бар «На дне». Он стилизован под мхатовские декорации к горьковской пьесе, и все надписи внутри сделаны по-русски. Курода повел нас однажды в этот бар. Там была печь, возле нее сидели певцы и подбрасывали в пламя поленья. Пели «Степь да степь кругом».

— Вот русские, — представили нас хозяину.

Хозяин, молодой, ослепительно улыбающийся человек, вежливо нас приветствовал, но был, должно быть, разочарован тем, что на нас обычное европейское платье, а не сапоги и поддевки. Бар приносит хозяину доход незначительный, потому что в нем обычно сидят певцы, а не пьяницы, но он содержит его, потому что «самому интересно». Человек этот, должно быть, основательно погружен в мир этой странной, стилизованной России, в мир косовороток, самоваров, балалаек.

Мы уже испытывали сильные приступы ностальгии,

и поэтому нам было приятно в этом баре, хотя многое и смешило.

Странное свойство есть у современных людей: как сильны в нас традиционные представления о чужих странах, идущие из далекого прошлого! Конечно, все японцы знают о спутниках и русских космонавтах, но где-то в глубине их ума живет привычный образ России — необъятная снежная степь, оглашаемая только звоном валдайских колокольцев.

Кстати, и у нас так же. Перед отъездом моим в Японию многие мои высокоинтеллигентные знакомые хитро подмигивали и говорили:

— Понятно, старик!.. Гейши, рикши!..

Понятно, Япония — страна гейш, «чайный домик вроде бонбоньерки», и семеро самураев, и т. д.

Стоит ли говорить о том, что рикш в Японии нет ни одного, а что касается гейш...

ГЕЙШИ

Настоящие японские гейши сохранились только в городе Киото, в знаменитом квартале Гион. Во всех других местах если и есть что-нибудь похожее, то это только подделка, рекламная стилизация.

Гейши в квартале Гион живут своей обособленной от американизированной Японии жизнью, и в самом квартале свято поддерживается стиль и дух XVII века.

Нас привез туда господин Иода, сценарист знаменитого фильма «Рошамон». Гион поразил нас своим неожиданным после неоновой свистопляски центра спокойствием, сумерками и тишиной. Здесь нет ни одной световой рекламы. Над входом в маленькие легкие домики висят только тихие — электрические все же — фонари.

Хозяйка чайного домика, старушка с удивительно добрым лицом, встретила нас традиционными поклонами. Вместе с ней кланялось еще несколько старушек. У входа мы расстались со своими ботинками, надели шлепанцы и поднялись по лестнице. Наверху мы расстались и со шлепанцами и в одних уже носках ступили на «татами». Расселись вокруг низкого — два вершка от пола — стола.

Хозяйка внимательно посмотрела на Вальдемара Кристаповича и сказала:

— Какое у вас умное, хорошее лицо.

— Ну что вы...— засмутился наш руководитель.

— Как вы перенесли путешествие? — с непередаваемым участием поинтересовалась хозяйка.

— Спасибо, хорошо,— с некоторой растерянностью пробормотал он.

Хозяйка повернулась ко мне:

— Какое у вас умное, хорошее лицо.

— Вот как?..— глупо ухмыльнулся я.

— Как вы перенесли путешествие? — посочувствовала она и мне.

— Запросто,— буркнул я.

Ирина Львовна на те же фразы, обращенные к ней, реагировала спокойно. Она-то знала, что хозяйка просто-напросто выдерживает ритуал XVII века.

Появились две гейши, совсем молоденькие девушки в старинных кимоно, с невероятно высокими и замысловатыми башнями причесок. Это были даже не гейши, а так называемые «майко» — девушки, ждущие посвящения в сан гейши. К их туалету и прическам предъявляется гораздо больше требования, чем у взрослых гейш. Чего только не было в их волосах: цветы, гребни, какие-то серебряные перекладки, гирлянды маленьких колокольчиков.

Девушки присели рядом с нами и стали подливать нам зеленый чай и сакэ и занимать приятной и легкой беседой. «Как вы провели путешествие? Какое у вас умное, хорошее лицо!» и т. д. Постепенно все-таки мы отошли от ритуала, и я рассказал несколько невинных анекдотов. Майко-сан весело смеялись.

— Какой у иностранцев интересный юмор! — сказала одна.

Другая взялась рисовать и очень быстро каждому из нас преподнесла по портрету.

Появилась взрослая, царственно красивая и величественная гейша. Нам объяснили, что это одна из самых популярных гейш — телевизионная «звезда». Да-да, эти девушки XVII века выступают по телевидению.

Потом пришла пожилая гейша, почти уже вышедшая в тираж. Она взяла струнный старинный инструмент, так называемый «шамисэн», заиграла на нем и запела гортанным горьким голосом. Майко-сан начали танец. Вслед за ними соло танцевала красавица гейша. Как выяснилось потом, танцы эти были уже сверх программы, только лишь из уважения к русским гостям.

В загадочных этих танцах было много еле уловимых движений, наполненных символами, недоступными нам, грубым чужеземцам. Лишь Иода, великий знаток старины, все это прекрасно понимал и был в полном восторге. Мы же лишь догадывались, что в этом есть что-то важное, значительное. Нам лишь оставалось любоваться старинной грацией танцовщиц.

После танцев мы откланялись. На прощание я поцеловал руку хозяйке, что привело ее в легкое смятение.

Я нарочно подчеркиваю целомудренность нашего визита к гейшам для того, чтобы рассеять не совсем правильные представления об этом институте. Настоящие гейши из квартала Гион — это отнюдь не женщины легкого поведения, это артистки, волей или неволей посвятившие свою жизнь поддержанию утонченнейших традиций японского средневековья. Жизнь их оплетена сложной сетью старинных предрассудков и, может быть, даже феодальных порядков, но так уж они живут.

Другое дело токийские проститутки, рядящиеся под гейш. Их можно видеть каждый вечер на задних сиденьях гигантских автомобилей с почтенными пьяными господами, директорами компаний и концернов.

Традиции квартала Гион — это очень дорогие традиции. Иода, человек с гипертрофированным чувством гостеприимства, сильно раскошелился, пригласив нас туда. Но богатство не всегда открывает двери чайных домиков. Рокфеллер, сунувший под дверь банковский билет в миллион долларов, был бы немедленно выставлен вон. Надо быть другом дома или иметь очень солидные рекомендации, для того чтобы увидеть танцы гейш и услышать звуки шамисэна.

Впрочем, в Японии много традиций, доступных всем, даже Рокфеллеру.

ПРАЗДНИК В АСАКУСА

Однажды я случайно наблюдал собрание токийских пожарников. Это были не простые пожарники, а старейшины, человек пятнадцать, мудрецы и казначеи этого цеха. Они вошли в помещение в черных средневековых костюмах — на плечах пелерины с красными геральдическими знаками, худые старческие ноги обтянуты рейтузами. Они были преисполнены суровости и важности. Сели, поджав под себя ноги, на «татами» и, поливая кока-колу, приступили к обсуждению предстоящего традиционного праздника пожарных команд.

Но самое удивительное сочетание традиций и модер-на пришлось нам наблюдать на предновогоднем народном празднике «хагоита».

Некогда, несколько веков назад, при дворе императора самураи ввели в ход игру, напоминающую бадминтон. Ракетками они перебрасывали друг другу волан с хвостиком из птичьих перьев.

С тех пор ракетки «хагоита» утратили свое значение и превратились в украшение для жилищ. За неделю перед Новым годом в районе Асакуса устраивается традиционный базар «хагоита». Сотни ларьков разбиваются на площади перед буддийским храмом. Здесь продают «хагоита» самых всевозможных расцветок и размеров, от маленьких до гигантских и очень дорогих. На ракетках изображения артистов театра «Кабуки» или других популярных людей. В 1961 году самой ходкой ракеткой была ракетка с изображением Юрия Гагарина.

Здесь развлекался простой народ. Жарили «якитори», жарили орешки, в медленных центрифугах взбухала розовая сахарная вата. Над головами плыли резиновые крокодилы, драконы, зайцы, длинные колбаски, огромные шары. В ларьках энергично торговали «хагоита» молодые продавцы в кимоно. «Хай!» — кричали они, когда кто-нибудь делал покупку.

А если ты покупаешь самую дорогую гигантскую ракетку, продавцы окружают тебя, хлопают в ладони и трижды кричат: «Хай! Хай! Хай!»

Тут уж операторы телевидения и фотокорреспонденты бросаются со всех ног.

Музыка, музыка... Японские песенки, твист, «Катюша»...

«Цок-цок-цок!» — некто прошел на деревянных колесках вместо башмаков.

Почтенные господа с зонтиками в руках.

Тедди-бойс в кожаных куртках.

Дамы в мехах.

Бедные девушки на тоненьких каблучках.

Предсказатель судьбы перед черной доской с мелом в руке, словно учитель.

Объявление полиции: «Берегитесь темного босса! Здесь действует темный босс».

Люди «темного босса» — трое ухмыляющихся квадратных парней.

— Хай! Хай!

Башня вся в огнях. Огненное небо.

В зубах у вас сахарная вата, в одной руке «хагоита», в другой трещотка.

До свидания, Япония!

Я обрываю здесь свои записки, хотя мог бы их продолжать еще на сотне страниц. Все это — случайные наблюдения. Это Япония, показавшая мне несколько из своих тысяч лиц. Когда-нибудь, надеюсь, мне удастся еще раз посетить эту страну. Сосед наш с маленьких островов за небольшим Японским морем — это человек крепкий, деловой, интересный. Надо почаще встречаться с ним.

ПОД НЕБОМ АЗНОЙНОЙ АРГЕНТИНЫ

1. ОТЪЕЗД

Странным образом иной раз складывается наша жизнь: сидишь, работаешь, прикидываешь — не съездить ли куда-нибудь, но время терпит, а дома дел хватает, договор, аванс, ой-ей! — а днем московская суета и гонка на такси, и дела тебе нет до каких-то отдаленных точек земного шара, но в это время кто-то где-то произносит твое имя, и собеседник незнакомца кивает головой, у этих двух людей возникают свои планы на твой счет, снимается трубка, звонок, еще звонок, а ты в это время останавливаешься возле какой-нибудь кофеварочной машины, а твой дружок из толпы машет тебе рукой и кричит:

— Тебя весь день разыскивают какие-то шишки! Тебя посылают на кинофестиваль в Аргентину! — а ты смотришь на него с печалью, «совсем забежался мой товарищ, как-то глупо стал шутить», но на другой день начинаются сборы, и ты уже чувствуешь себя чужаком в крикливой толпе возле кофеварки и на вопросы отвечаешь:

- Нет-нет, я уезжаю в Аргентину.
- Это невозможно, я еду в Аргентину.
- Что? Какая ерунда! Я лечу в Аргентину.

Право, человек, уезжающий через пару дней в Аргентину, обладает некоторыми преимуществами перед другими мирянами. Он может даже совершить какой-нибудь глупый поступок, и никто на него особенно не обидится. Что, мол, с него возьмешь, ведь он через пару дней куда-то уезжает.

В последние часы перед отлетом ты убеждаешься, подобно некоей сумасбродке из стихов Винокурова, что «мир — это легкая кутерьма». Будто ты едешь в Ленинград, столь же естественным образом ты собираешься в дорогу, бросаешь в чемодан какое-то бельишко, какие-то книжки, лепечешь какие-то чужеродные слова — «таможня», «виза», «досмотр», выбегаешь, погоня за зелеными огоньками, сутолока Столешникова переулка, его наивная роскошь, а также ночь, стоп-сигналы муравьиными отрядами убегают вверх по Самотеке, кружение снега, напоминающее о литературе XIX века, но хотя бы что-нибудь у тебя сосало под ложечкой, ты прыгаешь кузнечиком из такси на асфальт, с асфальта — в магазин... Ох, выйдет тебе боком эта суета!

Под небом знойной Аргентины,
Где небо южное так сине,
Где женщины как на картине,
Там Джо танцует с Клё...

2. КОКТЕЙЛЬ

Белые смокинги и черные смокинги, а я — в сереньком пиджачке. Даже английские «ангри-мены» вырядились в смокинги, а я, балда эдакая, на ночном коктейле в Алвеар-Палас-отеле — скромняга парень в сереньком пиджачке.

Президент фестиваля сеньор Марио Лосана — это: тоненькие усики, офицерская статья, кастильская кровь, а? — без всяких примесей, сочная улыбка любителя сочных бифштексов.

— Господа, туалет чехословацкой актрисы Валентины Тиловой превзошел все наши ожидания. Мы можем поздравить сеньору Валентину и вручить ей...

Американский актер Чак Паланс — это: ручищи ниже колен, ручищи при медленном движении проносятся

чуть впереди тела, ручкищи в основном, но плюс к ним бесстрастная маска бывалого ковбоя.

— Ар ю рашен? Ай есть украинец, май батько Охрименко...

Телевизионная звезда Аргентины Амбар Ла-Фокс — это: грудь, грудь, грудь, грудь, грудь, грудь и плюс бедра.

— Да, господа, да! Да-да-да! Оп-ля, тра-ля-ля!

Профессор Бомбардини — это: голубые, представьте, очки, внушительный массив лба, но, вообразите, — вертлявый зад.

— Неореализм себя изжил, сюрреализм себя изжил, реализм не существует, авангардизм дышит на ладан, а неоавангардизм изжил себя, еще не родившись. Вот так, сеньоры, печальная картина.

Французская актриса Фабиана Дали: умопомрачительное золотое платье со шлейфом, за шлейфом хвост фоторепортеров, томные взгляды на мужчин, на профессора Бомбардини, быстрые взгляды на Амбар Ла-Фокс, Валентину Тилову и других прелестниц, которым нет/числа, — еще посмотрим, кого объявят «Мисс Фестиваль».

— Да, месье. О нет, месье! О нет, нет, нет...

Промышленник Сиракузерс, буйвол мясной индустрии: характерные черты буйвола мясной индустрии, мощный загривок, седая щетка на голове, черные брови, золотой зуб соседствует с платиновым, палец с бриллиантом чешет ухо, в котором — рубин.

— Да-да, господа, так и напишите — я за слияние мясной индустрии с кинематографом.

Английский актер Том Куртней, одинокий стайер писателя Силлитоу и режиссера Ричардсона: низкий рост, быстрые движения, резкий смех, уверенность в себе, чувство юмора, чувство гнева, как и полагается «ангримэну».

— Я сердитый молодой человек. Я вот говорю с вами, сеньора, а сам оглядываюсь все время во гневе, оглядываюсь во гневе, честное слово.

Генерал в отставке Пистолетто-Наганьеро: каска, латы, ржавый меч, три метра аксельбантов, полметра усов, на одной руке четыре кольца, на другой — семь.

— Мне все понятно, сеньоры,— плутократы и коммунисты хотят поссорить нашу авиацию с флотом, столкнуть лбом мотоциклетные и саперные части, ефрейторов натравить на сержантов. Не выйдет, сеньоры, я — начеку!

Продюсеры, режиссеры, правительственные чиновники, дипломаты, военные в белых и черных смокингах, в мундирах, декольтированные жены этих господ и звезды в драгоценностях беспрерывно и медленно перемещались под лепными, вычурными потолками, проходили мимо с улыбками, представлялись друг другу, поднимали бокалы с gin-n- tonic, с hayball, с martiny, украдкой почесывались, позировали спующим по залу фотографам, и мне совсем что-то стало скучно и тоскливо, хотя я впервые был на таком буржуазном коктейле и мне должно было быть хотя бы любопытно как писателю. Еще не прошло и двух дней, как я вылетел из морозной Москвы, расстался с сердитыми и встревоженными друзьями, с больной женой, с маленьким Китом, пролетел над Европой и попал в Париж, где бушевал мартовский ветер и хлопали шторы на улице Риволи и осыпались стеклянные витрины на Елисейских полях, а потом — ночью — в «боинге» над Испанией, над Средиземным морем, над Африкой, и — чашка кофе в Дакаре из рук сенегальца, и — над южной Атлантикой, и — над Рио-де-Жанейро, где косо под крылом простерлась Копакобана и обозначилась Сахарная голова, и — над желто-зеленой Южной Америкой, и вот попал в эту парилку, в толпу статистов среди аляповатых декораций Альвеар-Палас-отеля. Весь этот коктейль показался мне сценой из дурного фильма тридцатых годов. Я уже много путешествовал до этого, но нигде не приходилось видеть такой жизнерадостной и старомодной буржуазности, такой отрыгивающей буржуазности, такой, черт возьми, совершенно карикатурной буржуазности.

Потом, в середине фестиваля и к концу, когда помпезность лопнула и все малость слиняло и стало нормальной, естественной, я понял, что был несправедлив и зря представлял себе публику в «Альвеаре» как сплошную буржуазную массу. Там, конечно, бродили в толпе симпатичные и толковые люди, — тот же Том Куртней, и

Тони Ричардсон, и Станислав Ружевич, и мексиканец Рубен Рохо, и Амбар Ла-Фокс оказалась вполне «своей бабой», и там был Васко Пратолини, но я его тогда не знал, да и вообще почти не различал лиц, а видел только груди, пузища, зады, зобы, стекляшки, пуговицы, и парился, и злился в своем сером пиджачке.

— А кто этот господин в сером?

— Это, конечно, русский офицер. Его прислали сюда под видом писателя.

3. ПРИЕЗД

В аэропорту Буэнос-Айреса нашу делегацию сразу отделили от всех других пассажиров, завели за какой-то барьерчик и здесь сфотографировали, ослепили вспышками, небритых, помятых, в шерстяных рубашках и теплых куртках. Фотографов было человек тридцать, но вот — странность: снимок появился только в одной маленькой газетке.

Снимок был черен, но все же четыре белых пятна — наши лица — смутно маячили на нем. Подпись к снимку гласила вот примерно что: «На международный кинофестиваль в Мар-дель-Плата прибыла делегация русских. Слева направо: Борис Ситон, русский писатель, друг Чехова (это глава нашей делегации Виктор Сытин), Басили Либанов, продюсер — финансист (это артист Вася Ливанов), Альберта Бурлак, киноактриса (это наш переводчик Альберт Бурлак, лысоватый, небритый парень), Борис Арсенов, офицер пожарной охраны киностудии «Мосфильм» (это — я).

После фотографирования нас провели в таможню, в отдельное помещение, где осуществлен был досмотр наших чемоданов. В досмотре участвовало от десяти до двадцати усатых, волооких красавцев. Из чемодана Басили Либанова была извлечена металлическая трубка.

— Ля бомба, — неудачно сострил Либанов.

Красавец нажал кнопку, из трубочки с двух сторон что-то выскочило. Красавец отбросил трубочку и упал на пол. Все красавцы залегли. «Басили» поднял трубочку над головой. Это были плечики для костюма. Красавцы встали.

— Ну, а это что такое? — спросил старший красавец, вынимая из моего чемодана повесть «Апельсины из Маркко».

— Беллетристика, — поклонился я.

Красавец взялся листать мою злополучную повестушку, потом унес ее к себе, в маленькую комнатушку, видимо увлекся. Вернулся нахмуренный. Усы стояли косо на лице, а брови сошлись и торчали вверх, как редакторская птичка.

— Где вы видели таких молодых людей? — сурово спросил он.

— В жизни, — скромно ответил я.

— Много пьют в этой вашей книжке, — сказал он.

— С получки, — пояснил я.

— А апельсины — это что, символ?

— Вроде бы так, — сказал я.

— Выходит — символизм? Символический намек, вроде бы так?

— Да что вы, — испугался я. — Никаких намеков. Простая история. Простая жизнь. Любовь.

— Слушайте меня внимательно, — хмуро заговорил он. — Проблема типичности — важнейшая проблема литературы. Типические характеры в типических обстоятельствах, с конкретизацией определенных исторических и социальных предпосылок, а также с учетом морально-этических и эстетических принципов времени — вот что нужно читателю, лирро-бутылло сик!

Мы уставились друг другу в глаза, я в его знойные, туманные очи, он в мои блеклые северные буркала, мы молчали и чуть покачивались, задумчиво мыча. Над нами кружила, жужжа, крупная муха с изумрудным фюзеляжем. Она кружила ровно и монотонно, как заведенная, а потом вдруг рванулась в форточку и, набирая высоту, исчезла в солнечном блеске, — видно, полетела в родную нашу Европу.

— У нас этих апельсинов навалом, — просиял вдруг мой красавец. — С наркотиками бывает перебои, а апельсинов — ешь не хочу.

Он бросил книжку на белье и захлопнул мой чемодан,

У дверей таможни толпились и заглядывали внутрь любопытные, главным образом в полицейской форме; было их не меньше взвода. Наконец мы сели в машины и покатали по плоской нежно-зеленой равнине, посреди которой высились гигантские рекламные предметы, сигаретные коробки и бутылки, что в соседстве с маленькими домиками и черепичными крышами сообщало пейзажу какую-то надреальность.

Вполне могло оказаться, что на равнине вдруг появился бы человек, соответствующий своими размерами не домикам, а коробкам и бутылкам. Качнувшись, он отхлебнул бы из бутылки и вытащил бы из коробки сигарету величиной с заводскую трубу.

И вот мы въехали в этот невероятный город, увидели его теснины, шеренги небоскребов, поднимающихся на холмы и спускающихся с холмов, необычайно пышные и огромные памятники бесчисленным генералам, весь этот шумный, лихой и таинственный город в закате лета.

Здесь были и привычные для глаза маленькие площади, перекрестки и углы, похожие на европейские, парижские или даже ленинградские места, но это соседствовало с чем-то особенным, с чем-то не совсем выразимым, с какой-то удивительной странностью, связанной для нас со словами «Южное полушарие», «Новый свет», «под небом знойной Аргентины танцуют все танго»...

Видимо, не только я это чувствовал. Вася Ливанов вдруг засмеялся и сказал:

— Тезка, что-то в этом городе есть пиратское, а? Понимаешь, такое ощущение, как будто что-то здесь осталось от тех времен...

От каких времен, он и сам, конечно, толком не знал, и слово «пиратское» ничего, конечно, не определяло, а только лишь в самой ничтожной степени окрашивало наше сложное впечатление от этого города.

Потом мы увидели, какой необычный здесь проживает народ.

4. ТАНЕЦ

В одном из залов начался твист. Все повалили туда. Фабиана Дали летела, как сказочная золотая кобылка. Подол ее платья вдруг разделился надвое, обнаружив

затянутые в золотые же брючки твистовые ноги. Это, конечно, привело фоторепортеров в неистовое состояние. Они совершали гигантские прыжки, ползали под ногами твистующих, чтобы запечатлеть новое достижение «Дома Диора».

А Фабиана-то, Фабианочка! Ух, разошлась с профессором Бомбардини. А у профессора белый смокинг сзади стал темным и прилип к спине, но ему все было ни почем, как и всем другим интеллектуалам с вертлявыми задами, как и промышленнику Сираку зерсу, как и генералу Пистолетто-Наганьеро, как и самому сеньору Марио Лосана.

Все вместе выглядело дурнотно и напоминало буржуазное разложение, то самое, да, то самое, тра-ля-ля, буржуазное разложение. Разложение на: а) трясущиеся животы, б) потные спины, в) любимые бородавки, г) пунцовые лысины, д, е, ж...) прочие малопривлекательные элементы.

Это, конечно, не касается прекрасных дам.

Я вспомнил другой твист, твист в Гданьске, в студенческом клубе «Жак», куда мы попали как раз во время празднования «Дней моря». В саду на бетонном кругу танцевало не меньше ста студенческих пар, а Марек в зеленой рубашке кричал в микрофон слова, а из круга летели тапочки и башмаки, а рожи парней были веселые, а у девушек личики были прелесть, и так все это было здорово, и спортивно, и ритмично, и запросто, что даже, я думаю, сердце любого аскета дрогнуло бы от такого твиста.

Бомбардини, Сиракузерс и Пистолетто-Наганьеро нашли друг друга в порыве твиста. Троица, забыв о женщинах, сплелась. Хохоча так, что обнажилась вся клавиатура шести челюстей, троица движениями двенадцати конечностей повергала в изумление весь белый свет.

Из карманов летели киноведческие статьи, адреса

старлеток, пачки ассигнаций и чеки, конверты с военными секретами.

Сиракузерс подмигивал красным глазом, сигналил им, как маяк-мигалка.

— После танцев, ребята, все ко мне,— хрипел он.— Посидим тихо-мирно, все свои.

— Законно! — завопил профессор Бомбардини. Кажется, у него все уже тормоза отказали.

5. ЦВЕТОК

Этот вечер мы закончили на набережной Ла-Плата. Небо было черное, и в нем была луна. Последняя широко озаряла Ла-Плату. Последняя была необозрима, как море, и тут же, на наших глазах, переходила в море, а последнее уже переходило в сплошной лунный блеск, может быть прямо в космос.

На набережной вытянулись в длинный ряд маленькие открытые бары, дешевые закусовые, где подают асадо и вино, где хлопают полотняные тенты, где ветер морской и лаплатский продувает твою рубашку, а пиджак просто брошен на перила.

Мы сидели с Васей Ливановым и журналистом Иваном на табуретках, ели асадо, сильно зажаренное мясо и наперченные колбаски, пили вино, смешивая его с минеральной водой, и было нам просто и мирно, а в зеркальце отражались знакомые физиономии, наши физиономии, вызывающие симпатию, и вели тихую беседу на нашем великом и могучем, правдивом и свободном, а буфетчик-аргентинец перетирал посуду и меланхолично гудел себе под нос какую-то мелодию, как какой-нибудь наш простой армянский буфетчик из Гагры, а «небо знойной Аргентины» мирно висело над нами, и лишь временами...

Временами чернота над нами как-то густела, концентрировалась, и слышался нарастающий свист, и кусок этой плотной черноты с ужасающим грохотом проходил низко над нами, опоясываемый мельканием посадочных огней,— это шли на посадку интерконтинентальные «боинги».

— Эй, Вася, и ты, Вася,— сказал Иван,— хотите увидеть Аллею любви?

Он завел свою машину, маленький «пежо», мы проехали по набережной и углубились в парк. Аллеи были ярко освещены, но одна, в которую мы въехали медленно и бесшумно, была темна, и только смутно обозначились силуэты машин, приткнувшихся к обочинам.

— Северо-американская мода,— пояснял Иван,— любовь в автомобилях. Полиция бессильна, закрывают глаза на эту аллею, лишь бы не расползлись по всему парку. Попробуй здесь включить фары — и сразу столкнешься с латиноамериканской вспыльчивостью.

Он вдруг включил фары, и мгновенно осветился длинный ряд машин, за стеклами которых мелькали головы любовников, растрепанные волосы, усы, колени, локти, и повернулось, щурясь на свет, сразу множество прелестных женских лиц.

Тут же защелкали дверцы машин, высунулись кулаки, полетела ругань, грохнул выстрел. Пуля пробила заднюю стенку нашей машины, свистнула мимо уха Васи Ливанова и застряла в передней стенке, над ветровым стеклом. Из нее тут же вырос большой пунцовый цветок. Он качался на пружинной ножке и источал сдержанное, но напряженное сияние, подобный раскаленному угольку. Что и говорить — удивительная страна.

6. УТРО

Утром Бомбардини вышел из обморочного состояния, открыл было глаза, устремил было их в потолок, но тут же покатился в некую бездонную шахту, в которой роль лифта играла его кровать, затем в этой же шахте взмыл вверх, прилепнулся пузиком к потолку, сплюснулся, как газетный лист. Оказалось, что прямо на нем, как на газете, напечатана его собственная статья о кризисе мировой культуры, и он стал читать ее, снова падая в бездонную шахту, раздуваясь как рекламная колбаса, пока не застрял в металлической сетке.

Тут все остановилось, и началась элементарная нечеловеческая головная боль. Бомбардини вялой, гнущейся, как рыба, рукой нащупал на тумбочке медикаменты,

высыпал в ароматичный рот пакетик таблеток «алко-зальцер», влил внутрь литра два воды, большой столовой ложкой размешал это все прямо в желудке, а потом опрокинул туда же пузырек витаминных драже. Головную боль как рукой сняло, а возле уха вырос огромный витамин, желтый и плотный, словно бильярдный шар.

Поглаживая этот выросший на виске витамин, Бомбардини погрузился в терзания духа. Пытаясь соединить некоторые запомнившиеся моменты посиделок у Сиракузерса — визгливых, роящихся старлетов, испачканный ковер, разбитый телевизор, — пытаясь все это как-то связать и привязать к собственной персоне, он думал со страхом о чем-то ужасном, о чем-то немыслимо-безобразном, что он мог вчера совершить. Совершил ли?

Врожденная брезгливость мешала ему спустить ноги с кровати и добраться до телефона, поэтому он встал на кровати и перепрыгнул через всю комнату на письменный стол.

Со свистом пронеслись в воздухе влекомые им подтяжки, обрывки сорочки и белого смокинга. Дрожащей рукой Бомбардини позвонил по прямому проводу к Сиракузерсу.

— Гух-гух, — сказал в трубку Сиракузерс. — Кто говорит?

— Привет, старик, — пролепетал Бомбардини и жалобно хихикнул. — Это я — Бомба.

— Бомба, здорово! — заревел Сиракузерс. — Это я на проводе, я — Сиракуза. Узнаешь? Ну как вчера..

Бомбардини вдруг почувствовал, что голос буйвола задрожал от страха.

— Ну как вчера посидели, а? — спросил Сиракузерс и замолчал, видимо терзаемый терзаниями духа.

— Славно посидели, — ободренный мучениями друга, крикнул Бомбардини.

— А я как? Ничего, а? — осторожно спросил Сиракузерс.

— Ты в порядке, — ответил Бомбардини. — А... я как?

— Ты тоже в порядке, — сказал Сиракузерс. — Пистолетто-Наганьеро был — вдребодан, а ты в полном порядке.

— Точно,— хихикнул Бомбардини.— Пистолетто был хорош!

— Ну, пока, Бомба,— сказал Сиракузерс.

— Пока, Сиракуза.

Бомбардини повесил трубку и с веселой укоризной погрозил своему отражению в зеркале. Ух, гуляка, ух, озорник! Но ничего, славно вчера посидели, в самом деле. Витамин отвалился и с грохотом прокатился по полу — под шкаф.

Раздался звонок. В трубке смущенно хихикал генерал.

— Хорошо вчера посидели, Пистолетто, правда? — сказал Бомбардини.

— Очень даже хорошо/посидели,— обрадовался генерал.— А как я?

— Ты был в порядке. Сиракуза/поднабрался, а ты держался. А я?

— Ну, ты в полном порядке.

— В общем хорошо вчера посидели?

— Хорошо вчера посидели у Сиракузерса.

7. ПАМПА

Утром фестивальныи караван покидает Буэнос-Айрес. Двадцать новеньких черных шевролетов, бесплатно предоставленных фирмой «Дженерал моторс» (разумеется, не без определенных/боковых соображений), двадцать лимузинов на одной скорости словно висят кильватером в знойном мареве на широком шоссе среди пампы. Эскорт мотоциклистов перемещается с двух сторон вдоль каравана. У мотоциклистов под шлемами выпяченные челюсти, на задах пистолеты. Впереди идут две полицейские машины. Обгоняя караван или отставая, крутятся на шоссе несколько автобусов с открытыми платформами. На платформах телевизионная братия в ярких майках. Репортаж о движении каравана идет на всю страну и в Уругвай. Над караваном висят стеклянные вертолеты, пускающие по пампе множество солнечных зайчиков.

Мы с Ливановым подпрыгиваем на кожаных сиденьях. Такого мы еще не видели и такого грохота не слы-

шали. Наш водитель Родольфо включает радио. «Эль каравано! Эль каравано! — кричат все радиостанции страны. — Делегацион нортамерикано, делегацион аллемано, делегацион руссо...» Делегацион руссо — это мы. Впереди в шевролете Сытин, Бурлак и аргентинка-переводчица Лиля Мышковская, а мы с Васей следом в отдельном лимузине, таком просторном, что можно в нем плясать. Родольфо поворачивается, скалит зубы в улыбке, он не понимает ни одного нашего слова, а мы — ни одного его слова, а объясняем мы хохотом, ударами по плечу, какими-то дикими выкриками — хай! хо! ху! Мы как-то взвинчены и чувствуем себя дикарями в ультрасовременном лимузине. Нам предстоит проехать в этот день четыреста километров по плоской аргентинской пампе, в которой стоят бесчисленные стада и медленно галопируют одинокие пастухи — гаучо, мимо маленьких городков, где все население на улицах с раскрытыми ртами в приветственном реве, навстречу гигантским фургонам-клеткам, из которых торчат рога будущих бифштеков.

— Вася, — говорю я Ливанову, — мы едем с тобой по аргентинской пампе.

— Да, Вася, — отвечает он, — мы едем с тобой по аргентинской пампе.

Я лезу в окно со своим «Кварцем», Ливанов щелкает в другую сторону своим «Зорким». Вот мне удастся сделать редкую съемку — в объектив камеры попадает обгоняющий нас красный «рамблер», а за рулем шишковато-багровый Сиракузерс, а рядом с ним лимонно-желтый Бомбардини, бешено острящий назад, на заднее сиденье, где, обвитый руками старлеток, весь в розовом пуху, пыжится синий Пистолетто-Наганьеро. Друзья, как видно, решили прокатиться вместе с караваном в Мар-дель-Плата. Скучно стало друзьям в столице.

Вскоре наш караван расстроился: эскорт куда-то пропал, вертолеты улетели, телевизионщики тоже испарились; то одна машина, то другая сворачивали к придорожным барам.

Эти придорожные бары, ультрамодерн или стилизованные под индейские хижины, — сущий рай после раскаленного шоссе. В них в прохладной полутьме вам по-

дадут стакан с пузырящейся кока-колой, в которой плавают кубики льда, или смешают холодное сухое вино с минеральной водой. «Чао!» — скажут вам в этом баре девушки-кинозвезды из вашего каравана, и вы, расшаркавшись, скажете: «Чао!»

Все вчерашнее чинное общество сегодня было в элегантной затрапезе, в брючках, маечках, свитерочках. Все было мило — вольные позы, широкие улыбки, небрежные салюты ручками.

Девушки из мексиканской делегации пригласили нас к своему столу. Они улыбались продолговатыми глазами, покачивали длинными ножками, манипулировали тонкими ручками, с веселым любопытством взирали они на нас, а мы взирали на них с веселым любопытством.

— Вася, — сказал я Ливанову, — мы с тобой среди духовно чуждых, но очаровательных людей.

— Да, Вася, — сказал Ливанов мне, — мы с тобой среди духовно чуждых, но очаровательных людей.

— Артисто руссо, — сказала мексиканка Ливанову, — потанцуем, что ли?

— Давайте потанцуем, мексиканская артистка, — ответил Ливанов.

С редким изяществом долговязый московский очкарик повел мексиканочку в блюзе. Насморк, подцепленный в Париже, еще не прошел у него, украдкой он шмыгал носом, но блаженствовал. Танцую с мексиканочкой, думал он, танцую с мексиканочкой среди аргентинской пампы. Вот я, молодой многодетный отец, танцую блюз в аргентинском баре, Ляля, жена моя, вдумчивый кибернетик, гордись — твой Вася не хуже других!

— Ну, Вася, не посрамил, — сказал я.

— О, артисто руссо! — вздохнула мексиканочка.

Мы помчались дальше. Ливанов сидел в машине молча, остолбенев от романтики. Джон Грей был силач-повеса, он был, знаете ли, сильнее Геркулеса, храбрый был, чертяка, как Дон-Жуан. Получилось так, что Рита и крошка Нелли пленить его сумели, сразу две, и он в любви им часто клялся обеим, одновременно, и часто порой вечерней с ними, обеими, танцевал в таверне танго или фокстрот. Бывало, при свете лунном кружатся

пары, бьют тамбурины там, звенят, понимаете ли, гитары. Денег у Джона хватит, ему не подавать отчета по командировке, Джон Грей за все заплатит, Джон Грей всегда таков!

— Ну, Вася, Вася, это уж ты зря,— сказал я.

— Да, Вася, это я зря,— сказал он, выходя из транса. Мы с Ливановым друзья, мы с ним, как говорится, «на вась-вась».

Перед въездом в городок Каstellи караван опять сформировался. Невесть откуда появились мотоциклисты, вертолеты и телевизионщики. Машины медленно пробирались сквозь густую толщу восторженных горожан к зданию мэрии, на ступеньках которой стоял мэр под руку с «мисс Каstellи». Длинные столы в мэрии были заставлены блюдами с асадо и огромным количеством белого и красного вина. Весь фестиваль уселся за эти столы, и еще много места осталось для «представителей общественности» Каstellи и для «спутников фестиваля», в том числе и для Сиракузерса, Бомбардини и генерала. Начались громогласные спичи, и воцарилось шумное веселье, очень приятное, кстати, и совсем не похожее на ночной коктейль в Алвеар-Палас-отеле, а скорее похожее на грузинский пир где-нибудь в Ахалцихе.

Репортеры уgomонились, попрятали свои блицы, навалились на дармовщинку, на каstellьское асадо и на винцо. Лишь любителям автографов было не до еды, они бродили меж столов, подставляя делегатам спины, чтобы те расписывались на их рубашках.

Сиракузерс в дальнем конце зала, поставив на голову блюдо, отплясывал что-то похожее на лезгинку, а Бомбардини и генерал хлопали в ладоши, и старлетки крутились вокруг буйвола мясной индустрии.

К нам пробрался красный, как перец, наш Родольфо. Рубашка его прилипла к крепкому телу.

— Руссо, советико, рот фронт! — крикнул он.

— Давай на выход, ребята,— сказал он,— надо за светло приехать в Мар-дель-Плата, иначе — горим, как шведы под Полтавой.

Мы выбрались на крыльцо мэрии, зажмурились и заткнули пальцами уши, потому что нас встретили кин-

жальные солнечные лучи и неистовый рев кастельцев, затопивших площадь.

Я часто думал потом, почему наш довольно скромный фестиваль вызывал у аргентинцев такой бурный, можно сказать — гомерический восторг, ведь на нем не было ни одной из звезд мировой величины, за исключением Марии Шелл, прилетевшей на три дня. На нем не было ни Софи Лорен, ни Бриджит Бардо, ни Антониони, и тем не менее мы почти не могли спать в своем отеле в Мар-дель-Плата: всю ночь ревела под окнами толпа, заглушая шум прибора и клаксоны машин. Самый простой ответ — латиноамериканский темперамент, но, может быть, дело и посложнее: может быть, в этом восторге сказывалась любовь к прародительнице — Европе. Ведь все эти люди — выходцы из Европы, и все они помнят о ней, хоть и живут уже несколько поколений в этом удаленном углу земли, и вот к ним приехали люди из большого мира, из матушки Европы, и вот этим людям за это — любовь, благодарность и привет. Ну, разумеется, важно еще и то, что люди из кино, слуги волшебного фонаря, сказочники двадцатого века.

8. МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА

Небо на западе уже начало зеленеть, когда перед нами открылся лукаво-играющий океан и мы услышали первый удар мощной волны по бесконечному белому пляжу.

Я воображал, что Мар-дель-Плата небольшой курортный городок, вроде нашей Гагры или Хосты, ну, в крайнем случае Ялты, и был весьма удивлен, когда над горизонтом стали вырастать разноцветные небоскребы. Небоскребы были небольшие, этажей по пятнадцать — двадцать, лишь отель «Космос» имел сорок этажей, но все равно зрелище было внушительное и очень яркое, очень открыточное, почти нереальное, декоративное.

Не успели мы опомниться, как выехали в улицы, запруженные полуодетой толпой. Большинство людей были в купальных костюмах, прямо с пляжей, загорелые,

с вытаращенными глазами, неистовые. Они колотили по крышам машин, влезали в окна, кричали:

— Какая страна? Советский Союз? Ура, руссо! Артисто руссо! Ура!

Разумеется, так кричали всем, не только нам, восторг — всем без исключения.

Сейчас я не могу вспомнить ни одного человека из этой толпы, за исключением рыжей, невероятно толстой дамы в зеленом купальнике, которая стояла на угловом барьере и делала ножищами канканские движения, а глазами выражала страсть.

Только лишь возле отеля «Эрмитаж» полиции удалось очистить маленький четырехугольник асфальта, оцепить его проволокой. Полицейские крутили дубинками, рычали на напивавших курортников. Шевролеты каравана медлительной змеей подползали к «Эрмитажу». Вот стали выходить артисты. Взрыв потряс небо, когда, волоча длинные руки, к стеклянным дверям прошел Чак Паланс. Оказывается, этот парень невероятно популярен среди жителей Нового Света как герой бесчисленных «вестернов». Взрыв еще большей силы раздался, когда продефилировала сияющая танцующая бомбочка — Амбар Ла-Фокс. Каждый шофер Аргентины носит в кармане фотографию Амбар в костюме «топлесс». И так пошло — взрыв за взрывом.

Вася сделал снимок толпы, напивающей на проволоку, и вот сейчас я смотрю на него. Впереди толстая девочка с авторучкой и альбомом для автографов, рядом мальчик в трусах, очень мускулистый, прямо маленький культурист, парень в полосатой рубашке держит за плечи девушку в купальнике, девушка и сама вроде «эстреллы», то есть звезды, а позади пожилые матроны и усахи, и лица у всех этих людей такие, как будто смотрят они на оживших духов.

Вот, наконец, мы входим в свой номер на пятом этаже «Эрмитаж». Прямо под окнами площадь, забитая людьми и машинами, дальше пляж, просвечивающий белым песком сквозь полосатые тенты, дальше ровная пенная линия прибоя, дальше ровно идущие волны. В волнах раскачиваются огромные бутылки «мартини», «чинцано» и «кока-кола», они укреплены на противо-

акульих заграждениях. В небе висят рекламные колбасы и шары.

— Вася, где это мы с тобой? — спрашиваю у Ливанова.

— Это что, все существует в действительности? — интересуется Ливанов.

— Ну-ка, отцы, хватит болтать, в темпе бриться и наряжаться, — командует Альберт Бурлак. — Через час гала-парад, старикашечки.

Черт бы побрал эти гала-парады! Сейчас бы на пляж, посидеть бы возле прибоя, а потом выпить бы пива и погулять по этому странному городу. Я отказываюсь, примите мой отказ. Никто отказа не принял.

9. КОРОВЫ

Компания Сиракузерса сильно задержалась в Кастелли и теперь мчалась в Мар-дель-Плата в полной уже темноте. В машине было очень душно, эр кондишн сломался, не в силах перерабатывать винные пары. Друзья клевали носом, а старлетки дурными голосами пели жалостную песню о погибшей молодости. Навстречу тянулись могучие треллеры со скотом. Коровы, узнавая своего хозяина, возбужденно мычали. Может быть, каждой из них на зеленых пастбищах детства, юности и зрелости снился иногда страшный сон — летящий в сиянье фар красный «рамблер» и пунцово-багровый человек за рулем.

Сиракузерс дремал, навалившись на руль, сквозь сон сигналил своему богатству. Вдруг он встрепенулся, выпрямился, хрюкнул пару раз, прочищая гортань, и заявил:

— Я самый богатый. Я такой богатый, что просто ужас. Вы даже не представляете, девки, какой я богатый. Я могу каждой из вас поставить золотой памятник величиной с Эмпайр Стейт Билдинг. Я богатея /первого сорта!

— А я самый умный, — сказал Бомбардини. — Я умный, как все газеты и журналы мира, вместе взятые. Я самый умный критик-эрудит, и вдобавок я еще философ. У меня мозг как земной шар!

— А я самый сильный,— сказал генерал.— У меня тяга как у космической ракеты. Я сильный, как крейсер или как танковый полк. Я силач высшего порядка!

— А я самая красивая! — закричала первая старлетка.— Я Клеопатра, Нефертити и Амбар Ла-Фокс вместе взятые. Я чемпионша красоты!

— Нет, я! — завизжала вторая старлетка.

— Нет, я! — зарыдала третья.

— А я вас всех куплю! — захохотал Сиракузерс.— Забыли, что ли, где живете? В мире, где все продается и покупается. Я ваш ум куплю, и вашу силу, и красоту, конечно, приберу к рукам, а вам всем поставлю золотые памятники. Во!

— Кукиш! Не купишь! — рявкнул генерал.

Началась какая-то странная ссора. Все стали колотить друг друга, вцепляться, пока не сплелись в одно огромное целое. Через минуту лимузин врезался в фургон со скотом.

Ударом «рамблер» выкинуло в пампу, а фургон завалился в кювет. Коровы мигом разнесли фургон и, выставив рога, помчались к красному лимузину. Сиракузерс, выскочивший из машины, тут же налетел на рог, булькнул и опал. Жилистый парнюга водитель криками и пинками отогнал стадо и подбежал к лежащему Сиракузерсу, вокруг которого в скорбном молчании уже стояли ни капельки не пострадавшие пассажиры «рамблера».

— Все в порядке,— вдруг весело сказал Сиракузерс,— капиталисты не сдаются. У меня всегда — на всякий пожарный — пластырь с клапаном при себе.

Он вынул пластырь и мгновенно залепил отверстие в пузе. Клапан забулькал и захрипел, отводя газы.

— Это даже полезно иногда,— сказал Сиракузерс, вставая.— Хороший удар рогом в живот иной раз не помешает.

— А вы кто такой будете? — зажимая нос, спросил водитель.

— Я ваш босс, знаменитый Сиракузерс.

— Тогда поделом вам: опять зарплату урезали,— сплюнул водитель.

— Апеллируйте в профсоюз! — рявкнул Сиракузерс.

В фестивальный город Мар-дель-Плата красный «рамблер» въехал лишь под утро, влекомый упряжкой из трех отборных коров. Старлетки в костюмах «топлесс» сидели верхом на коровах. Репортерский полк мгновенно был поднят на ноги. С этого утра началась головокружительная карьера наших старлеток.

10. БЕССОННИЦА

На фестивале вне конкурса демонстрировался «Процесс» Орсона Уэлса по знаменитому роману Кафки. Это был букет звезд первой величины — Антони Перкинс, Жанна Моро, Роми Шнайдер, — и надо сказать, что звезды в этом фильме всерьез показали, на что они способны. Это были бесконечные, совершенно бесконечные, до ужаса бесконечные коридоры и неожиданные тупики, мрачные углы, из которых уже нет выхода.

Что ж, когда заходил спор о праве Кафки, или в данном случае Орсона Уэлса, на изображение такого мира, попытайтесь вспомнить, не было ли в вашей жизни таких моментов, когда вы оказывались в бесконечных страшных коридорах или в сдавливающих тупиках. О себе я знаю: оказывался.

Все-таки после фильма мы долго стояли на набережной, прикасались ладонями к шершавому граниту, провожали взглядами, более долгими, чем обычно, веселых девушек в шортах, а потом/наскребли немного песо на виски, скинулись.

Фестиваль открылся показом нашего очаровательного шедевра-фильма «Коллеги» по одноименной повести Бориса Арсенова, офицера пожарной команды «Мосфильма». По этому поводу офицер нацепил галстук-бабочку.

Забавно было мне следить за перипетиями всей этой незамысловатой истории, сочиненной на Карантине в Ленинградском порту, за печкой у Клавдии Дмитриевны Угаровой, на берегу Свири, на ночных дежурствах в Гребневском туберкулезном стационаре, по дороге от Метростроевской улицы до площади Борьбы, забавно

было следить за оживленной игрой Васи Ливанова, Васи Ланового, Олега Анофриева и Нины Шацкой, да еще косить глазом на сеньора Марио Лосана, на прочих сеньоров, сеньор и сеньорит.

Не знаю, какие чувства испытывал Вася Ливанов во время демонстрации, но когда раздались довольно бурные аплодисменты, и к нему, подтанцовывая, с поцелуями двинулись мексиканочки и аргентиночки, тут я стал догадываться о его чувствах.

Мы долго гуляли в ту ночь, я все успокаивал взволнованного Васю. Даже последние фанатики разошлись из-под окон «Эрмитажа», когда мы возвращались. Мы пересекли площадь, когда увидели на тротуаре по-заячьи бегущего к отелю Бомбардини.

— Замечательно! Шедевр! — закричал он нам, аплодируя на бегу.— Вы показали новую Россию! Все в пиджаках, брюках, кое-кто даже в галстуках! Не предполагал! Поздравляю!

С этими словами он налетел на невидимую в темноте полицейскую проволоку, кувыркнулся через нее и растянулся на мостовой. Мы подбежали.

— Вот/небезуха,— шептал он, поднимаясь.— Вот небезуха—смокинг порвал. Доброй ночи, господа,— и, сумрачно, надвинув лобную кость на переносицу, проковылял в отель.

Итальянская делегация показала фильм режиссера Ризи «Обгон» с блистательным Витторио Гассманом в главной роли. На мой взгляд, это был лучший и наиболее серьезный из конкурсных фильмов, но приз он получил только за режиссуру.

На экране была жаркая, забитая автомобилями Италия, бары и траттории с возбужденными людьми и самый возбужденный, самый приткий, самый победительный — Витторио Гассман в двухместной спортивной машине «альфа-ромео». Он — победитель, хозяин жизни, и на все ему в общем-то наплевать — на взрослую дочь, влюбившуюся в его сверстника, на жену, на случайного спутника, робкого студента, ошарашенного бешеной гонкой и запрещенными обгонами. Кончается фильм катастрофой — гибелью студента.

Вторым значительным фильмом был «Взгляд на мир»

англичанина Тони Ричардсона по повести Силлитоу «Одинокый бегун». Повесть славного Силлитоу, надо сказать, немного скучновата, но фильм представляет собой редкий случай удачной экранизации, он во много раз лучше первоисточника, и маленький жилистый Том Куртней создает живой и яркий образ обозленного английского подростка из бедной семьи.

Соединенные Штаты представили фильм Стенли Крамера с Бертом Ланкастером, исполняющим роль директора интерната для дефективных детей.

Снова, в который уже раз, восхищались мы режиссерским мастерством Крамера, работавшего в этой картине с маленькими, да еще и слабоумными актерами.

Хозяева фестиваля показали фильм «Крысы». Красивый Альфредо Алькон играет молодого ученого, экспериментирующего на крысах. Кроме того, он живет со своей мачехой, да еще в него влюблена и другая дама. Папаша поначалу не знает ничего об этом переплете, потом узнает, и тут начинаются всякие ужасы. Периодически крупным планом показываются крысы, чтобы напомнить зрителям, что люди порой бывают хуже этих животных или вроде них.

Франция блеснула тридцатью убийствами и голой спиной Фабианы Дали в детективе «Шляпа», где Жан Пол Бельмондо и Шарль Азнаур играли парижских гангстеров.

Очень толковый фильм «Голос с того света» привез на фестиваль скромный поляк Станислав Ружевиц, брат знаменитого поэта. Конечно, это был не «Пепел и алмаз», но это была работа на высшем польском уровне, что уже говорит/само за себя.

Бразилия показала фильм «Остров», в котором компания золотой молодежи попадает на необитаемый остров и постепенно самоуничтожается. Мексика представила интересный, скорее видовой, чем художественный, фильм из жизни охотников за акулами.

Вот, пожалуй, и все запомнившиеся мне фильмы, хотя были еще и другие, совершенно не осевшие в памяти. Для официального делегата кинофестиваль — штука утомительная, чуть ли не каторга. Каждый день два просмотра — дневной и ночной, и каждый раз надо влезать

в крахмальную сорочку и затягивать галстук. А потом еще появилась аргентинская «новая волна» во главе с косматой девушкой Беттиной Худсон, и пришлось еще из солидарности с ними посещать утренние просмотры, смотреть их экспериментальные короткометражки, выдержанные в духе и на уровне курсовых работ наших ✓/вгиковцев. А после ночных просмотров — еще ночные приемы, коктейли, и я в конце концов стал увиливать от коктейлей. Пусть не верят мне мои друзья, — а они мне ✓ не верят, — но я стал увиливать от коктейлей, от gin-tonic, от hayball, от martiny.

11. СОН

Мне приснилось, что я сижу в пельменной на Ленинградском, бывшем Инвалидном, рынке в районе метро Аэропорт, гоняю ложкой пельмени в бледно-желтом, как детские воспоминания, бульоне. Потом один из пельменей превращается в такси, а мы с водителем в нем как начинка. Такси идет по Беговой, мимо Ипподрома. Там, я знаю, мои друзья А. и два Г. в отчаянии про- ✓ саживают последние рубли — «колхозом» против Апикс-Гановера. Я туда не хожу, предпочитаю денежно-вещевую лотерею.

У Ваганьковского кладбища метет поземка, здесь зима. В воротах кладбища стоит, улыбаясь, директор, с ✓ которым один мой друг, поэт, на всякий случай поддерживает приятельские отношения.

А на Пресне уже весна, все развезло. Над Россиєю небо синее... Хорошо бы поехать не в Аргентину, а в Канаду: говорят, похожа на Россию. Над Канадой небо сине, меж берез дожди косые, хоть похожа на Россию, только все же не Россия...

Вот спуск к Зоопарку. Здесь в трамвае умер от удущья Юрий Андреевич. Вверх по спуску — это подъем, а тротуары на площади Восстания уже сухие.

Вот калиточка, через которую сбежала из отчего дома Наташа Ростова. Тут била копытами тройка Анатоля Курагина. Но сейчас на улице Герцена уже знойное лето. Блаженствуют служащие бразильского посольства. Дрыхнут на подоконниках, видят во сне Копакабану.

Дарю водителю пельменя свою шубу и вхожу в прохладный Дом литераторов. Мой друг С. зевает над шахматной доской. Партнером у него — муха. Может быть, это та самая из таможни? Вместе с С., а муха над нами, входим в ресторан. Вот тебе на — в ресторане, обложившись цыплятами табакá, сидит Сиракузерс. Понятно — с культурным визитом. Становится малость тошно — надоел мне Сиракузерс. Приближаюсь — нет, не он, редактор одного журнала. На радостях улыбаюсь даже этой фигуре. Просыпаюсь...

Под окном противоакульи бутылки, атлантический прибор. Рядом на своей койке потный Ливаныч поет: «Над Россию небо синее...»

12. ПОЛИТИКА

Две недели мы жили в праздном курортном Мардель-Плата и три дня в Буэнос-Айресе, в шикарном Альвеар-Палас-отеле. Мы были замкнуты рамками фестиваля, и поэтому трудно было представить себе обычную жизнь этой страны, ее тревоги, заботы, ее страсть и надежды.

Во всяком случае, о политической активности населения говорят эстакады мостов, заборы и стены, испещренные лозунгами. На окраинах Буэнос-Айреса часто мелькали серп и молот, «вива коммунизм» и «вива Советский Союз», «вива Куба», ближе к центру — «вива Фрондиси» (недавно изгнанный президент) и везде на окраинах и в центре — «вива Перон».

В Буэнос-Айресе часто попадались нам на глаза детские площадки с качелями, каруселями и прочими аттракционами. Это память о мадам Перон, жене бывшего президента. Сентиментальная дама повсюду строила эти площадки для детей городской голытьбы.

Сам Перон любил митинги. Он выходил на трибуну в рубашке с закатанными рукавами, что в чопорной Аргентине считалось верхом свободомыслия (вольный стиль в одежде до сих пор называют здесь стилем Перона). Он заигрывал с рабочими и яростно громил в речах плутократию. Если его прижимала какая-нибудь

хунта, он апеллировал к рабочим и объявлял по стране всеобщую забастовку. В то же время сам прижимал коммунистов и социалистов. Он был ловким политиком и долгое время держал власть в своих руках, пока вконец не разозлил генералов. Потом последовал Фрондиси, потом президент доктор Гидо.

Фестиваль был представлен доктору Гидо. Длинной очередью в великолепном зале президентского дворца мы тянулись к его ручке. Маленький доктор Гидо, похожий на аптекаря, стоял впереди огромных, грудастых генералов и штатских усачей. В дверях с саблями и в треуголках высились великаны-гвардейцы. Партикулярный доктор Гидо застенчиво улыбался. Он явно чувствовал себя/не в своей тарелке. Через три дня после отъезда мы узнали, что военный флот прогнал доктора Гидо.

В дубовых дверях нашего посольства имеется несколько пулевых отверстий, а на стенах близлежащих домов начертаны саκραментальные фразы типа: «Большевиков на виселицу!» Это шуруют разные четверть-, полу- и полностью фашистские организации, а главная среди них — «Такуара».

Сотрудники посольства с легкими улыбками рассказывают, как о чем-то совсем обычном:

— Иной раз шмыгнет мимо автомобильчик, вылетит из него матерщинка, а за ней пуля. Морские пехотинцы, видели их у ворот, здоровые лбы, к нам уже привыкли, считают своими подопечными, стаскивают автоматы, стреляют в хулиганов, но автомобильчик — сразу за угол и был таков.

Мне попала в руки газета с репортажем о «Такуара». Здесь был снимок учебного центра. Функционеры стояли в ряд, подняв над головами руки в нацистском приветствии. Программа этой организации выглядит примерно так: борьба против коммунистов, перонистов, националистов, против американского империализма и плутократии, против антисемитизма и еврейского засилья. Поди разберись. Кажется, главный пункт программы здесь тот, о котором не сказано, — бешенство. Простое бешенство, бешенство ради бешенства.

13. МЯТЕЖ

Пистолетто-Наганьеро, греясь на пляже, рассказывал:

— Лет тридцать — сорок — пятьдесят, а может быть и шестьдесят назад я командовал базой mosкитной артиллерии «Ла Палома». Однажды утром обнаружилось обострение геморроя и вообще недовольство политикой правительства. Я позвонил в Розовый дворец и заявил тому чикито, не помню, кто уж тогда был у нас в президентах, что «Ла Палома» начинает мятеж. Чикито, конечно, рассердился, а я поднял личный состав в ружье, вышел на крыльцо и полоснул оттуда речугой. Пожелания личного состава совпадали с моими. Запрягли мы мулов и через час поставили свои пушки перед Розовым дворцом.

Солдаты по собственной инициативе притащили какого-то скульптора и ну валять мне памятник в ближайшем сквере. А я гарцую на коне, вроде бы позирую, вроде бы революцию провожу.

Вдруг в Розовом дворце открываются все двери, и оттуда выходит гвардейский полк во главе с генералом Кортес-Писарро-Бальбоа, моим партнером по бриджу.

«Инсургенты, сдавайтесь!» — кричит Кортес-Писарро-Бальбоа.

«Нет, вы сдавайтесь, сатрапы режима!» — кричу я.

Отрыли окопы и мы и они. До обеда ругались, мы их — свиньями, они нас — шакалами.

В обед Кортес-Писарро-Бальбоа поднял белый (относительно, конечно, белый) платок и заорал:

«Эй, Пистолетто-Наганьеро, в «Астории» сегодня фазаны и шабли!»

Сами понимаете, недолго мучилась старушка. Объявил я в революции перерыв и отправился в «Асторию». До утра там прогудели: молодость, сами понимаете...

— А памятник? — спросил Бомбардини.

— А памятник я потом на дачку отвез. До сих пор там стоит. Красивый памятник, правда, незавершенный — не все части тела на месте.

14. КОСТА-ХЕРМОСА

Вася Ливанов в скором времени стал очень знаменит в Мар-дель-Плата. Журнал «Радиоландия» отдал ему целый разворот под шапкой: «Первый триумфатор фестиваля». Бывало, Амбар Ла-Фокс как увидит Васю, так и бежит чмокнуть его в щеку, особенно если фоторепортеры крутятся поблизости. Курортники повсюду узнавали нашего очкарика и лезли к нему за автографами, а однажды благодаря Васиной популярности мы познакомились с Доменико Сьяччи, его женой Эльзой и четырехлетним Клавдио. Это было самое приятное за все время знакомство.

Доменико красивый сорокалетний итальянец, хозяин маленького кафе в центре Буэнос-Айреса. Он был солдатом и немало повидал на своем веку, посыпала ему голову война жарким песочком в Ливии и штукатуркой в Милане. Европейская почва показалась ему неустойчивой, малопригодной для нормальной жизни, и после войны он снялся оттуда курсом на Аргентину. Тут судьба подгадала ему встречу с польской девушкой Эльзой, и вот результат — итало-польский аргентинец Клавдио в красных штанишках кувыркается на пляже Коста-Хермоса, а две взрослые дочери остались в Буэнос-Айресе.

Мы приехали на этот отдаленный пляж в просторном и удобном рыване семейства Сьяччи, автомашине марки «Кайзер». Пляж этот, в отличие от центральных мардельплатских пляжей, был почти пуст, лишь несколько компаний лежало на его белой поверхности, засунув головы под полосатые грибки и протянув в разные стороны, голые ножки, похожие в этом варианте на щупальца морских звезд.

Сразу же мы познакомились с хозяином пляжа, тридцатилетним Аполлоном по имени Хосе Луис. Его избушка на курьих ножках была полна разного люда, который все что-то жарил, что-то выпивал, что-то кушал, пользуясь добротой бессребреника Хосе Луиса. Мы тут же перезнакомились и с этими людьми, засели с ними за неизменное асадо, пили вино, весело беседовали

на невероятном «воляпюке», потому что среди них были и испанцы, и немцы, и один старик хорват. Хосе Луис сказал:

— Вот это номер, что вы советские. Вы первые советские ребята на Коста-Хермоса. Вот ведь брехуны в наших газетах пишут о вас/черт те что, а вы нормальные ребята.✓

В этих словах Хосе Луиса тоже сказались отдаленность Аргентины. В Европе к советским уже давно привыкли, и никто не заглядывает вам под фалды в поисках хвоста и под шляпу в сладком ужасе перед рожками.

Хосе Луис был очень нам рад, в самом деле искренне рад, он вынес нам сезлонги и денег не взял ни за что — ни за вино, ни за кока-колу, ни за асадо, ни за море, ни за солнце, ни за песок.

Подошла, любопытствуя, черноволосая валькирия в синем купальнике. Величие было в ее чертах и формах.

— Вы мисс Мар-дель-Плата, а может быть мисс Аргентина! — воскликнул я, пораженный монументальностью девушки. — Фотографирен цузаммен, чик-чик, порфабор. Май френд мейк пикча — ю энд ай, очень хорошо.

Но только лишь «мисс Аргентина» приготовилась к съемке, как мигом налетел ревнивец с такими усами, будто карандаш зажат между губой и носом.

— Габриэлла! — заорал он и увел девушку, шипя как кот.

Мы побежали к прибою, к шумящей, шевелящейся белой стене. На бегу я заметил в отдалении знакомую трицу — Сиракузерс, Бомбардини и Пистолетто-Наганьеро расписывали пулюку.

Некоторое время прибой швырял нас с Васей, стучал друг о друга, подбрасывал в воздух, волочил по песку, а под конец просто вышвырнул на пляж.

Эльза, вся в улыбках, ямочках, в доброте и благожелательности, стояла рядом с Доменико.

— Летом, в январе, мы хотим поехать в Европу, — сказала она. — Ведь я никогда не видела Польши.

Я подумал о Польше, о Варшаве, Кракове, об Освенциме. Что будет с этой доброй Эльзой, когда она побывает в Освенциме?

Вот пляж, и океан, и солнце, подумал я, и мы, мокрые и веселые, здесь, на Коста-Хермоса, люди разных нацио-

нальностей, и маленький Клавдио кувыркается в песке, и как трудно сейчас здесь, на этом месте, представить себе Освенцим. А люди в Освенциме, тогда, там, не могли поверить, что есть на свете Коста-Хермоса.

Многообразен человеческий мир, но лучше уж был бы он однообразен, как длинная и широкая полоса океанского пляжа.

15. ВСТРЕЧА

— Пойду выкупаюсь,— сказал профессор Бомбардини, бросил карты, игриво задирая ножки, подбежал к океану и нырнул в него.

Он долго плыл на большой глубине, пока не увидел покачивающуюся в зеленоватом сумраке на растопыренных плавниках акулу. Он сразу узнал ее, это была «акула синематографико».

— Рад приветствовать коллегу,— сказал он, подхалимски трепеща ручками и ножками.

— Слопаю,— равнодушно сказала акула.

— Много слышал о вас,— любезно улыбнулся Бомбардини, как бы пропуская мимо ушей заявление акулы.— Ваша концепция распада мирового киноискусства мне очень близка, хотя и имеются некоторые основания для полемики, для дружеской полемики, разумеется. К примеру, вы утверждаете...

— Сейчас разгонюсь и слопаю,— сказала акула и действительно стала разгоняться с открытой пастью.

— Ну, зачем же так?! — взвизгнул Бомбардини.— Давайте продолжим диалог.

В последний момент он увернулся, и акула проскочила мимо, лишь сорвав шершавым боком кожицу с его ягодицы.

— Глупо! — плюясь и рыдая, закричал Бомбардини.— Разве это аргументы? Мы могли бы стать союзниками!

Акула делала круг, разворачиваясь для второй атаки.

— Я тебя слопаю по двум причинам,— сказала она, тряся бородой.— Во-первых, ты продукт питания, а во-вторых, конкурент.

— Тогда я сам тебя слопаю! — завопил Бомбардини и бросился вперед.

Они мчались навстречу друг другу с распахнутыми челюстями. Счет пошел на мгновения. Ой, пропала! — в последний момент сообразила акула и тут же очутилась в животе Бомбардины.

Профессор поплыл к берегу, ощущая в животе приятную тяжесть и прислушиваясь к бурному процессу пищеварения. Он вылез из воды таким же стройным, как и раньше.

— Бомба, есть идея! — крикнул ему Сиракузерс. — Вечером идем в казино. Надоело по мелочи пробавляться.

16. ДУНАЙ

Большие плоские камни на берегу. На них выбивают свои имена и даты желающие увековечиться. Ничего особенного, этим занимаются люди повсюду — в Грузии, в Новгороде, в Риме, — но все же я долго стою над этими камнями и читаю: «Светозар + Амалия», «Карлос + Елена», «Хусейн + Ингрид», «Гарри + Лолита = Любовь!» Надписи эти оставили не иностранные туристы, все это имена аргентинцев.

Наша переводчица, двадцатилетняя Лиля Мышковская, познакомила нас со своим женихом, молодым шведом по имени Хуан. Швед довольно бойко разговаривал по-русски, вполне сносно по-шведски, очень хорошо по-английски, а родным его языком был, естественно, испанский.

Однажды мы гуляли по торговым районам Мар-дель-Плата, покупали кое-какую мелочишку. Хозяином первого магазинчика оказался старый поляк, служивший еще в царской армии, хозяином второго магазинчика был экспансивный одессит, в третьем, большом, магазине моментально нашелся приказчик, говорящий по-русски.

Усталые, мы зашли в маленький угловой бар, присели к стойке, взяли кофе. В баре, кроме нас и буфетчика, никого не было. Потом зашел мужчина лет сорока пяти, привалился к стойке, взял из рук буфетчика чашку, лениво заговорил с ним; видно было, что они давно знакомы. Буфетчик глазами показал на нас, шепнул:

— Сеньоры из России.

Мужчина поперхнулся, шально взглянул на нас, от-
вернулся, опять повернулся, быстро-быстро засуетился,
потом взял себя в руки и как бы спокойно спросил:

— В самом деле вы из России, из Союза?

Широкие штаны, тенниска с широкими рукавами,
стрижка под полубокс — у него был вид прожженного
футбольного болельщика из Лужников.

— Дима, — представился он.

Судьба Димы подобна судьбе того платоновского му-
жика, который в двадцатом году поехал в соседний уезд
за пшеницей, а попал в Аргентину. Помотала судьба Диму
по всей Европе, по лагерям перемещенных лиц, а потом
забросила в Южную Америку. В Парагвае он женился на
кубанской казачке и переехал в Буэнос-Айрес. Работает
агентом по продаже холодильников.

— Недавно в Буэносе встретил одноклассника. Иду,
гляжу — Костя Зыков. Механиком он плавает на совет-
ском теплоходе. «А ты как здесь оказался?» — спрашива-
ет. «А я живу здесь». — «Ты что, Димка, власовцем, что ли,
был?» А я не был власовцем, честное слово не был, чест-
ное слово, ребята милые, не был я власовцем!

Мы выпили с ним едкой смирновской водки. Он все
расспрашивал о Союзе, о каких-то артистах, с которыми
был знаком до войны, потом заплакал.

В один из дней мы, поляки и чехи были приглашены
на банкет славянским землячеством «Дунай». Для банкета
был арендован большой спортзал. Произносились тор-
жественные речи на разных славянских языках, провоз-
глашались тосты за Советский Союз, за Польшу, за Чехо-
словакию, за Аргентину, а когда кончился церемониал,
славяне шумною толпой со всех столов устремились к
нам, окружили, затормошили, зацеловали. Помню, что я
изо всех сил боролся с нахлынувшей сентиментальностью,
старался не прослезиться.

— Вот, касатик, беда какая, — жаловалась старушка
Мария Никифоровна, — дом у меня в Мар-дель-Плата, ни-
как продать его не могу. Сестра с Тамбовщины зовет
приехать, а я дом никак продать не могу.

Как она попала сюда, тамбовская старушка, повязан-
ная платочком в горошек? Она — представитель дорево-
люционной еще эмиграции искателей счастья.

Нам рассказывали, что в Парагвае в середине двадцатых годов возникли настоящие казачьи станицы. Некий казачий генерал из Европы прибыл в Парагвай, и местность ему показалась похожей на донские степи. Он предложил парагвайскому правительству отдать земли вдоль границ казакам и их семьям, оказавшимся в Европе после разгрома белого движения. Казаки-де будут обрабатывать эти пустующие земли и нести пограничную службу. Правительство согласилось, и несколько тысяч горемык пересекли Атлантику, и образовалось невероятное «Парагвайское казачье войско». Существовало оно недолго и развалилось из-за экономических причин, некому было продавать пшеницу.

Когда встречаешь заграничного русского, тебя охватывает буря разных чувств, и можно только догадываться о том, какие чувства испытывает он, этот заграничный русский при встрече с нами, русскими из России.

К четырем часам утра Сиракузерс проиграл все свои тучные стада, все свои бойни, колбасные и консервные заводы, весь свой автопарк. Он совершенно ослеп от вспышек: по меньшей мере сотня фотографов фиксировала каждый момент исторического крушения его империи. В четыре часа в казино наступило молчание.

В полной тишине Сиракузерс стащил кольцо с диамантом, сорвал с уха рубин, вырвал золотые и платиновые зубы и бросил все эти предметы на стол перед крупье.

— Шампанского для всех! — заорал он. — Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья!

Возникло замешательство. Бомбардини швырнул бутылкой в люстру. Пистолетто-Наганьеро выхватил саблю, Сиракузерс бросился на крупье. В кромешной темноте началась ужасная роковая борьба, освещаемая лишь вспышками блицев. Через несколько минут друзья были выброшены из казино на прохладный, безучастный к их трагедии асфальт. Оправляя порванное платье, они двинулись/куда глаза глядят. За ними вышел только прихрамывающий элегантный господин с сатанинской улыбкой. Уж не Мефистофель ли?

17. ДО СВИДАНИЯ

В конце марта фестиваль весь вышел, и — с помятыми лицами и отчужденными уже глазами — был отмечен его конец.

Мы начали движение к дому, я лично — к своим двадцати семи квадратным метрам в кооперативном доме у метро Аэропорт, к ложу, именуемому «кресло-кровать», что совершенно не соответствует действительности, к пельменной на Инвалидном рынке.

Для того чтобы вернуться домой, нам надо было вновь пересечь четыреста километров пампы в любезно предоставленном «шевролете», два дня провести в Буэнос-Айресе, влезть в пузо «боинга-707», полететь, опускаясь в Монтевидео, Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро, Дакаре, Мадриде, проститься с «боингом» на парижском Орли, денек проболтаться в Париже, приехать в Ле-Бурже, влезть в родное пузико «ТУ-104», приземлиться в Шереметьево, окинуть взглядом березы и взять такси.

Всю дорогу до Буэнос-Айреса мы оживленно болтали с нашим дорогим Родольфо, потому что знали уже десятка два испанских слов, а он — десятка два русских. Родольфо говорил так:

— Вы мои друзья на всю жизнь, и моя жена — друг вашим женам, и мои дети — друзья с вашими детьми.

— И будет так, — отвечали мы.

В Буэнос-Айресе ностальгия стала приобретать уже совершенно чрезмерные формы, мы говорили только о Москве, хотя и блуждали по аргентинской столице с семейством Сьяччи, с поэтессой Лилли Гереро, с художником Карлосом Алонсо, с нашими журналистами и дипломатами, со всеми этими милыми людьми, память о которых нам дорога.

И вот наступил день отлета, и этот час, и эта минута, и мы в толпе пассажиров потянулись к самолету, оборачиваясь, помахивая шляпами, посылая воздушные поцелуи нашим новым друзьям и Аргентине в целом.

Неподалеку от барьера международной зоны стояли

три оборванца с гитарами. Они услаждали публику неумелой игрой и жуткими козлетонами, а в их шляпы летели крузейро, центы, песо, сантимы и копейки. Нелегко было узнать в них Сиракузерса, Бомбардини и Пистолетто-Наганьеро, но это были они. Когда мы проходили мимо, они с новой силой ударили по струнам и запели:

Под небом знойной Аргентины,
Где небо южное так сине,
Где женщины как на картине,
Там Джо танцует с Клё...

1963—1966

*Мар-дель-Плата —
Москва*

ТОВАРИЩ КРАСИВЫЙ ФУРАЖ- КИН

Дядя Митя заправлялся впельменной и соображал. Без всякого внимания и сосредоточенности он отправлял в рот пельмени, бульон, автоматически перчил, подсаливал, подливал уксусу, а сам в это время чутко следил через стеклянную стенку за стоянкой такси.

Зимний сезон для таксиста в Крыму время скучное. Работы мало, а шашки и подавно, но сегодня что-то было особенное — слишком уж много скопилось на стоянке машин.

Плотными рядами стояли здесь «Волги» из Симферополя и местные, ялтинские, были здесь также феодосийские машины, севастопольские, а в стороне от общей кучи стоял черный «ЗИЛ» дяди Мити.

Иные водители спали у рулей, иные читали, большинство, собравшись в толпу, обсуждали разные вопросы, а дядя Митя заправлялся вот впельменной и соображал:

«Если я тут очереди буду ждать, погорю. Если на Алушту стронусь или к санаторию «Донбасс», может, погорю, а может, и нет. Но ежели я там кого подберу, то

обратно все равно на индексе шпарить: Симферополь третий день самолеты не принимает, пассажиров нет, не годится. Но здесь-то ждать — дело гиблое. Того и гляди, Жорка Барбарян прикатит, сорвет мне всю коммерцию».

Так и не приняв никакого решения, дядя Митя вышел из пельменной. На стоянку он не пошел, а стал прогуливаться по близлежащему переулку. Издали он увидел, как из ворот рынка вышла его теща. Ежели бы за кулинарные успехи присваивали научные звания, то теща дяди Мити давно стала бы профессором. Сейчас она выносила с рынка связанных за лапки трех курей. Оставалось только облизнуться при виде тех курей. Вот ведь работенка выдалась на старости лет — домой не успеваешь заскочить похарчиться. А похарчиться дома, так тебя за это время так обставят, будь здоров! Как раз и подкатит за это время Жорка Барбарян. Остается трескать эти пельмени, будь они неладны.

А теща-то, теща... Идет, как плывет, как та самая гусыня плывет.

Дядя Митя вспомнил, какой была теща лет тридцать назад, до войны, — ладная была такая бабенка, веселая, разбитная. Массовиком она тогда работала в санатории «Парижская коммуна», а дядя Митя как раз привез в тот санаторий на «паккарде» ответственного товарища из КрымЦИКа.

Вот ведь история получилась у него с тещей, просто смех. Женился он сразу после войны уже тридцатитрехлетним мужиком. Ну, женился, и хорошо — жена, теща, родственники, полный комплект. Только раз на гулянке под Октябрьские завели на патефоне старую пластинку «Сашка, ты помнишь наши встречи в приморском парке на берегу!». Прокрутили, и хорошо, но теща просит еще раз ее поставить. «Напоминает, говорит, мне эта пластинка один вечер!» — «Какой же это вечер?» — интересуется дядя Митя, которому и самому эта пластинка напоминает один вечер. «Так, один странный волшебный вечер, — со значением туманится теща, — я тогда работала в культмассовом секторе». В общем, слово за слово, и вспомнили они санаторий «Парижская коммуна», и «паккард», и вальс-бостон, после которого отпра-

вились в парк погулять, и друг друга вспомнили. Хорошо, что жены дяди Митиной на кухне не было во время этих воспоминаний, не видела она, как покраснела теща и руками на него замахала. Вот ведь как иной раз бывает.

С того дня установились между дядей Митей и его тещей замечательные товарищеские отношения. Всегда теща держала его сторону в спорах с женой, и кормила хорошо, и внуков приучала уважать батьку. Вот что значит иметь общий романтический секрет.

«Да,— подумал сейчас дядя Митя, глядя на проходящую вдаль тещу,— прямо и смех, и грех, и грецкий орех».

Тут он увидел идущего к стоянке такси человека в заграничном плаще и с чемоданом в руке. Это был я.

— Черный «ЗИЛ» вас устроит, товарищ? — спросил меня дядя Митя.

— Вполне,— ответил я.

— В Симферополь едете? — спросил он.

— Да.

— Тогда позвольте ваш чемоданчик.

Он схватился за ручку, я придержал, но он настоял и понес чемодан впереди.

На стоянке водители закричали:

— Опять ты очередь нарушил, дядя Митя!

— Товарищ на «ЗИЛ» претендует,— на ходу показал на меня дядя Митя.

— Мне все равно в конечном счете,— сказал я,— «ЗИЛ», «Чайка», «Волга»...— Разумеется, я шутил.

— Видите, гаврики? — сказал дядя Митя.— Это особый случай.

— Химик ты, Митька! — сердито сказал ему его сверстник Семен Вольф.

— Сема, ша. Закончим этот разговор. Прошу, товарищ, садитесь. Сиденье кожаное. Сейчас поедем, радио включим. Поедем стремительно и под джаз. Одну минуточку!

Окрыленный первым успехом, дядя Митя снова побежал в переулок. Минут пять он там рыскал, а потом выудил с автобусной остановки трех женщин с узлами и кошелками. Не глядя на водителей, он провел жен-

щин к машине, усадил их на заднем сиденье, запихал часть узлов в багажник, а часть навалил женщинам на колени.

— Ну и химичит дядя Митя,— говорили водители.

— Некрасиво ведет себя товарищ,— сказал молодой водитель, недавно демобилизованный с флота, Горбачев.

— Красиво, некрасиво, а он сегодня будет в порядке,— возразил Вольф.

«Еще бы одного человечка бог послал»,— страстно мечтал дядя Митя.

И тут, как в сказке, добавился еще один, мордатый дядька в драповом пальто. Теперь дядя Митя был в полном порядке, на высшем уровне.

— Вы мне первое местечко не уступите? — обратился последний пассажир к первому, то есть ко мне.— Уступите, пожалуйста, поскольку я туберкулезный инвалид. Вы не смотрите, что я такой здоровый. Внешняя упитанность ни о чем не говорит.

Он весело захихикал, вытаскивая из внутреннего кармана трубочку рентгеновского снимка.

— Хорошо, хорошо,— торопливо сказал я,— пожалуйста, если это нужно для здоровья.

От инвалида исходил крепкий винный дух. Этим утром он уже успел побегать по набережной, отправляя в свой желудок все, что попало,— портвейн так портвейн, кубанская так кубанская, шампанское — опять туда же.

«Какой-то гипноз,— думал я, сидя на откидном сиденье, теснимый узлами и коленями женщин.— Ведь я мог спокойно поехать один на «Волге», вон их сколько, и женщины могли занять «Волгу», это какой-то гипноз».

Дядя Митя, отъехав от стоянки, удовлетворенно хмыкнул, потом, покрутив по горбатым улочкам старой Ялты и выехав на широкую Московскую улицу, опять хмыкнул и, наконец, выбравшись на шоссе и переключая скорость, хмыкнул совсем уже довольный и оглянулся на пассажиров. Задняя часть машины уютно была набита людьми и узлами. Почти полный комплект. Конечно, еще одного человека на второе откидное не мешало бы, ну да ладно, может быть, по дороге подберем.

Из-за поворота выкатил встречный «ЗИЛ» Жорки Барбаряна. Дяде Мите показалось сначала, что идет Жорка

порожняком. Нет, не такой человек Жорка — на заднем сиденье у него все-таки кто-то маячил.

— Э-и-ей, дядя Митя! — крикнул Жорка, высовывая голову из окна, и в голосе его, конечно, было восхищение сноровкой старшего товарища. Дядя Митя только успел ему сделать ручкой. Жорку он уважал. Подпирает молодежь, на ходу подметки режет. Но только не сегодня. Сегодня дядя Митя почти в полном комплекте. Чуть-чуть лопухнул сегодня Жора. Ну ничего, он свое возьмет.

Дядя Митя опять обернулся к пассажирам.

— Что, дорогой товарищ, девочки тебя там еще не одолели? — обратился он ко мне. — А девочки-то смотри какие сдобные, жаркие, пух-перо, душечки-ватрушечки. Эх, кабы я тещи не боялся, приголубил бы вас всех!

Женщины эти, пожилые, темные лицом и суровые, все не располагали к подобным шуточкам, но от дяди Митиных слов как-то сразу они отогрелись, поправлять стали платки и махать на него руками — шут, мол, с тобой, изыди, мол, сатана!

— Не обижайтесь, бабоньки! — весело закричал дядя Митя. — Я человек не обидный, козлиных слов не употребляю. Другие есть, знаете, товарищ, — обратился он ко мне, — палец зашибет, так ругается, весь изматерится, как сукин сын, а я нет. Ну, иногда скажу чего-нибудь под сливочным маслом, так это так, просто для веселья.

Он на минуту задумался, вспомнив, как позавчера в парке на техосмотре Семка Вольф палец свой зашиб. Вот уже материл, вот уж сквернословил за этот палец. Надо же, какие бывают люди!

Туберкулезный инвалид вдруг цапнул его за колено:

— Эй, водитель, штаны-то у тебя, я гляжу, хромовые!

— Трофейные, — сказал дядя Митя.

— Я и гляжу, что трофейные!

— Сносу нет.

— Я и гляжу, что сносу нет!

Дядя Митя с улыбкой стал смотреть на инвалида, а инвалид, развернув бычью шею, с улыбкой смотрел на него. Поняли они друг друга.

Инвалид вынул рентгеновский снимок, развернул его и приложил к ветровому стеклу всем на обозрение. Он болел туберкулезом уже лет десять, все время лечился, все время лечился удачно, пользовался льготами и не тужил. Рентгеновские снимки он любил даже больше, чем свои фотографические карточки.

— Вот,— сказал он,— видите, красота какая! Пневмоторакс-то какой, а? Раньше у меня слева был красавец — распустили, а теперь справа наложили, и тоже получился замечательный.

— Батюшки-светы! — ахнули сзади женщины.— Это что же такое?

— Это, сестрички, газ! Дуют мне его в бок через иглу по шестьсот кубиков в неделю.

— Бациллярный, браток? — спросил дядя Митя инвалида. Сам он туберкулезом не болел, но разбирался в этой болезни через больных, которых много возил по трассе Симферополь — Ялта.

— Нет,— ответил инвалид,— теперь я чистый. Да они мне теперь и не нужны.

— Что вам не нужно? — поинтересовался я.

— Бациллы Коха мне больше не нужны. Квартиру я уже получил у себя в Керчи, ха-а-рошая квартира. Вообще, товарищи, между прочим, кроме шуток, между нами, лично я туберкулезу только благодарный. Сами посудите, бесплатно жил в замечательных здравницах. Людей посмотрел, себя показал. В прошлом году в Теберде был восемь месяцев. Высокогорный курорт, живописное место, культурное общество, медицинские сестры. Останови, браток, у буфета, заправиться надо.

— Ага, а вот у нас был случай,— подхватил дядя Митя. Он любил, когда пассажир попадался разговорчивый, но особенно забалтываться не давал, потому что самому нравилось поговорить.— Вот, значит, был такой случай... Ты погоди с буфетом-то, здесь буфетов много. Вот был случай так случай. Я тогда на грузовой работал. Везу, значит, я в Саки плетеную мебель для какого-то там санатория, а под мебелью-то у меня, хи-хи-хи, кавуны. Один добрый человек попросил на рынок в Евпаторию подбросить. Смотрю, у обочины под кустом сидит на мо-

тоцикле товарищ Красивый Фуражкин, автоинспектор, газету читает, а мимо грузовики идут, хоть бы что. Только я подъезжаю, поднимает он свою палочку-стукалочку. Стоп, дядя Митя, приехали — выборочная проверка. Что делать, а? Я вас спрашиваю, дамы и господа, куда мне деваться с левым грузом? Делаю вид, что не замечаю сигнала, а сам по газам, по газам. Оглядываюсь — что-то у инспектора мотор не заводится. А я уже за поворотом скрылся. Все равно, думаю, настигнет меня этот коршун на своем форсированном мотоцикле. Сворачиваю в Каштановку, там у меня мужик знакомый хозяйство держит, тоже помогал я ему с перевозками. Заезжаю прямо к нему во двор, кавуны мы темпераментно сгружаем и под рогожку, а плетеную мебель на место. Тут как раз и подъезжает лейтенант. «Почему, говорит, сигналов не слушаетесь?» — «Виноват, отвечаю, никаких сигналов не видел». — «А это, говорит, у вас что за груз?» — «А это у меня плетеная мебель в Саки, вот наряд. Приветик!» Лейтенант: «Откиньте борта!» Откидываю — чисто! «А почему, говорит, в Каштановке скрылись?» — «Эх, говорю, товарищ Красивый Фуражкин, что же, нельзя к приятелю заехать, чашку чаю выпить?» — «Смотрите, говорит, смотрите, я ведь, говорит, все понимаю». Уехал. Я, конечно, кавуны назад в кузов. Вот ведь как бывает. Я вас не шокирую, товарищ, своим рассказом?

— Ничего, — сказал я, — что же поделаешь.

— Ага, по-всякому бывает, — заговорил инвалид, воспользовавшись паузой. — Вот меня тоже один раз профессор вызывает и говорит: «У вас, Кашкин, очень интересно протекает процесс, я, говорит, хочу про вас научную работу написать...»

— Так, так, — ласково сказал ему дядя Митя, как бы ободряя его для рассказа, а на самом деле желая прервать. — Это вы правильно, товарищ, заметили, что ничего не поделаешь. Материальный фактор вибрирует. Вот ты нам, друг-инвалид, про профессора рассказываешь, а со мной был такой случай. Ночью, значит, еду я в Феодосию, везу на рынок абрикос. Один из Бахчисарая попросил подбросить. Километров двадцать не доезжая, смотрю, выворачивает на шоссе, узнаю по фаре, капитан Лицейский. Я скорости врубаю, иду, как на гонке. На счастье,

колонна в Феодосию шла, я в нее и втерся. Лисецкий едет, смотрит, где я, а я в колонне. Он и не заметил.

— По-всякому бывает,— подтвердил инвалид.— У нас в Керчи на заводе вызывает меня как-то главный инженер и говорит...

— Вот-вот, то-то и оно,— подтвердил дядя Митя.— Я вот тоже в Джанкой один раз приехал ночью, а там вокруг рынка ходит Щербаков. Что думаю, делать? Смотрю, Петро едет, наш водитель. Он сейчас в Монголии работает. Петро, говорю, выручай...

Дядя Митя прервал рассказ и чуть было не икнул от неожиданности. Он увидел слева от себя в зеркальце лицо Ивана. Иван почти уже поравнялся с «ЗИКом». Как всегда на шоссе молодое лицо Ивана было каменным, и каменность эту еще увеличивал ремешок фуражки, охватывающий подбородок. Руки Ивана в кожаных перчатках твердо лежали на руле мотоцикла.

Он обогнал «ЗИЛ» и пошел прямо впереди, показывая своей палочкой-стукалочкой на обочину — прижмитесь, мол, товарищ водитель.

Дядя Митя остановился и вылез. Иван тоже слез со своего мотоцикла. Они пошли друг другу навстречу. Дядя Митя улыбнулся Ивану. Иван не улыбнулся ему.

— Обычный рейс,— сказал дядя Митя,— везу пассажиров в Симферополь.

— Что у вас в багажнике? — сурово спросил Иван.

— В багажнике у нас багаж, Ваня,— улыбнулся дядя Митя.

— Откройте!

Дядя Митя открыл багажник и показал молодому офицеру женские мешки.

— Это ваш багаж, товарищи? — спросил Иван у пассажиров.

— Наш, батюшка, наш,— испугались женщины.

— Следуйте дальше,— сказал Иван, козыряя дяде Мите.

— Эх, Ваня, Ваня,— пожурил его дядя Митя.

— На шоссе я для вас не Ваня, а младший лейтенант Ермаков. Сколько раз было говорено?

Иван сел на мотоцикл и, с места набирая скорость,

помчался сквозь морозящий дождь вверх по дороге, скрылся в ближайшем облаке.

— Тоже товарищ Красивый Фуражкин,— сказал дядя Митя, с печалью глядя ему вслед,— ведь пацаном я его еще знал. Учеником он у нас на базе был, болты мыл. Темный был, как антрацит. Потом, значит, набирали у нас молодежь в школу ГАИ, он и пошел...

Дядя Митя замолчал.

— Бывает,— сказал инвалид,— вот у нас, я помню...

На этот раз инвалиду удалось досказать до конца какую-то свою историю. Дядя Митя его не перебивал, он лишь хмуро смотрел перед собой на высившиеся впереди туманные кручи. Ветровое стекло все запотело, потянулись по нему длинные струйки. Собачья погода была прямо под стать дяди Митиному собачьему настроению. Он включил «дворники». «Дворники» мерно задвигались, каждый своим ходом как бы открывая перед дядей Митей картины прошлого. Он вспомнил, как пришлось ему уйти из грузового транспорта, как прекратилась его увлекательная, опасная, но выгодная работенка, как перестал он быть хозяином Крыма, а стал вот на этом вшивом такси комбинировать по мелочам. И всему виной главный его обидчик Иван Ермаков, товарищ Красивый Фуражкин.

До его появления на крымских трассах дядя Митя не знал больших бед. Были, конечно, недоразумения с капитаном Лисецким, со Щербаковым, со старшим лейтенантом Гитаридзе, с другими товарищами, но все это были легкие недоразумения, заблуждения, дым и туман. Ему удавалось притупить бдительность автоинспекции, а то и просто по-пиратски нагло уйти, скрыться, обмануть; примерно так, как он рассказывал нынче пассажирам.

Младший лейтенант Ермаков сразу стал к нему особо присматриваться. Бывало, идет вровень по осевой полосе и смотрит, смотрит. Привет, Ваня, скажешь ему, а он хмурится — я, мол, вам не Ваня. Был, мол, раньше Ваня, вы его за папиросами гоняли, бедного Ваню, вы это забудьте. Теперь, мол, я вас погоняю, младший лейтенант милиции Иван Ермаков. Такое у него примерно было выражение лица.

Потом он стал прихватывать дядю Митю, и все по мелочам — то за превышение скорости, то за неправиль-

ный обгон, то за несоблюдение дистанции. Штрафовал. Рублей, конечно, дяде Мите было не жалко, у него в то время водился презренный металл, но было как-то обидно и, главное, тревожно — чувствовал он, что подбирается Ермаков к самому главному, к «левым» его делам.

— Мелочишься ты, Ваня,— как-то сказал он ему во время очередного штрафа.

— Я вам не Ваня! — рявкнул Ермаков.

— Эх, Ваня, Ваня,— продолжал дядя Митя,— ведь ты у нас на базе когда-то болты мыл.

— Да, мыл. Ну и что же?

— Эх, Ваня, добра ты не помнишь. Помнишь, как я за тебя перед директором вступился, когда ты с базы ключи унес?

Ермаков покраснел и еще больше нахмурился.

— Это пятно я давно уже смыл,— сказал он,— и поручилась за меня комсомольская организация, а не вы, и потом, сколько раз говорено, я вам не сват, не брат и не Ваня.

Как-то раз дядя Митя рано закончил работу и пешком направился к своему дому. Был разгар летнего сезона, и все население Ялты, временное и постоянное, теснилось на пляжах, терлось боками друг о дружку.

Дядя Митя с удовольствием выпил пива, с удовольствием закурил папиросу и с удовольствием посмотрел на видневшуюся среди вечнозеленой растительности крышу своего дома.

По дороге он зашел в сберкассу и сделал очередной вклад. В сберкассе привлек его внимание плакат денежно-вещевой лотереи. В целях рекламы здесь были отпечатаны снимки счастливых с их выигрышами. Домохозяйка П. С. Курцева из Шепетовки выиграла стиральную машину, инженер П. П. Горохов из Донецка изображен был рядом с приемником «Эстония», бухгалтер В. Н. Панченко из Харькова любовался выигранным ковром... Особое внимание дяди Мити вызвал снимок, на котором показан был человек средних лет, который, сияя от редкого счастья, выпавшего на его долю, прислонился к новенькому «Москвичу-407». Подпись под этим снимком гласила: «Ф. Ч. Кулик, житель из г. Джанкоя». Не бухгалтер, значит, не инженер и не домохозяйка, житель, и все.

«Свой парень,— подумал дядя Митя, внимательно разглядывая «жителя».— Эх, достать бы мне где-нибудь выигрышный билет, хоть за любые деньги. Был бы тогда «Москвич» у моего семейства. А так ведь купишь, сразу начнут источники дохода искать. Доброхоты, мать их так!» С этими мыслями он подошел к своему дому, вошел во двор, твердый и яркий от солнца, проверил, как работает насос в колодце (хорошо работал насос), потом обошел молчаливый дом, громко покашливая, погулял по щедрому своему саду, предмету тещиных забот, потрогал яблочки (удались, родимые) и только тогда медленно и шумно стал подниматься по лестнице.

Дом у дяди Мити был просторный, крепкий, в пять комнат с кухней и санузлом. В сезон, конечно, четыре комнаты занимал разный сборный люд из северных городов, а дядя Митя с семьей, с тещей, с женой Александрой, со старшей дочкой Изабелкой, с ребятами Витькой и Игорьком, помещались в одной комнате и в пристроечках, в сарайчиках, которых несколько было на дворе.

Как дядя Митя верно предполагал, жильцы все, а также теща с детьми околачивались на пляже, и в доме оставалась лишь его жена Александра. Дядя Митя, конечно, твердо знал, что жена Александра ему не изменяет и даже в мыслях не держит этого греха, но все-таки на всякий случай всегда вот так кашлял, топтался и шумел, прежде чем войти в дом, предупреждал, в общем, о своем приходе, чтобы не было неожиданных сюрпризов. Зачем лишние скандалы в доме?

В этот раз он застал Александру, как всегда, в прохладной комнате. Она лежала на оттоманке, подложив под голову мягкую руку, а на груди у нее покоилась замечательная ее коса. Женщина она была совсем еще нестарая, мягкая, ленивая. Дядя Митя тут полюбил ее и совсем остался довольный.

Затем приблизился вечер, жара спала, установилось по всей округе прозрачное вечернее освещение. Дядя Митя услышал, что по двору забегало множество крепких ног, и спустился вниз, оставив на оттоманке жену Александру.

Любезно он поздоровался с жильцами, дружески пе-

ремигнулся с тещей, подкинул в воздух шестилетнего Игорька, Виктора за ухо потянул и полюбовался на Изабелку, которая у калитки вертелась, играла на чувствах высоченного парня в тельняшке с красными полосами.

Изабелка получилась не в мать — вертлявая, озорная, парни за ней ходят гуртом, дерутся из-за нее, а она только смеется, дитя юга.

— Замуж тебе пора, Изабелка,— говорит ей обычно дядя Митя,— как бы греха не было.

— А я греха не боюсь! — смеется дочка.— Что это за старомодные разговоры, майн фатер? Отстающее у вас поколение.

Жутким образом любил дядя Митя свою Изабелку. Вообще все свое семейство он очень сильно любил и гордился благополучием, царящим в доме. Для этого и пиратничал по крымским дорогам, для таких вот часов, для вечернего отдыха души.

Теща уже накрывала на стол прямо во дворе под платаном, тащила трескучие сковороды, крошила в салатницу помидоры, огурчики, выставила на стол бутылку с молодым вином, подброшенным на днях одним из дяди Митиных клиентов.

— Митя, Витя, Игорек, Изабелка, Александра! — кричала она.— Занимайте места согласно купленным билетам.

Дядя Митя первым сел к столу, чтобы своим примером завлечь подрастающее поколение.

— Что это за фраерочек с Изабелкой, тещенька? Не интересовались? — спросил он.

— Неделю уже ходит,— отвечала теща,— остальных всех распугал. Говорит, что инженер.

Дом булькал, клохтал, поскрипывал. Дядя Митя благожелательно наблюдал, как быстро пробежали по двору приезжие хозяйки, соображая нехитрые ужины, как московские и ленинградские детишки тем временем крутили на худеньких чреслах свои обручи, как копошились все его ежедневные шестнадцатые рубликов.

«Каждому ведь нужен отдых, витаминозная пища,— думал дядя Митя,— каждый соображает, как лучше».

— Марш к столу! — закричал он.— Эй, поколение, марш к столу. Изабелка, приглашай своего кавалера!

Мальчишки разом прыгнули на лавку и заерзали, хватая куски и получая слегка по рукам. Изабелка, смеясь, потянула за руку своего молодца. Молодец упрасивать себя не заставил и бодро зашагал к столу. Парочка издали звучала вполне прилично — тоненькая Изабелка и широкоплечий верзила, рот полон белых зубов.

— Жених! — смеялась и приплясывала Изабелка. — Имею честь вам представить женишка!

— Тили-тили тесто, жених и невеста! — с ходу заорали пацаны.

— Одну минуточку, — сказал парень, — коньячок у меня там.

Спортивным длинным бегом он пронесся обратно к калитке. На задку у него заграничными буквами было написано «kent». Он скрылся за калиткой и моментально появился снова, пронесся к столу уже с коньяком.

«Шустрый парнюга, — подумал дядя Митя, — потомство во хорошее может быть».

— Значит, выпьем, папаша, — веселился за столом жених, — дочку вы состряпали на славу.

— А где работаешь, молодой специалист? — поинтересовался дядя Митя.

— В Москве! — воскликнул жених и подмигнул Изабелке.

Вдвоем они сразу запели:

Хорошо нам с тобой идти
По ночной Москве,
Нам бульвары на всем пути
Открывают объятья...

— В КБ я работаю, — пояснил жених, — в почтовом ящике.

— Папа, папа! — закричали пацаны, влюбленно глядя на жениха. — Он Эдьке Скворцову скулу свернул, а штурмана через себя перебросил!

— Папа, я замуж за него хочу, он премии получает, — лукаво хихикала Изабелка.

— Точно! — гаркнул жених. — Недавно восемьсот дубов премии получил по проекту «Пальма», а раньше еще полтыщи отхватил по проекту «Кипарис».

— Старыми или новыми? — любопытствовал дядя Митя.

— Новыми, папаша. За кого вы меня принимаете? «Дельно»,— подумал дядя Митя, а дочке строго сказал:

— За человека надо выходить, Изабелка, а не за деньги.

— Золотые слова, Митя! Учти, внученька, на будущее,— пропела теща.

— Подумаешь, будущее!— кочевряжилась Изабелка.— У него вон «Запорожец» стоит. Видали?

Дядя Митя привстал и действительно увидел на улице похожий на серого ишачка «Запорожец», уткнувшийся носом в ствол платана. Заметил он также, что жених уже хватается под столом Изабелку за колено.

Появилась жена Александра. Сонно она взглянула на шумное семейство и присела рядом с мужем, перекинув на грудь тяжелую свою косу.

— А я маникюр себе сделала,— сказала она, и рука ее нависла над столом, словно шея лебяжья.

— Тебе бы, Александра, в самодеятельность записаться,— сказала теща,— сыграла бы ты хоть Катерину из «Грозы».

— Верно говорит теща,— подхватил дядя Митя,— маешься ты, Александра, внутренних сил в тебе много.

— Мама, а у меня жених!— крикнула Изабелка.

— Да, Александра, вот видишь, интеллигенция просится в рабочую семью,— сказал дядя Митя. И в это время как раз зашел во двор товарищ Красивый Фуражкин.

Дядя Митя как увидел его, сразу остановил свою речь, а домочадцы, проследив его взгляд, повернулись к приближающемуся милиционеру. И Изабелка, изогнув свой стан, смотрела на Ваню Ермакова оленьими глазами.

Младший лейтенант Ермаков строго шел через двор, имея перед собой цель — дяди Митину плутовскую личность, и вдруг словно получил удар в солнечное сплетение, перепутал шаги. Это он наткнулся на Изабелкин загадочный взгляд.

Он подошел к столу, кашлянул и не нашелся что сказать, кроме как «добрый вечер». Все молчали, Изабелка с женихом хихикали, глядя на него, и дядя Митя нарочно молчал, видя его смущение.

— Вы немецкий? — нарушил молчание Игорек.

— Я? — совсем уже растерялся Ермаков, краснея, обливаясь потом, чувствуя, что происходит с ним что-то неладное.

— Вы милиционер? — ехидничал Игорек.

— Да, — Ермаков схватился за спинку стула.

— Вы не за мир — забираете всех мальчиков! — торжественно закричал Игорек.

Изабелка с женихом весело расхохотались. Ермаков резким усилием воли, словно на соревнованиях по стрельбе, привел себя в порядок.

— Я лично к вам, — сказал он дяде Мите, поправляя мундир и фуражку. — Придется вам, товарищ водитель, прослушать цикл лекций по правилам движения на крымских автомобильных дорогах. Вот повестка.

— Да вы садитесь, — сказала Изабелка и подошла близко к Ермакову, — садитесь с нами вечерять. — Повестка задрожала в руке младшего лейтенанта. Дядя Митя давно уже смекнул, что к чему.

— Это, товарищи, наш автоинспектор товарищ Ермаков, — представил он нежданного гостя. — А тебе, Игорек, я уши надеру! Ваня, дорогой, сделай честь, выпей с нами стаканчик сухого и не сочти за подхалимаж.

Изабелка дотронулась пальцами до Вани, и тот неожиданно для себя сел к столу.

— Поскольку я уже не при исполнении, — бормотал он, — поскольку я сейчас как частное лицо...

— Поскольку постольку! По сто грамм, — засмеялась Изабелка.

Дядя Митя смотрел, как дочка подкладывает Ване гуляш и салат, и вдруг неожиданная гениальная мысль пронзила его. Незаметно он привстал и глянул через забор на «Запорожец».

«Подумаешь, мельница пластмассовая, проку в нем, — подумал он. — Ежели у меня такой Ванек в семье будет, я Изабелке за год на «Волгу» сколочу».

И тут он сразу переиграл свои планы насчет будущего.

Инженеришка из Москвы выставил на стол трансистор, выловил румынский твист и пошел выкаблучивать с Изабелкой. Танцевал он, конечно, лихо, да ведь не в

танцах проявляется мужская сила. Сила эта проявляется в организации семьи, а стилиста-инженера для этого не годится со всеми своими «пальмами» и «кипарисами», к тому же, может быть, моральный разложенец, хотя, конечно, в почтовых ящиках кадровый учет поставлен строго, а может, он скрыл свое истинное лицо?

Вон у Вани Ермакова какое лицо — чистое, ровное! И взгляд на Изабелку робкий, преданный. Дядя Митя даже всхлипнул, испытал к Ермакову прилив родственного уже умиления. Тут румыны вдарили вальс, и Ваня пошел кружить с Изабелкой. Дядя Митя подмигивать стал теще на них, и теща сразу его поняла, закачала головой с восхищением — какая, мол, парочка! Инженеришка помрачнел.

Спать в этот вечер легли поздно. Дядя Митя дождался, когда уснет жена Александра, подлез к окну и стал смотреть на Изабелку и ее кавалеров.

Молодежь стояла возле калитки. Инженеришка все выдрючивался, видно поражал «столичными» хохмами, а Ваня Ермаков, наш славный герой, стоял молча, заложив руки за спину, и лишь светились в темноте его чистые глаза и кокарда на красивой фуражке.

Потом, когда Изабелка упорхнула, молодые люди медленно отошли от калитки и остановились. Инженеришка нежно взял Иванову руку и чуть повернул ее, как бы показывая начало приема. Иван так же нежно показал ему начало контрприема. Потом Иван поинтересовался, знает ли инженер вот такой прием, и оказалось, что тот знал. Тогда они сунули руки в карманы. Вдруг инженер засмеялся.

— Молоток! — сказал он громко, сел в свой «Запорожец» и укатил.

Иван тоже сел на мотоцикл, посидел немного в седле, глядя в небо, и вдруг подкинул в небо свою красивую фуражку. Впрочем, тут же он ее поймал, нахлобучил и, осуждая себя за несерьезность, поехал по переулку.

Дядя Митя чуть даже не задохнулся от открывшихся перед ним перспектив.

С того дня младший лейтенант Ермаков стал частым гостем в их доме. Дядя Митя изобретал многочисленные

семейные праздники и все приглашал Ваню. Инженершке он старался дать от ворот поворот, а за Ваню вел в доме осторожную, но постоянную агитацию. Вот, дескать, парень — устойчивый, крепкий, чемпион по мотоспорту и стрельбе. Последнее обстоятельство сильно заинтриговало Изабелку, оно и решило успех дела.

— С такими нервами, — сказала она, — Иван может стать чемпионом мира.

Под осень отправились в загс. Изабелка в этот день не прыгала, держалась солидно. Иван в гражданском сером костюме весь одеревенел.

После бракосочетания предстояла молодоженам серьезная работа — перетаскивание на новую квартиру спортивных Ивановых призов. Семь раз они курсировали от милицейского общежития до дяди Митинога дома, нагруженные кубками, скульптурами и мельхиоровыми чашами.

Ух, дядя Митя веселился на свадьбе! Читал куплеты, разыгрывал с тещей сценки, пел, плясал — в общем, был душой общества. Очень ему хотелось расположить к себе приглашенное милицейское начальство — капитана Лисецкого и старших лейтенантов Щербакова и Гитаридзе. Кажется, это ему удалось.

После свадьбы молодые, как полагается, уехали в путешествие. Навьючили на мотоцикл рюкзаки, надели защитные очки, т-р-р — и укатили в Карпаты.

За время их отсутствия дядя Митя даром времени не терял, а наоборот, развивал свою плодотворную идею. Так или иначе, скоро стали они кумовьями с капитаном Лисецким; прилетела по вызову из Харькова младшая сестра жены Александры Надежда и вышла замуж за старшего лейтенанта Гитаридзе; а племянник дяди Мити Федор, прибывший из Мурманска, женился на сестре старшего лейтенанта Щербакова.

Все эти операции были завершены к приезду молодых, и на пирушке, устроенной в честь их возвращения, Иван увидел за родственным столом своих товарищей по работе.

На другой день дядя Митя сказал зятю:

— Ванюшка, дорогой, золотая моя гордость, узнай, пожалуйста, кто во вторник по дороге на Джанкой будет дежурить и на каком километре.

Дело было утром во дворе под ранними лучами теплого еще солнца. Иван прервал общефизическую подготовку и повернулся к тестю холодным официальным лицом.

— Вот что, папа, я вам должен сказать. Прошу любовь мою к Изабелле и наши родственные узы не использовать в корыстных целях. Прошу оставить эту идею раз и навсегда. На шоссе мы с вами не родственники.

— У тебя что, Иван, шарики за ролики закатились? — грубо сказал дядя Митя и пошел со двора. Тревожное, зловещее чувство охватило его.

Во вторник по дороге на Джанкой он услышал сзади комариный зуд нагоняющего мотоцикла. Это был Иван. Деловито он прижал дядю Митю к бровке, обнаружил левый груз, составил акт. Кончилось это для дяди Мити выговором в приказе.

В другой раз остановил его Гитаридзе.

— Превышение скорости, товарищ водитель, — козырнул он. — Заодно и путевочку предъявите.

— Свояк! — взмолился дядя Митя. — Душа любезный.

— Дорогой дядя Митя! — сказал Гитаридзе, проверяя путевку. — За грузинским столом гость святой человек, а ты у меня в гостях будешь как бог. Но на шоссе не обижайся, Гитаридзе будет выполнять свой долг.

Щербаков прихватил дядю Митю на севастопольской трассе.

— Как сестричка-то поживает за моим племянником? — поинтересовался дядя Митя.

— Семейные разговоры в другое время, — отрезал Щербаков. — А сейчас придется вам, товарищ водитель, сделать прокол.

Про кума Лисецкого нечего и вспоминать. Этот человек являл собой символ закона. Вросшая в мотоцикл его костлявая фигура, просвистанная, продубленная, промы-

тая всеми ветрами, градами, суховеями, дождями, и раньше-то выводила дядю Митю из состояния равновесия, а после хитроумного кумовства стала просто-таки приводить в трепет. Кум Лисецкий, вот тебе и кум, напорсился петух лису в кумовья.

Другие водители сильно забавлялись всеми этими обстоятельствами. Дяди Митина злосчастная личность стала главным комическим предметом разговоров по утрам в диспетчерской. Авторитет его резко падал. Не было дня, чтобы дядя Митя возвратился на базу без копии акта или без квитанции штрафа. Чуть ли не ежедневно ГАИ сигнализировала директору о его художествах. И во всем этом виноваты были новоиспеченные его родственники, в особенности же родной зять. В общем, плодотворная идея вывернулась наизнанку — постоянные его тираны, став родственниками, старались посильнее проявить принципиальность и тиранили вдвое.

«Змею пригрел на груди», — думал дядя Митя по утрам, глядя, как Иван и Изабелка выбегают во двор для общефизической подготовки.

Изабелку после замужества прямо стало не узнать — стала она сдержанной, неболтливой, по утрам в постели не валялась, ходила в мотосекцию, а вечерами вдвоем с благоверным готовились они к поступлению в высшее учебное заведение.

— Положительное влияние, — шептала теща дяде Мите, но тот отмалчивался, кряхтел, замыкался в себе, в оскорбленной своей душе.

Один раз он, правда, не выдержал.

— Ты бы хоть в ресторанчик жену сводил, Иван, — сказал он зятю. — Засушил ведь девуку. Ничего в тебе человеческого нет, одна красивая фуражка.

Иван промолчал и отвернулся, а Изабелка вдруг вспыхнула и пристукнула кулачком по столу:

— Вы, папа, отсталый элемент! Ничего не понимаете! Молодежь не собирается растрачивать свои лучшие годы на пустяки.

На следующий день дядя Митя уже не удивился, услышав сзади комариный зуд нагоняющего мотоцикла.

Вот из-за этих всех причин и пришлось дяде Мите перейти с грузового транспорта на такси...

Вечерний зимний ветер заканчивал уже свою бездарную мазню — размытое серыми тучами небо темнело, густело. Потом печальную эту картину подправила желтая россыпь симферопольских огней.

Инвалид все что-то рассказывал, хохоча, задние пассажиры помалкивали.

— Слушай, мастер художественного слова,— обратился дядя Митя к инвалиду,— тебе куда, на вокзал, что ли?

— На вокзал,— сказал инвалид.— Держи, браток, я тебе пару рубликов подброшу. Больше нет, извини. Вчера профессор Рабинович дал мне, как интересному больному, на дорогу десятку, а я ее спустил, грешным делом. Вот ведь профессор, а? Как тебе нравится? А говорят, жадные они до денег. Выходит, что нет.

— Ладно, давай свои рублевки, а больше без денег на такси не садись,— устало сказал дядя Митя.

Женщины с узлами тоже вышли на вокзале. Заплатили они сполна, не поскупились. Остался только один пассажир, которому надо было в аэропорт.

— Садитесь на переднее сиденье, товарищ,— предложил мне дядя Митя.— Сейчас концерт продолжим, музыку найдем. Надоело небось художественное слово?

Я пересел к нему на переднее сиденье. Он включил приемник, пробилась сквозь разноязыкую болтовню какая-то гроыхающая музыка, и мы поехали к аэропорту.

— Сами вы киноработник? — спросил меня он.

— Как вы догадались?

— Сам не знаю,— сказал дядя Митя,— всегда узнаю киноработников.

— А я вот тоже в искусство вложил свою скромную лепту,— сказал он спустя некоторое время.— Всю войну во фронтовом театре играл. Из самодеятельности меня выявили.

— Всю войну? — удивился я.

— Ага. Матроса Швандю всю войну играл. Любимец был Третьего Белорусского фронта.

— Один раз бомбу на нас сбросил наглый фашист,—

сказал он еще через минуту.— Прямо во время спектакля жаханул, да промазал.

«Вот это хват,— думал я, глядя украдкой на его лицо утомленного плута, на густые, словно подклеенные брови.— Вот это хват, сам черт ему не брат. Надо же, всю войну матроса Швандю играл».

В аэропорту мы расстались. Он донес мой чемодан до кассы. Я щедро заплатил ему, оставив себе кроме билетных денег еще два рубля на коньяк.

Дядя Митя вышел из здания аэропорта в минорном настроении. Очередь таксистов и здесь была велика. Почему-то не стал он хитрить, а сел за руль, чертыхнулся, закусил губу и разогнал свою машину по шоссе. Сильно превышая скорость и не обращая внимания на свистки регулировщиков, он промчался через город.

«Довели, загнали, обложили,— зло думал он.— Нет, я вам не заяц, не медведь, я— дядя Митя, король трассы!»

Свистя, прощелкивали мимо встречные машины. Голова кружилась. Он несся по шоссе через темную равнину, забирая все выше к горам, к старому, выветрившемуся Крымскому хребту.

За перевалом он остановился и вылез из машины. Тумана не было. Звезды колебались над головой. Безумные ветры хлестали дядю Митю со всех сторон, пронизывали одежду, щекотали ноздри, ерошили суровые брови, выдували из головы осторожность, расчет, усталость. Древняя воровская ночь окружала его. В дяде Мите проснулся хищник. Он видел под собой Крым, весь Крым и в разных частях вечерний свет в окнах клиентов, он видел Крым как туристскую схему и видел весь бассейн Понта Эвксинского и дальше — взгляду его не было границ.

Сейчас надо мандарины везти в Сухум, а гвозди в Стамбул, а носки в Тбилиси, доски, бочки, стручки перца, трикотаж, галантерею, лавровый лист, пуговицы, запонки, томаты, рыбу, кавуны, цветы, веревки, кальсоны, радиолампы, тюль, листовое железо, вилки, ложки, домашних животных, пряники, коржики, семгу, икру, вино, лекарства, кресты, надгробья, книги, табак, олово, желе-

зо, марганец, химикалии в Джанкой, в Балаклаву, в Рим, в Париж, в Москву, в Свердловск...

Дядя Митя рванул дверцу, упал на сиденье, нажал на стартер.

С четырех сторон, по шоссе и с гор, катились к нему четыре солнца или луны, четыре безмолвных светила. Это приближались, слепя фарами мотоциклов, новые его родственнички, рыцари своего долга.

„ПОВЕДА“

РАССКАЗ

с
ПРЕУВЕЛИ-
ЧЕНИЯМИ

В купе скорого поезда гроссмейстер играл в шахматы со случайным спутником.

Этот человек сразу узнал гроссмейстера, когда тот вошел в купе, и сразу загорелся невыносимым желанием невыносимой победы над гроссмейстером. «Мало ли что,— думал он, бросая на гроссмейстера лукавые узнающие взгляды,— мало ли что, подумаешь, хилек какой-то».

Гроссмейстер сразу понял, что его узнали, и с тоской смирился: двух партий по крайней мере не избежать. Он тоже сразу узнал тип этого человека. Порой из окон Шахматного клуба на Гоголевском бульваре он видел розовые крутые лбы таких людей.

Когда поезд тронулся, спутник гроссмейстера с наивной хитростью потянулся и равнодушно спросил:

— В шахматишки, что ли, сыграем, товарищ?

— Да, пожалуй,— пробормотал гроссмейстер.

Спутник высунулся из купе, кликнул проводницу, появились шахматы, он схватил их слишком поспешно для своего равнодушия, высыпал, взял две пешки, зажал их в кулаки и кулаки показал гроссмейстеру. На выпуклости

между большим и указательным пальцами левого кулака татуировкой было обозначено «Г.О.».

— Левая,— сказал гроссмейстер и чуть поморщился, вообразив удары этих кулаков, левого или правого.

Ему достались белые.

— Время-то надо убить, правда? В дороге шахматы — милое дело,— добродушно приговаривал Г.О., расставляя фигуры.

Они быстро разыграли северный гамбит, потом все запуталось. Гроссмейстер внимательно глядел на доску, делая мелкие, незначительные ходы. Несколько раз перед его глазами молниями возникали возможные матовые трассы ферзя, но он гасил эти вспышки, чуть опуская веки и подчиняясь слабо гудящей внутри занудливой жалостливой ноте, похожей на жужжание комара.

— «Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя...» — на той же ноте тянул Г.О.

Гроссмейстер был воплощенная аккуратность, воплощенная строгость одежды и манер, столь свойственная людям, неуверенным в себе и легкоранимым. Он был молод, одет в серый костюм, светлую рубашку и простой галстук. Никто, кроме самого гроссмейстера, не знал, что его простые галстуки помечены фирменным знаком «Дом Диора». Эта маленькая тайна всегда как-то согревала и утешала молодого и молчаливого гроссмейстера. Очки также довольно часто выручали его, скрывая от посторонних неуверенность и робость взгляда. Он сетовал на свои губы, которым свойственно было растягиваться в жалкой улыбочке или вздрагивать. Он охотно закрыл бы от посторонних глаз свои губы, но это, к сожалению, пока не было принято в обществе.

Игра Г. О. поражала и огорчала гроссмейстера. На левом фланге фигуры столпились таким образом, что образовался клубок шарлатанских кабалистических знаков. Весь левый фланг пропах уборной и хлоркой, кислым запахом казармы, мокрыми тряпками на кухне, а также тянуло из раннего детства касторкой и поносом.

— Ведь вы гроссмейстер такой-то? — спросил Г. О.

— Да,— подтвердил гроссмейстер.

— Ха-ха-ха, какое совпадение! — воскликнул Г. О.

«Какое совпадение? О каком совпадении он говорит? Это что-то невысказанное! Могло ли такое случиться? Я отказываюсь, примите мой отказ»,— панически быстро подумал гроссмейстер, потом догадался, в чем дело, и улыбнулся.

— Да, конечно, конечно.

— Вот вы гроссмейстер, а я вам ставлю вилку на ферзя и ладью,— сказал Г. О. Он поднял руку. Конь-провокаатор повис над доской.

«Вилка в зад,— подумал гроссмейстер.— Вот так вилочка! У дедушки была своя вилка, он никому не разрешал ею пользоваться. Собственность. Личная вилка, ложка и нож, личные тарелки и пузырек для мокроты. Также вспоминается «лирная» шуба, тяжелая шуба на «лирном» меху, она висела у входа, дед почти не выходил на улицу. Вилка на дедушку и бабушку. Жалко терять стариков».

Пока конь висел над доской, перед глазами гроссмейстера вновь замелькали светящиеся линии и точки возможных предметовых рейдов и жертв. Увы, круп коня с отставшей грязно-лиловой байкой был так убедителен, что гроссмейстер пожал плечами.

— Отдаете ладью? — спросил Г. О.

— Что поделаешь.

— Жертвуете ладью ради атаки? Угадал? — спросил Г. О., все еще не решаясь поставить коня на желанное поле.

— Просто спасаю ферзя,— пробормотал гроссмейстер.

— Вы меня не подлавливаете? — спросил Г. О.

— Нет, что вы, вы сильный игрок.

Г. О. сделал свою заветную «вилку». Гроссмейстер спрятал ферзя в укромный угол за террасой, за полуразвалившейся каменной террасой с резными подгнившими столбиками, где осенью остро пахло прелыми кленовыми листьями. Здесь можно отсидеться в удобной позе, на корточках. Здесь хорошо; во всяком случае, самолюбив не страдает. На секунду привстав и выглянув из-за террасы, он увидел, что Г. О. снял ладью.

Внедрение черного коня в бессмысленную толпу на

левом фланге, занятие им поля в4, во всяком случае, уже наводило на размышления.

Гроссмейстер понял, что в этом варианте, в этот весенний зеленый вечер одних только юношеских мифов ему не хватит. Все это верно, в мире бродят славные дурачки — юнги Билли, ковбои Гарри, красавицы Мэри и Нелли, и бригантина поднимает паруса, но наступает момент, когда вы чувствуете опасную и реальную близость черного коня на поле в4. Предстояла борьба, сложная, тонкая, увлекательная, расчетливая. Впереди была жизнь.

Гроссмейстер выиграл пешку, достал платок и высморкался. Несколько мгновений в полном одиночестве, когда губы и нос скрыты платком, настроили его на банально-философский лад. «Вот так добиваешься чего-нибудь, — думал он, — а что дальше? Всю жизнь добиваешься чего-нибудь; приходит к тебе победа, а радости от нее нет. Вот, например, город Гонконг, далекий и весьма загадочный, а я в нем уже был. Я везде уже был».

Потеря пешки мало огорчила Г. О., ведь он только что выиграл ладью. Он ответил гроссмейстеру ходом ферзя, вызвавшим изжогу и минутный приступ головной боли.

Гроссмейстер сообразил, что кое-какие радости еще остались у него в запасе. Например, радость длинных, по всей диагонали, ходов слона. Если чуть волочить слона по доске, то это в какой-то мере заменит стремительное скольжение на ялике по солнечной, чуть-чуть зацветшей воде подмосковного пруда, из света в тень, из тени в свет. Гроссмейстер почувствовал непреодолимое, страстное желание захватить поле в8, ибо оно было полем любви, бугорком любви, над которым висели прозрачные стрекозы.

— Ловко вы у меня отыграли ладью, а я прохлопал, — пробасил Г. О., лишь последним словом выдав свое раздражение.

— Простите, — тихо сказал гроссмейстер. — Может быть, вернете ходы?

— Нет-нет, — сказал Г. О., — никаких поблажек, очень вас умоляю.

«Дам кинжал, дам коня, дам винтовку свою...» — затаил он, погружаясь в стратегические размышления.

Бурный летний праздник любви на поле не радовал и

вместе с тем тревожил гроссмейстера. Он чувствовал, что вскоре в центре произойдет накопление внешне логичных, но внутренне абсурдных сил. Опять послышится какофония и запахнет хлоркой, как в тех далеких проклятой памяти коридорах на левом фланге.

— Вот интересно: почему все шахматисты — евреи? — спросил Г. О.

— Почему же все? — сказал гроссмейстер. — Вот я, например, не еврей.

— Правда? — удивился Г. О. и добавил: — Да вы не думайте, что я это так. У меня никаких предрассудков на этот счет нет. Просто любопытно.

— Ну, вот вы, например, — сказал гроссмейстер, — ведь вы не еврей.

— Где уж мне! — пробормотал Г. О. и снова погрузился в свои секретные планы.

«Если я его так, то он меня так, — думал Г. О. — Если я сниму здесь, он снимет там, потом я хожу сюда, он отвечает так... Все равно я его добыю, все равно доломаю. Подумаешь, гроссмейстер-блатмейстер, жила еще у тебя тонкая против меня. Знаю я ваши чемпионаты: договариваетесь заранее. Все равно я тебя задавлю, хоть кровь из носа!»

— Да-а, качество я потерял, — сказал он гроссмейстеру, — но ничего, еще не вечер.

Он начал атаку в центре, и, конечно, как и предполагалось, центр сразу превратился в поле бессмысленных и ужасных действий. Это была не-любовь, не-встреча, не-надежда, не-привет, не-жизнь. Гриппозный озноб и опять желтый снег, послевоенный неуют, все тело чешется. Черный ферзь в центре каркал, как влюбленная ворона, воронья любовь, кроме того, у соседней скребли ножом оловянную миску. Ничто так определенно не доказывало бессмысленность и призрачность жизни, как эта позиция в центре. Пора кончать игру.

«Нет, — подумал гроссмейстер, — ведь есть еще кое-что, кроме этого». Он поставил большую бобину с фортепьянными пьесами Баха, успокоил сердце чистыми и однообразными, как плеск волн, звуками, потом вышел из дачи и пошел к морю. Над ним шумели сосны, а под

босыми ногами был скользкий и пружинящий хвойный наст.

Вспоминая море и подражая ему, он начал разбираться в позиции, гармонизировать ее. На душе вдруг стало чисто и светло. Логично, как баховская сода, наступил мат черным. Матовая ситуация тускло и красиво засветилась, завершенная, как яйцо. Гроссмейстер посмотрел на Г. О. Тот молчал, набычившись, глядя в самые глубокие тылы гроссмейстера. Мата своему королю он не заметил. Гроссмейстер молчал, боясь нарушить очарование этой минуты.

— Шах,— тихо и осторожно сказал Г. О., двигая своего коня. Он еле сдерживал внутренний рев.

...Гроссмейстер вскрикнул и бросился бежать. За ним, топоча и свистя, побежали хозяин дачи, кучер Еврипид и Нина Кузьминична. Обгоняя их, настигала гроссмейстера спущенная с цепи собака Ночка.

— Шах,— еще раз сказал Г. О., переставляя своего коня, и с мучительным вожделением глотнул воздух.

...Гроссмейстера вели по проходу среди затихшей толпы. Идущий сзади чуть касался его спины каким-то твердым предметом. Человек в черной шинели с эсэсовскими молниями на петлицах ждал его впереди. Шаг — полсекунды, еще шаг — секунда, еще шаг — полторы, еще шаг — две... Ступеньки вверх. Почему вверх? Такие вещи следует делать в яме. Нужно быть мужественным. Это обязательно? Сколько времени занимает надевание на голову вонючего мешка из рогожи? И так, стало совсем темно и трудно дышать, и только где-то очень далеко оркестр бравурно играл «Хас-Булат удалой».

— Мат! — как медная труба, вскрикнул Г. О.

— Ну вот видите,— пробормотал гроссмейстер,— поздравляю!

— Уф,— сказал Г. О.,— уф, ух, прямо запарился, прямо невероятно, надо же, черт возьми! Невероятно, залепил мат гроссмейстеру! Невероятно, но факт! — захохотал он.— Ай да я! — Он шутливо погладил себя по голове.— Эх, гроссмейстер вы мой, гроссмейстер,— жужжал он, положил ладони на плечи гроссмейстера и дружески нажал,— милый вы мой молодой человек... Нервышки не выдержали, да? Сознайтесь!

✓ — Да-да, я сорвался,— торопливо подтвердил гроссмейстер.

Г. О. широким, свободным жестом смел фигуры с доски. Доска была старая, щербленая, кое-где поверхностный полированный слой отдрался, обнажена была желтая, измученная древесина, кое-где имелись фрагменты круглых пятен от поставленных в былые времена стаканов железнодорожного чая.

Гроссмейстер смотрел на пустую доску, на шестьдесят четыре абсолютно бесстрастных поля, способных вместить не только его собственную жизнь, но бесконечное число жизней, и это бесконечное чередование светлых и темных полей наполнило его благоговением и тихой радостью. «Кажется,— подумал он,— никаких крупных подлостей в своей жизни я не совершал».

— А ведь так вот расскажешь, и никто не поверит,— огорченно вздохнул Г. О.

— Почему же не поверят? Что же в этом невероятного? Вы сильный, волевой игрок,— сказал гроссмейстер.

— Никто не поверит,— повторил Г. О.,— скажут, что брешу. Какие у меня доказательства?

— Позвольте,— чуть обиделся гроссмейстер, глядя на розовый крутой лоб Г. О.,— я дам вам убедительное доказательство. Я знал, что я вас встречу.

Он открыл свой портфель и вынул оттуда крупный, с ладонь величиной, золотой жетон, на котором было красиво выгравировано: «Податель сего выиграл у меня партию в шахматы. Гроссмейстер такой-то».

— Остается только проставить число,— сказал он, извлек из портфеля гравировальные принадлежности и красиво выгравировал число в углу жетона.— Это чистое золото,— сказал он, вручая жетон.

— Без обмана? — спросил Г. О.

— Абсолютно чистое золото,— сказал гроссмейстер.— Я заказал уже много таких жетонов и постоянно буду пополнять запасы!

Февраль 1965 г.

Рыжий с того двора

Посвящается братьям ЯКОВЛЕВЫМ,
Борису МАЙОФИСУ,
Славе УЛЬРИХУ,
Сергею ХОЛМСКОМУ,
Рустему КУТЮЮ,
Эрику ДИБАЮ,
а также Рыжему с того двора.

Ловко или неловко я вошел тогда в ресторан — не знаю. Скорее всего, опять спасовал под взглядами завсегдатаев. Да-да, сейчас я вспоминаю: кажется, было короткое чувство позора. Это был привычный, маленький позор — следствие моей рассеянности. Почти всегда я забываю о правилах игры перед входом в этот ресторан и вхожу всегда не так, как мне подобает туда входить, не то что незаконно, но не в своей роли, и выгляжу нелепо, конечно.

Итак, опять я вошел в ресторан, думая о чем-то нересторанном, и только в середине Дубового зала, попав в переплет взглядов, засмутился, засуетился, желая быстрой где-нибудь приткнуться. Вдруг мне сразу повезло: освободился столик в углу, и я его занял, прикрыв таким образом правую часть своего тела.

Правая часть тела сразу погрузилась в бесконтроль-

ное блаженство, а левая напряглась, уже вступая в игру, изображая небрежность, томность, усталость, иронию. Мне здесь полагалось выглядеть вот каким: лицо у меня должно быть изнуренное, а движения вялые, но значительные. Если я буду таким, кто-нибудь сочувственно спросит: «Что, старик, перебрал вчера?» — и на этом все успокоится: дело ясное, близкое и понятное каждому — перебрал вчера старичок. Если же я буду каким-нибудь иным, тогда обязательно спросят: чего такой мрачный? Вопрос этот неизбежен, если я буду каким-то другим, и неизбежна следующая прямо за этим вопросом короткая вспышка бешенства, впрочем ничем не проявляемая внешне. Две минуты я посидел один, а потом подошел Юра Позументщиков.

— Чего такой мрачный? — спросил он, упираясь кулаками своими в мой столик.

Ярость тут же захлестнула меня, я моментально ее поборо, но сказал все-таки гадость.

— Что-то ты опять поправился, — сказал я Юре.

Он растерялся.

— Только что мне говорили, похудел, — пробормотал он.

— Поправился, поправился, — сказал я. — Просто не знаю, куда это тебя так прет.

— А сам-то, — дрожащим голосом сказал Позументщиков. — Сам-то — поперек шире. Квадрат несчастный.

С деланным добродушием мы оба посмеялись, и он отошел.

Еще плотнее втершись в угол, выставив оттуда лишь безучастную ногу в крепком тупорылом ботинке, я в тысячный раз обводил взглядом высокие дубовые панели ресторана, скрипучую лестницу на антресоли, подпертую витым столбом, антресоли с кабинетами и отдельный балкончик, с которого мне давно уже хотелось спрыгнуть.

Всегда полутемный, заполненный, точно газом, мутно-розовым светом, ресторан этот иной раз вызывал у меня невероятную апатию. Сейчас я будто лежал на дне, на

боку, как подводная лодка, у которой сели аккумуляторы.

Все это вовсе не значит, что я какой-нибудь гуляка, не вылезавший из ресторана. Просто я здесь слишком часто бываю. Здесь я часто обедаю, меня здесь знают и обслуживают весело и споро, и я обедаю деловито, быстро, а иной раз с товарищами, с тем же Позументщиковым, весело и быстро рассказываем разные новости. Но иной вот раз ведь бывает же так: войдешь в знакомое место, в знакомое общество, а место тебе вдруг покажется странным чертогом, а общество — скоплением чудищ оловянно- и медноглазых.

Давно уже шла вялая и мокрая зима, и мы, должно быть, все уже устали от нее.

Вдруг, непонятно почему, словно музыка заиграла, словно музыка моего уже очень далекого детства, и показалось, что сейчас с сумасшедшими весенними глазами в это капище влетит Рыжий с того двора.

Мы жили во время войны в Казани, на улице Карла Маркса, бывшей Большой Грузинской, напротив туберкулезного диспансера, бывшего губернаторского дворца, в большом деревянном доме, бывшем особняке инженера-промышленника Жеребцова. Наш двор, в котором еще сохранились жеребцовские липы, с одной стороны был обнесен забором, а с других замыкался сараями-дровяниками.

Каждую военную весну липы, как ни странно, цвели, да так, что под их сенью можно было забыть о голодухе, об измученных взрослых родственниках, о тяжелой зиме.

Рыжий с того двора долгими часами сидел на какой-нибудь из этих лип, на суку, на большой высоте, воображая себя марсовым матросом с фрегата Дюмон-Дюрвиля.

Что касается меня, то я предпочитал крышу. С террасы господина Жеребцова, где подгнивший настил угрожающе прогибался под ногами, по резному столбу я взбирался на крышу и сидел там на коньке, воображая себя матросом Кука.

С крыши были отлично видны все многочисленные замысловатые флюгеры туберкулезного диспансера,

квадратные лоджии Дома специалистов, гранитные колонны Химико-технологического института, яркое пятно крошечного садика культурной старухи Евгении Олимпиаевны на том дворе. Тот двор, откуда родом был Рыжий, напоминал запутанный, не до конца еще изученный архипелаг. С нашим двором он соединялся узким проходом между люфт-клозетом и мусорными ящиками. Там было несколько деревянных домов, два двухэтажных каменных дома, а в глубине высился добротный высокий дом: широкие окна в узорных рамах, медные решетки на балконах, многочисленные слуховые окна, мансарды, флюгеры.

Проливы, заливы, тайные щели, сырые подвалы — вот что такое тот двор, откуда родом Рыжий.

Рыжий висел метрах в двадцати от меня, чуть повыше, в зелени лип.

— Эй, на баке! — иногда кричал он мне. — Эй, Пат! Читал «Мятеж на Эльсиноре»?

Единственным мальчиком, с которым у Рыжего были более или менее человеческие отношения, был я: мы обменивались книгами Джека Лондона. Остальные Рыжего терпеть не могли — он их терроризировал. К концу дня он спускался со своей липы и устраивал в обоих дворах бесовские игрища, носился, как рыжий бешеный кот, а может быть, даже как рысь. При игре в «штандарт» мяч забрасывался на крышу; в «чику» — похищались монеты и забойный пятак; в «тринадцать палочек» — переламывалась доска; раскрученная за хвост, летела в девочек дохлая кошка. Одичавшие от долгого скитания в Полинезии матросы Дюмон-Дюрвиля...

— Катастрофическое падение какого бы то ни было интереса к искусству... Вы меня понимаете?

— Э?

— Вот посмотрите, идет негодяй.

— Кто?

— Вот этот, вы же знаете. (Негодяю — сухо: — Здравствуйте!) Милый мой, что же говорить — чудище обло, озорно, стозевно и... как там?

— Лаяй...

— Вот именно. Культура мышления, эмоциональная сфера... боржома?.. В Европе — унификация... будьте здоровы. Европа обожралась, извините за грубость, но это так, вы согласны?

— Да-да, вообще, знаете ли...

— А вот пошел достойный человек. Здравствуйте, здравствуйте! Как дома? Привет вашим! Вы его знаете?

— Передайте огурчик...

— Конечно, он мастер, он краснодеревщик, а мне по душе плотницкая работа. Знаете, уже надоело, каждый ходит со своим стульчиком в стиле «бибабо». Согласны?

— Да-да, вообще, знаете ли...

Некто пухло-величественный, вроде бы знаменитость, вроде бы в сане, вроде бы сквозь наркозную маску, — в поисках официантки:

— Кто здесь подающая... грум-грум-ух-ха-ах... надежды? Дайте-ка книгу живота.

Имелось в виду меню.

..Бешеные матросы Дюмон-Дюрвиля, рыжие коты, рыжие рыси носились по нашим дворам, взлетали на дровяники, со свистом низвергались в подвалы, прыгали на деревья.

Аська Покровская играла в лапту. Славка и Сережка старались попасть в нее хоккейным мячиком, старались попасть помягче, чтобы Аське не было больно. Аська весело прыгала, наслаждаясь своей властью над мальчишками, воображая себя грациозной.

Рыжий с того двора набежал, вырвал у Славки мяч — дай-ка я ей врежу! — залепил Аське в щеку так, что она упала.

— Сталь засверкала в руке у Джона! — завизжал Рыжий с того двора и мгновенно испарился.

— Ты, кажется, повелся с этим Рыжим с того двора? — спросила меня тетя. — Вот погоди, попадете вместе в колонию для малолетних.

Я думал об Аське, стоя посреди опустевшего двора. Весенний закат сквозил в жеребцовских липах, предвещая будущую жизнь, по которой будет ходить эта Аська,— в далеком море, в Полинезии, толстоногая Аська в мантилье, с веером... Аська,— ничего не понять.

— Ты видел, как я Аське вклеил? — спросил Рыжий подходя.

— Видел. Я бы и сам ей так вклеил.

— Так это я вклеил, а не ты,— сказал Рыжий с хитрой улыбкой.— Вот надо записку передать пострадавшей. Сделаешь, старина?

В записке было: «Аська, я тебе вклеил, потому что нечего задирать ноги. Ты пионерка, и это тебе не к лицу, крошка Мэри. Завтра буду весь день в овраге, в парке ТПИ, вход с Подлужной. Если тебе больно, можешь мне вклеить там чем хочешь, даже кирпичом. Май 1744. Борт «Астролябии».

Рыжий, щурясь, с хитрой улыбкой смотрел на закат. В его будущей жизни тоже ходила толстоногая Аська.

Вдруг он дернулся, закрутился, напряжился. Улыбка сменилась хищным оскалом обороняющегося кота. В глубине двора перелезали через забор братья Яковлевы, Славка Ульрих, Сережка Холмский и Борька Майофис. В руках у них были короткие деревянные мечи. Спрыгнув с забора, они побежали к нам.

— Петька! — кричали они мне.— Держи Рыжего! Хватай психа!

Рыжий поднял какую-то палку, а мне сунул кусок кирпича.

— Мы спина к спине у мачты, против тысячи вдвоем! — бешено крикнул он мне в лицо.

Нас окружили, и мы оборонялись, крутя над головами...

— ...А... интрадьюс ту ю май бест френд... присядем, пожалуй, здесь. Уот ду ю уонт?

— Плиз, плиз, плиз, плиз, плиз, силь ву пле!

— ...Кирпич и палку, кирпич и палку, кирпич и палку, кирпич и палку, черт возьми!

— ...Кавиар зернистый, паюсный и прочий, чикен-табака, водка?

Последовала серия контактов под общим названием «всемирно известная рашен стронг водка»; взаимопони-мающие улыбки, подмигивания, афоризмы, пока с корот-ким хлюпаньем предмет обсуждения не был пропущен внутрь, ол де бест.

— Скажите, правда ли, что в озере Лох-Несс живет небезызвестный плезиозавр?

— Гур-р-р, чикен-табака,— но в то же время внима-тельные уши — к переводчику.

— Иес, ит ливз...

Тут уж переводчик, май бест френд, выставив ушки — весь внимание, прошелся по косточкам, хр-р-р-р-р-р, кх-кх-пфу...

— Эсксьюз ми, переведи, пожалуйста: я должен по-кинуть вас на несколько пустяковых минут.

В туалете возле бачка была нацарапана шутка: «Баран-кин, молчи! 68 отделение милиции». Я знал автора шутки, но не стал думать о нем. Я плотно прикрыл дверь и при-слонился к стене.

— ...Кирпич и палку.— Борька, Славка, Сережка и бра-тья Яковлевы, умело, но осторожно фехтуя, брали нас в кольцо.

— И ты, Брут! — кричал мне Славка Ульрих, хотя си-туация была прямо противоположной той римской исто-рии, на которую он намекал, и он-то уж явно не был Це-зарем, и никто из них, а Цезарем, кажется, был ужасный Рыжий с того двора, которого я почему-то сейчас защи-щал, и защищал с сердцем, полным отваги, с сердцем, попавшим под власть блистательной демагогии: мы спина к спине у мачты...

Раз! — кто-то /с/ъездил мне по скуле. Раз! Раз! — ме-чи обрушились на башку Рыжего.

— Отступаем на тот двор! — крикнул он.

Мы прорвали кольцо и бросились бежать.

Да, видимо, все ребята объединились в желании отомстить за Аську Гюкровскую: в проходе между клозетом и мусорными ящиками, выставив вперед мечи, стояла засада — Рустем Кутуй, Эрик Дибай и еще несколько человек.

Мы заметались и лишь в последний момент успели шмыгнуть в уборную и закрыть дверь.

— Все, Рыжий, мы пропали,— сказал я.— Сейчас они сорвут дверь.

— Не теряй надежды, товарищ,— быстро сказал Рыжий, вспышками зеленых глаз обследуя помещение, пробуя плечом дощатые стены.— Нас мало, но мы в тельняшках.

Сквозь щели двери была видна орда вооруженных ребят. Они не торопились. Они стояли, весело и зло гогоча над нами, попавшими в такую унижительную ловушку. На их стороне были все преимущества — численность, вооружение и, главное, правое дело, справедливость. Нечего даже вспоминать о том, что они нам кричали.

Потом Боря Майофис подошел к уборной и тихо заговорил:

— Ребята, сдавайтесь, у вас нет выхода. Петька, тебя мы отпустим, ты тут ни при чем, а Рыжий пусть извинится перед Аской — и на этом конец. Слышите? Эй! Что же вы молчите?

Мы молчали, не глядя друг на друга. Лакированный глаз Майофиса и его черная косая челка виднелись сквозь щель.

— Совещание! — наконец крикнул Рыжий.— Отойди, Борька, у нас совещание!

— Даем две минуты,— сказал Майофис.

— О капитуляции не может быть и речи,— горячечно забормотал Рыжий.— Верно? Сейчас мы им покажем, сейчас мы им продемонстрируем, как сражаются настоящие мужчины. Извиниться перед Аской? Да она сама ко мне придет, а я еще посмотрю, брать ли ее в жены!

Он отодрал от внутренней стенки две доски и окунул их в очко.

— Открывай дверь! — заорал он.— Открывай дверь, и пусть они увидят, что отсюда выйдут мужчины, а не маменькины сынки!

Я распахнул дверь, и мы вышли, держа перед собой, словно лопаты, доски.

Мы прошли наискосок через весь двор, даже не глядя на своих противников, глядя куда-то в лазурные небеса, в малахитовые небеса, в морские лучезарные небеса, обещающие большую жизнь и Полинезию, и глядя еще иногда через плечо, на окно третьего этажа, в которое выставилась голубая и надутая Аська.

Остаток дня мы прохихотали за печкой, как домовые...

С антресолей зал напоминал закипающий суп, иногда гороховый, иногда лапшу. Это с первого взгляда, а потом уже различались распластанные чикен-табака, ошметки икры, знакомые лысины, залысины, пролысины, вице-лысины, контрлысины, проборы левые, проборы правые, проректоры и ректоры, спортсмены, девицы, англосаксонская семейка за моим столом и блаженствующий переводчик.

Я постоял немного на балкончике, с которого мне всегда хотелось прыгнуть, и стал спускаться.

...пока не вернулась с вечерней смены тетя, а после, сбжав во двор, кружили в темноте между липами, как летучие мыши, вернее, как гордые альбатросы Атлантики, а после, взобравшись по водосточной трубе и пройдя по карнизу, по бомбрамрее, бросили Аське в форточку записку. И я, глупец, чувствовал, что это ночь нашей победы и тайны, и, переполненный восторгом, уже не отделял себя от Рыжего, да и сейчас я, глупец, вспоминаю эту ночь с прохладным шелестящим ветром, с гаснущими и разгорающимися звездами, как свою собственную ночь.

На следующий день я никак не мог доискаться Рыжего, пока не понял, что он в овраге на Подлужной.

Вновь я присел к своему столу, улыбками и кивками демонстрируя симпатии к растущему культурному обмену. Я ждал официантку, чтобы расплатиться и уйти, но тут как раз в зале появился Рыжий с того двора.

Он вошел спокойно и солидно и только лишь каким-то знакомым жестом вытер ладонью розовое с мороза лицо. Получился из него крупный мужчина с расправленными плечами, периферийный технический интеллигент, не отстающий от моды; кажется, даже преуспевающий был у него видок. Я не видел его девятнадцать лет, с того времени, когда он четырнадцатилетним пареньком уехал в Ригу, в Нахимовское училище. Да, ведь вот что — Нахимовское! Должно быть, он морской офицер и лишь иногда щеголяет в этом ладном модненьком костюме.

...Там в овраге, в буйных зарослях папоротника, лопухов и «куриной слепоты», гуляла парочка — голодранец Рыжий и Аська — генеральская дочь. Там за ними следили из-за бузины я, бесшумный, как Гайавата, и кое-кто еще. О, девочка и мальчик, вы не видите беды, а трое хулиганов с лихой Подлужной в кепках «Костякапитан», с раздутыми щеками, лопающимися от кавалерийского жмыха, цыкающие желтой слюной, уже идут по вашим следам.

— Гы-гы,— реготали в кулак хулиганы,— сейчас устроим сабантуйчик, сейчас накрутим леди Гамильтон косички...

Я спрыгнул сверху на одного из них, и сразу все покатилося в желтой и зеленой пелене, в которой иногда возникал, укрупняясь, набегающий Рыжий с сумасшедшим лицом, и все вертелось дальше, лиловый и желтый круг воспоминаний, лишь изредка прорываемый вспышками голубизны, в которых, в этих вспышках, бежали наши густой толпой, а потом «подлужные», а потом снова наши, и снова они, и Аська мелькала то ли в бантах, то ли просто в своих глазах, и сыпались тумачи, и вновь лилово-желтое застилало глаза, пока не улеглась пыль и не остановился этот бешеный бег возле трех странных сооружений на бревенчатых лафетах, возле трех катапульт системы Рыжего, установленных нами ночью над оврагом.

...Мой Рыжий — был ли это сон? — постепенно линял, от его флотской — или периферийной? — заносчивости не осталось уже ни следа, он мрачнел, озирался, стоя посреди зала, где не было ни одного свободного места и где, конечно, разговорное шевеление губ, улыбки, подмигивание и хохотание казались ему неким столичным таинством, исполненным глубокого смысла, а я сидел, вмазавшись в кресло, в страхе перед возможной ошибкой; а англосаксы уже встали, и стол очистился.

— Свободно, товарищ? — спросил сразу же подошедший Рыжий. — Мне нужно два места.

— Свободно, конечно. Только извините, пока не убрано, — залепетал я, — но это очень быстро. Шурочка сейчас все наладит, вы не вол...

Он с удивлением смотрел на любезного гражданина.

— ...нуйтесь, я здесь свой человек. Шурочка? Сейчас все уберут и накроют, будьте спокойны, а почему два?

— Я жду...

— Даму?

— Вот именно. Даму.

Улыбка порхнула по рыжим пятнышкам.

«Господи, Аську, что ли?»

— Это прекрасно. Все прекрасно, товарищ. А я вам не помешаю?

— Да чего там, стол большой, — устало, словно отмахиваясь от меня, сказал Рыжий.

Дама появилась вскоре. Это была Аська, конечно, но от ее толстоножества и постоянной надутости не осталось и следа. Это была замечательная высокая тридцатилетняя, усталая, все понимающая, слегка ироничная дама. Короткие черные (вот странность!) волосы, нежная шея, тонкая рука с папиросой, спокойный взгляд — все было безыскусственно, естественно, прекрасно, но почему же так невероятно сквозь даму проглядывала наша милая кривляка Аська?

Рыжий встал ей навстречу с суровостью, свидетельствующей о сложности и драматичности их отношений, вытянулся во фрунт, офицерскими приемами — стул назад, стул вперед — усадил даму, а она чуть кивнула мне, чуть улыбнулась мне, как человеку «своего круга», она сразу разгадала во мне человека «своего круга» и уже

совсем с другой улыбкой повернулась всем телом к Рыжему. Улыбка и поворот были такими, что всем сразу стало ясно, что тут к чему.

Они заговорили сразу быстро, приглушенно, Рыжий — сердито, Аська — досадливо, а я, уткнувшись в чашку с кофе, украдкой взглядывал на них, и то мне хотелось погладить этих детей по головам, то вдруг я сам становился тем прежним голодранцем перед чужими взрослыми людьми.

Они замолчали, когда подошла Шурочка, потом сделали заказ, потом опять замолчали... Разлад, разлад, размолвка, «драма», страдание — вот что было у них, я это чувствовал и понимал, что тянется это годами.

— Алло, товарищ,— вдруг обратился ко мне Рыжий,— правда, что здесь бывают сплошные знаменитости? Вот мне говорили, что в этом ресторане плюнешь — и в знаменитость попадешь.

— Да, бывают. Вам правильно говорили,— сказал я, а Аська опять улыбнулась мне, как человеку «своего круга».

— Ну где же они, товарищ? Покажите хоть одного. Надо же будет хоть чем-нибудь похвастать,— напористо куражился Рыжий.

— А вот, пожалуйста, посмотрите — возле колонны сидят Икс, Игрек и Зет. Это как раз знаменитости.

Все трое сделали мне «салютик», а Игрек привстал и поклонился Аське. Аська надменно ему кивнула.

— Ты знакома с ним? — быстро спросил Рыжий.

— Немного,— ответила она.

Икс улыбался овалом, Зет — полумесяцем, а Игрек, собака, улыбался кружочком.

— Может быть, вы тоже знаменитость? — спросил меня Рыжий.

— Нет, что вы,— испугался я.

— Ну-ну, не скромничайте,— улыбнулась мне Аська.

— А кто вы будете, товарищ, извините, а? — спросил Рыжий.

— Я художник, но не знаменитый. А вы кем стали, Рыжий?

— Что такое?! — заревел Рыжий.— Не хаами, парень, а то...

— Успокойтесь, дорогой мой Рыжий с того двора! — воскликнул я.— Я знаю, кем вы стали. Вы стали конструктором страшных катапульта, при помощи которых Ганнибал разбил войска Наполеона и овладел городом Иерихон! А вы кем стали, Аська, генеральская дочь?

Они оба перегнулись через стол и напряженно уставились на меня, но взгляды их были невидящими, они были как буры, они стремительно уходили в прошлое, в то летнее утро, когда...

...На краю оврага собралось все наше воинство — братья Яковлевы, Борька Майофис, Славка Ульрих, Рустем Кутуй, Эрик Дибай, Сережка Холмский и еще с десяток ребят, и Аська — Прекрасная Дама, и я, а Рыжий с того двора сказал:

— Это знаменитые катапульти, при помощи которых Ганнибал разбил войска Наполеона и овладел городом Иерихон,— и расхохотался.

А вокруг было: под чесночным соусом и томатным, под соусом тартар, под соусом ткемали и нашараби, с приправой из портулака и гурийской капусты, зимних помидорчиков и огурчиков, вкупе с шампиньонами и жульенами из дичи — вырезки, люля, шашлыки, осетрина, судак-орли и чикен-табака — под хруст розовых ассигнаций, под бульканье «твиши», «псоу», «гурджаани», под бульканье рашен стронг водка, с тостами, без тостов, с намеками и без намеков, с аппетитом и без аппетита — под оркестр.

Они все еще блуждали взглядами где-то в закоулках «того двора», аукались взглядами среди жеребцовских лип, ныряли во влажный сумрак оврагов парка ТПИ в «курунину слепоту».

— Эй, на «Астролябии», суп есть? — крикнул я, соединив клич нашего детства и современную глупую шутку.

— Петька,— улыбнулся Рыжий.— Петька?! — крикнул он.— Петька! — захохотал он и дал мне через стол тумака.

— Бог ты мой,— сказала Аська и приложила ладони к щекам.— Петя,— нежно улыбнулась она мне,— вот уж никогда не думала, что художник Пётр П.— это наш Петя.

Началось: а помнишь, подожди, помнишь, как...

— Чемпионат по «махнушке»... как у тебя ноги-то? Штаб в дровянике, помнишь? Подождите, мальчики... ты, как всегда, через крышу... это когда организовалась тимуровская команда? Ну да... мне не нравилась утренняя физзарядка... ну, ты вообще... позвольте, товарищи, тимуровская команда — это тайное общество стремительных благодетелей, а Борька Майофис... да уж, а кто первый прыгнул с обрыва? Я, я, я... какая желтая там была вода, помнишь? А помните? Откуда тебе это знать? Наши заработки, чистим, блистим, лакируем, кто лучше всех выбивал дробь? Ты, ты, ты... мы пролезли в кино на «Леди Гамильтон», я всегда плакала в том месте, когда она старая... а пузырьки в аптеку? А те лягушки в заречных прудах... кто больше всего наловит лягушек? Я, ты, братья Яковлевы, мы их сдавали на кафедру физиологии, пятерка за штуку, а на Малой Сорочке — пшено в трофейной патоке... эрзац-сахар на нитке принес Сережка Холмский, ему батя из Германии... ну, а катапульты?

Теперь доказано, что все войны, какие только ни были на земле, имели экономическую первопричину. Крестовые походы, как известно, были вызваны поисками новых торговых путей на Восток, и даже та война, которую затеял некий сластолюбивый хан для того, чтобы захватить грузинскую царицу Тамар в свой гарем, тоже имела таинственную экономическую основу.

Так и наша война с Подлужной улицей лишь внешне была борьбой за оскорбленную честь нашей Аски, за право Аски гулять с кавалерами по оврагам. Из опроса пленных было выяснено, что защищает Подлужная вовсе не овраги и не право бесконтрольного разбоя по оврагам, вовсе не право обижать девочек в голубых бантах, а защищает она конюшни кавалерийской школы, примы-

кавшей к парку. Потайной лаз в конюшни к неограниченным запасам кавалерийского жмыха, а также общение с блистательными кавалеристами, а также кони, красавцы кони, которых разрешалось иной раз поводить за узду,— вот что волновало ребят с Подлужной и вот почему в то утро мы увидели их плотно сомкнутые ряды на дне оврага.

— Ну хорошо, давайте-ка, ребята, давайте, чтобы не расплакаться, бросьте, какой там ужас, девятнадцать лет, ну, прошли и прошли, а как бы ты хотела, милая моя, давайте выпьем, только уж без этого «со свиданьем», за встречу, так, хорошо пошло, Рыжий?

— Прошло, пролетело,— по-офицерски крякнул Рыжий и хитро прищурился на люстру.— А не подадут ли нам здесь ямайского рома с кайенским перцем?

— Шурочка, ямайского рома с кайенским перцем,— сказал я.

— Придется подождать,— сказала Шурочка.

Рюмка увлажняющим, очень размягчающим образом подействовала на Аську.

— Вам хорошо, ребята,— сказала она,— вам хорошо, в вашем лучшем мужском возрасте, а я... а я...

— Ты в лучшем своем возрасте,— сказал я,— и ты еще долго будешь в нем. Вот этот лучший твой возраст проглядывал еще и тогда, проглядывал в небесах, и только такая, как сейчас, ты смутно ожидалась...

— Это серьезно?— взволнованно спросила Аська.

— Ты это серьезно?— перегнулся через стол Рыжий.

— Кем же ты стал, Рыжий?— спросил я.

— Я?— В глазах его зажглись далекие фонарики.— Я строитель. Работаю в исполкоме в отделе строительства.

— Bravo,— сказал я,— ты занят созиданием. Дух разрушения уступил место духу созидания.

— Да,— сказал Рыжий,— мы претворяем в жизнь большие задачи по освоению Севера.

— Севера?— спросила Аська. Она отвернулась от нас, курила и смотрела в потолок.

Рыжий полоснул по ней огненно-творческим взглядом.

— Мы строим на нашем дальнем Севере города будущего. Пластиковые купола, под которыми будут бить фонтаны, щебетать птицы и...

— Хватит,— сказала Аська.

Рыжий ткнулся носом в тарелку и оттуда, из-за бифштекса, словно из засады, засверкал в меня глазами, заподмигивал.

— Никакой он не строитель, Петя,— сказала Аська,— ни из какого он не из исполкома.

— Я прекрасно знаю, кто ты,— сказал я и засмеялся.— Ведь ты же поступал в Нахимовское училище. Ты морской офицер.

— А пофантазировать разве нельзя? — сказал Рыжий, улыбаясь и выпрямляясь.— Конечно, я моряк. Командую одной... хм... гм... плавединицей...

— Буль-буль? — спросил я радостно и радостно рукой изобразил виляющую (почему же?) подводную лодку.

Рыжий покосился вправо, покосился влево, потом утвердительно прикрыл глаза.

— Арктический патруль?! — воскликнул я.— Скоростные погружения?! Залпы из-под воды?!

— Спокойно, дружище,— снисходительно улыбнулся Рыжий.— Не так громко.

Он, посмеиваясь, сидел передо мной. Командир атомного ракетносца, скажу я Иксу, Игреку и Зету, когда они спросят, кто со мной. Командир атомного ракетносца сидит передо мной, и веско взбухшие вены видны на его веснушчатых руках.

Аська сощуренно и зло повернулась к нему.

— Зачем тебе это надо? — повысила она голос.— Зачем тебе это фанфарство? Неужели ты не можешь без...

Рыжий выхватил платок и чихнул, заглушая ее последние слова.

— А где же наш ром с кайенским перцем? — крикнул он через платок и дальним от Аськи глазом мигнул из-за платка мне.

— А вот он, ромчик ваш,— сказала Шурочка.— Викторина вместо кайенского малапагского насыпала. Пришлось менять.

От рома мы запылали сдержанным желтым огнем и приблизились друг к другу, объединившись глазами.

— Я жонглер! — гордо сказал Рыжий.

— Вот это ближе к истине, — усмехнулась Аська, встала и протянула мне руку. — Пойдемте танцевать.

Я держал свою ладонь на ее нежной спине, и мы медленно танцевали. Она немного склонила голову и то смотрела на меня с теплой усмешкой, а то смотрела в сторону с теплой печалью. Икс, Игрек и Зет улыбались мне, как точка-тире-тире-точка-точка-тире и неожиданно запятая. Еда коченела перед ними, они совсем забыли о еде, увлекшись нашим танцем.

— Как это странно, — заговорила Аська, — художник Н. — это вы, это ты, Петя. Я слышала о ваших, твоих работах и даже кое-что видела у...

Рыжий, стоя возле нашего стола, жонглировал тарелками, стаканами, ложками и бутылками. Он смотрел на нас огромными глазами и еле шевелил расставленными пальцами, а над головой его висела звенящая арка из пролетающей в разных направлениях посуды.

— Я хотела бы зайти к тебе, — сказала Аська, и вдруг мне показалось, что здесь определяется какой-то вызов, какой-то решительный вызов судьбе. — Я хотела бы посмотреть твои работы.

Я подумал о том, как она сидела бы в моей мастерской, положив ногу на ногу, а подбородок на ладонь, а я стоял бы перед нею в своей дурацкой ермолке и вельветовой куртке, и это было бы в моей мастерской, в кругу любимых мной предметов, в кругу моей тихой жизни, о которой мало кто знал, и этот ее приход, это ее сидение в моей мастерской было бы как раз тем итогом, той точкой, к которой я, сам того не зная, стремился и...

Когда они приблизились, мы увидели, что в руках у них стальные прутья, то ли выломанные из ржавых кроватей, то ли выкованные кузнецами Дамаска, и мы увидели, что их вдвое больше, чем нас, и что наши катапульты и глиняные бомбы для них пустой звук, но холмы были заняты, и карфагеняне стояли, подняв боевые

значки, и матросы Дюмон-Дюрвиля стояли спина к спине у мачт, и Рыжий крикнул, косясь на девочек, маячивших в отдалении, на Ее Толстоножество в голубых бантах:

— Готовь орудия!

— Нет,— сказал я,— лучше не надо. Лучше не приходите, Аська. Лучше не приходите ко мне.

Два-три поворота с мелкими шагами, с ритмичными покачиваниями плеч и бедер под ту-ру-ру саксофона, под бу-бу-бу контрабаса, и этого разговора как будто и не было, как будто и не было этого вызова судьбе.

Рыжий с жалкой улыбкой вытащил из-за пазухи красного петуха, вытащил изо рта полосу огня. Петух, вытянув шею, как глухарь, со свистом пролетел через ресторан прямо на кухню, а огненная полоса тянулась за ним реактивным выхлопом. Рыжий начал кланяться. Он кланялся и кланялся, но аплодисментов не было.

— Я несчастна с ним, Петя,— тихо сказала Аська и обмякла в моих руках.

Рыжий тогда с загоревшимся взглядом, с вылепленным жестким лицом упругими скачками взлетел по лестнице и появился на балкончике, с которого мне всегда хотелось прыгнуть.

— Эй, едоки! — крикнул он. — Жирные вожди острова Туамоту! Вы проводите в праздности ваши ленивые дни, и дары природы валяются к вам прямо в руки. Но я пришел сюда к вам, в ваше царство Лотоса, я пришел сюда, оставив за спиной тайфуны и ураганы, самумы, смерчи и торнадо, я — Рыжий с того двора, и я обменяю всю вашу еду, весь ваш остров на жалкую нитку/бисера, на всего только одну маленькую ниточку из бездонных трюмов «Астролябии». Салют!

Он перелетел через барьерчик и прыгнул вниз и, отскочив от пола, как от батута, перевернулся в воздухе.

— Петька, присоединяйся! — крикнул он мне, и я тут же оказался в воздухе и тоже перевернулся через себя прямо под потолком.

Мы долго прыгали, гогоча, отскакивая от пола, как

от батута, кувыркаясь, а потом гигантскими прыжками вылетели вон, делая по пути кульбиты, колесо, двойные и тройные сальто.

Потом мне рассказывали, что посетители ресторана были удивлены нашим странным поведением, но метродотель Адрианыч сказал:

— Ничего странного не произошло. Мы были информированы заранее. Встречи друзей детства всегда кончаются таким образом,

1967

НА ПЛОЩАДИ И ЗА РЕКОЙ

Всю ночь ждали, и во всем нашем ветхом деревянном доме в центре Казани, в бывшем особняке инженера-промышленника Жеребцова, во всех десяти комнатах-квартирах постоянные жильцы и эвакуированные сидели на венских стульях, на табуретах, на сундуках, тихо переговариваясь друг с другом и поглядывая на серые тарелки радиоточек, а мы, мальчишки, копошились в захламленном коридоре, играли в «махнушку», покуривали, никто нас не гнал спать.

То ли был дождь, то ли чистая луна освещала замершие в ожидании улицы, то ли был ветер, то ли полный штиль, то ли были мы голодны, то ли сыты — все это не имело никакого значения и не замечалось в эту ночь.

Конечно, мы знали уже несколько дней, что Берлин взят и вся Германия занята нашими и союзными войсками, но неужели именно сегодня объявят о том, что кончились эти четыре года, эти четырежды четыре года, что никто в доме, во дворе и в школе не получит больше похоронок, что всем злодействам Гитлера пришел конец.

«Махнушка» — странная игра военных лет, странный спорт. Она пропала вместе с войной, и нигде и никогда после я не видел детей и подростков, подбивающих сапогом кусок собачьей шерсти, утяжеленный свинцовой plombой. Чемпионом «махнушки» был вертлявый подросток — Дамир Фазиев. Он бил и бил, число ударов перешло уже за полтысячи, а «махнушка» все не падала на пол, нога чемпиона работала, как шатун, а сам он болтал, скалил в улыбке желтые, прокуренные зубы.

«Дамир» — это значит «Даешь мировую революцию». От сокращения этих слов получилось благозвучное восточное имя. Была также среди нас девочка Эльмира, что означало полностью «Электрофикация мира», и девочка Велира — «Великий рабочий».

Итак, Дамир исполнял свой коронный номер, а мы сидели на продранном матрасе: Эльмира, Велира, Рафик Сагитов, Боря по кличке «Пузо», Севка Пастернак, Толик, Валерик, Шурик и я. Говорили мы о том, о чем многие дети говорили в то время, — о пленении самого Гитлера и о наказании проклятого злодея.

Вот, представьте, огромный чан, а в нем кипящее олово, и ме-е-едленно туда... Нет, гораздо лучше — в словаре Брокгауза и Эфрона описана китайская казнь «тысяча кусочков»... В клетку, в клетку Гитлера и возить по всем городам...

Гитлер, комически-ужасный, то тигр, то обезьяна, то шакал, то с топором и до локтей в крови, а то пригорюнившийся по-бабы — «потеряла я колечко, а в колечке двадцать две дивизии», — вставал перед нами с бесчисленных карикатур и сатирических плакатов.

Разволновавшись, мы шебуршали на матрасе, и изпод нас выскакивали распрямляющиеся пружины.

В другое время на нас бы шикнули, накричали, разогнали бы всю капеллу, но в эту ночь взрослые бодрствовали и тихо бродили из комнаты в комнату, тихо переговаривались, кое-кто всхлипывал. Лишь из квартиры молодого инвалида Миши Мамочко в полуподвале доносилось пение и женский визг.

Юрисконсульт Пастернак Нина Александровна курила большую папиросу, преподнесенную ей в эту ночь тетей Зоей, работницей кондитерской фабрики имени

Микояна. Всю войну Нина Александровна тяжело бедствовала, мазала свечкой сковородку, жарила на стеарине картофельные очистки, молча слезилась, а иной раз громко рыдала, говорила что-то интеллигентное, скрытно-умоляющее, а иной раз с площадной бранью обрушивалась на Севку. Никак не могла она приспособиться к военному быту, и соседи кое-как от жалких своих средств старались ее тянуть, кое-как поддерживали, приглашали вечером к печке погреться. Нина Александровна у печки оживала, расстегивалась, развязывалась, убирала вечную свою капельку с кончика носа, рассказывала о крепдешиновых платьях, о чебуреках на Военно-Грузинской дороге. Потом засыпала с открытым ртом.

От того блаженного времени, от золотого века «до войны», сохранилась у нас патефонная пластинка, морская раковина и фотоснимок с пальмами и надписью «Привет из Алупки». Пластинка пела: «Ты помнишь наши встречи и вечер голубой, взволнованные речи, любимый мой, родной...», а на обороте: «Саша, ты помнишь наши встречи... весенний вечер... каштан в цвету... как много в жизни ласки... как незаметно бегут года...» Пластинка пела молча, в памяти, ибо патефон давно уплыл на барахолку, на Сорочку, туда же, куда уплыли крепдешиновые платья Нины Александровны.

Тетя Зоя, напротив, была добрым гением нашего дома. Она была Милостью Божьей Экспедитором Кондитерской фабрики имени Микояна. Помню, в первый год войны наше семейство после ухода на флот дяди как-то растерялось, растеклось. Мы не могли «прикрепиться» ни к одному магазину, и продовольственные карточки пропадали втуне. Явилась тетя Зоя, собрала целый ворох бесполезных розовых бумажек и заявила:

— С «жирами» ничего сделать не могу, а «сахар» отоварю у себя полуфабрикатом.

Полуфабрикат оказался коричневой, пахучей, невероятно сладкой мнимошоколадной массой.

В эту ночь тетя Зоя затеяла пироги. Вдруг ожила и загудела в коридоре огромная русская печь, которая дав-

но уже, много лет, печью не считалась, а рассматривалась скорее как памятник промышленнику Жеребцову. Тетя Зоя была самой активной и оптимистичной, хотя муж ее погиб еще в первый год. Она уже готовилась к коллективному пиршеству, а другие жильцы хоть и готовились, но робко, нерешительно, все еще не веря, что Это произойдет сегодня.

— Сегодня,— говорил фотограф дядя Лазик работнику обкома Камилу Баязитовичу,— из достоверных источников — сегодня. Камил Баязитович, ведь сегодня, не правда ли? Ну скажите, все уже знают...

— Терпение, товарищи,— посмеивался Камил Баязитович.— Терпение и труд все перетрут. Всякому овощу свое время. Будем живы, не умрем. Сегодня или завтра, объявят — узнаем. Главное — враг разбит, победа за нами.

По коридору прогуливалась белокурая красавица, внакидку синее пальто — дар заокеанского союзника, моя сестра Инна.

Я иду не по нашей земле,
Занимается серое утро.
Вспоминаешь ли ты обо мне...—

напевала она и улыбалась, погруженная в свои особые, свойственные лишь красавицам мысли.

Распахнулась дверь полуподвала. Рыкая, вылез могучий Миша Мамочко, темный элемент. В полуподвале у нас была малина, а сам молодой силач, как потом выяснилось, был главарем подпольной артели каких-то гоп-стопшников, попрыгунчиков, какой-то банды вроде знаменитой «черной кошки». На фронте Миша был две недели и ранение получил, подобно Ахиллу, в пятку, но не погиб от этого, как древнегреческий герой, а напротив, вернулся, спасся, и военкомат больше его не тревожил. Обычно он ходил прихрамывающий, молчаливый, с загадочной улыбкой, в хромовых «прахарях», с палочкой, бузил шумно, но редко и в полуподвале, не на глазах. Все его боялись невероятно, он был спокоен и снисходителен к соседям, и лишь одна у него была слабость — белокурая медичка Инна не давала ему покоя.

Сейчас он приступил к моей сестре, выпирая муску-

лами из шелковой майки, поддавая плечом, небрежно, вбок рыча:

— Пойдем, Инка...

— Да ну вас к черту, Мамочко! — хохотала Инка.

— Смотри, «летуны» твои разлетятся, а Мамочко останется, будь спок. Я тебя еще потрогаю своими ручками.

— Стыдитесь, Миша, сегодня война кончается, а вы... — воскликнул дядя Лазик.

— Война! Война! — вдруг заорал Мамочко кривым ртом. — Кому война, а кому мать родна!

— Позор! — воскликнула Нина Александровна.

— А вот я сейчас его ухватом! — крикнула тетя Зоя.

— Держись в рамках, Мамочко, — сказал Камил Баязитович.

— Дорожку не спеша старушка перешла, — запел Миша, — навстречу ей идет милиционер.

Свисток не слушали,
Закон нарушили,
Платите, бабушка,
Штраф три рубля...

Играя в такт большими белыми плечами и выставив впереди растопыренные пальцы, он двинулся на дядю Лазика, но в это время по всему дому из всех радиоточек медлительно прозвенели позывные московского радио, и разом застучали на улице пистолетные выстрелы, слышалось «ура».

Под окнами на мокром асфальте с поднятыми пистолетами стояли Инкины «летуны», три молодых наших красавца с тросточками, а одна рука на перевязи, а одна нога в гипсе, а четвертым был француз с костылем, выздоравливающий офицер из полка «Нормандия — Неман». Все четверо вопили «ура», палили в воздух, в серое, едва пробуждающееся небо и сияли сияющими глазами, молодыми глазами победившей молодежи.

— Инка, победа!

— Победа!

— Инка!

— Внимание! Говорит Москва! — наплывал из репродуктора левитановский раскат,

Француз плясал вокруг своего костыля. Победа необозримой танцплощадкой, феерическим дансингом сияла перед колченогими Инкинскими мальчиками.

А мы, зашвырнув куда-то «махнушку» и не дослушав даже приказ, сыпанули по улице Карла Маркса к центру нашего города, к площади Свободы,— Дамир (Даешь мировую революцию), Эльмира (Электрофикация мира), Велира (Великий рабочий), Рафик Сагитов, Боря по кличке «Пузо», Севка Пастернак, Толик, Валерик, Шурик и я.

Мы бежали изо всех сил, и все рвалось перед нами, все открывалось с треском, с хлопанием, мгновенно, на миг, как будто лопалось в разных местах беленое полотно,— первый луч солнца, одна голубая лужа среди множества темных, косичка, бантик, красный флаг, самолет, лошадь, моряк — ярко и навсегда.

Когда мы выбежали, улица была пустынна, а к площади мы подбегали уже в густой бегущей толпе, а на площади в лужах под окнами юридического института уже танцевали студентки, и подъезжали уже трамваи, обвешанные людьми, и на столбах висели уже мальчишки, и вывешивались лозунги на Доме офицеров, на заводе «Пишмаш», и за колючей проволокой со строительства оперного театра кричали и махали пилотками — вот чудо! — пленные мадьяры, и... и... мы все бежали, боясь куда-то опоздать, что-то упустить, и опомнились только на башне пленного «Тигра», с бессильно повисшим оружием, который вот уже года два стоял на площади среди других трофеев.

Появились самолеты, два самолетика «ПО-2». Они спустились так низко, что можно было видеть смеющиеся лица летчиков. Они пролетели прямо над трубами и рассыпали множество листовок: «С победой, товарищи!» Потом листовки эти стали бросать из окон Дома офицеров, с крыш, а бипланы весь день улетали и возвращались с новыми порциями листовок.

Мы сидели на грязном чудовище, которое кто-то где-то когда-то любовно ковал для того, чтобы всех нас убить, а теперь чудовище было понурым и жалким, со стыдливо опущенной пушкой, а мы сидели на нем для того, чтобы все видеть вокруг, а вокруг было...

Леонид Утесов:

Барон фон дер Пшик
Отведать русский шпиг
Давно уж собирался и мечтал...

— Девочки, девочки, ловите старшего лейтенанта!
Качать его, качать! Ой, батюшки, сил нет! Ой, умру!
Клавдия Шульженко:

В запыленной пачке
старых писем
Мне случайно встретилось одно...

— Ребята, а где же Гитлер? Неужели утек? Его убили? Дудки! Его видели в Дублине переодетым. Подводная лодка Гитлера замечена возле острова Гельголанд. Убежал, зараза? Да нет, он отравился...

Марк Бернес:

Рыбачка Соня как-то в мае,
Направив к берегу баркас...

— Что же теперь будет? Ах, как будет славно! И карточек не будет? И чумары не будет? И толкучки не будет? А что же будет? Будет масло и сыр, вишневое варенье, и будет футбол. Бутусов опять будет ломать штанги, а я поступлю в университет, ах, как будет славно!

«Кто ты, кто ты, кто ты, кто ты? Я солдат девятой роты, тридцать первого полка...», «На позицию девушка провожала бойца...», «Над светлой и чистой любовью моей фашистские псы надругались...», «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне назная чья-то рука...», «И вот он снова зазвучал в лесу прифронтовом...», «Над милым порогом качну серебряным тебе крылом...»

Вот идут наши герои, наши кумиры, и не в строю, не печатая шаг, а взявшись под руки, словно девушки, и смеясь, пехотинцы, артиллеристы, танкисты, все рода войск, идут, брэнча орденами и медалями. А вот — о боже! — моряк с гвардейской черно-оранжевой лентой, почти такой же фантастически прекрасный, как наш тихоокеанец дядя.

Прибежал потерявшийся было Пузо.

— Ребята, за мной, там подполковник всем мороженое дает!

С «Тигра» всех как ветром сдуло, и все — к подполковнику, который медленно двигался в толпе, толкая перед собой тележку. Тележка была закуплена им целиком по «коммерческой» цене, и он угощал всех ребят — всех, любого без разбора, — коричневым кислым мороженым, странным мороженым тех лет, сделанным из невероятно странного молока «суфле».

Я много бы дал за то, чтобы вернуть тот день и особенно тот миг, тот мой восторг, когда над площадью чистым серебром запели фанфары и мы увидели слона. Огромный серый лоб и спина слона плыли над толпой, а на спине стоял мальчик-униформист с трубой. А за слонем горделиво шествовал ученый верблюд. Это был цирк Дурова, гастролировавший тогда в Казани. В полном составе он вышел на улицы, чтобы поздравить горожан.

Впереди на белом коне ехал сам Дуров в гусарском костюме, расшитом золотом. Ментик, кивер, сабля и ташка — все как полагается. Дуров держал в одной руке знамя, в другой — пылающую трубу. Далее следовал, поводя хоботом, слон. В огромном сердце слона, конечно, бушевал восторг, но он сдерживал себя, слонище, и деловито топал вслед за танцующим крупом лошади. На боках его висели фанерные щиты с надписью «Победа». Подскакивая, мы цапали африканца за бахромчатые уши, и в другое время он, конечно, пресек бы такое нахальство, но не в этот же день, и он дарил нам эти прикосновения так же, как подполковник мороженое.

Корабль пустыни шествовал далее с униформистом между двумя косматыми горбами, с такими же, как у слона, фанерными щитами на боках. Трудно, конечно, было ему смахнуть с морды гримасу вечного презрения, но все же в отвислых его губах таилась улыбка.

За верблюдом, вообразите, катила «эмка», на крыше которой сидел леопард. Хищник туповато и вяло поводил желтыми глазами, видимо слабо разбираясь в обстановке, зато медведи внутри «эмки» вели себя шумно и даже разухабисто, крутили мордами, махали лапами, били друг друга по плечам.

А дальше бежали, брэнча и топоча, три упряжки пони в бубенцах и лентах, а в разукрашенных колясках множество было набито всякого зверья, а также там сидели артисты с гармониками и дудками.

И вся эта немыслимая кавалькада прошла через площадь Свободы, потом по улице Лобачевского, мимо Черного озера, потом по Чернышевского к нашему белому Кремлю, потом спустилась на улицу Баумана и докатилась до Кольца и снова вверх по улице Куйбышева к площади Свободы, и все это в серебряном пении фанфар, в мелькании самых ярких красок под абсолютно голубым небом, и так они топали, цокали, брэнчали, трубили, словно отделяя этим своим шествием для всех ребят военные, прошлые годы от будущих — мирных.

Кажется, солнце держалось в этот день на небе гораздо дольше, чем ему полагалось по календарю, но все же оно село, укрылось в далеких и таинственных западных районах города, и голые ветви деревьев резко обозначились на голубовато-зеленом небе, и лишь тогда мы вернулись в наш дом, пропахший сдобными пирогами, в скрипучий уютный ковчег, болтающийся среди весеннего моря.

К исходу ночи пироги были съедены, и в доме воцарилась блаженная, сытая, чуть-чуть урчащая тишина. Только лишь ходики работали сильно, напористо, даже ожесточенно.

Я лежал на своем диванчике и думал об этом дне и обо всем мире, в котором прошел этот день. Огромность мира в те годы тревожила меня, казалось невероятным существование чужих и далеких стран, совершенно равнодушных к нам и к нашей судьбе. Я думал о том, что вот этот-то уж день прожит всем миром одинаково, что в этот день у всего мира была только одна общая новость, и эти мысли успокаивали меня и наполняли ощущением некоей странной гармонии. Я закрыл глаза и растворился в этом блаженном состоянии...

...Вдруг я услышал шарканье чьих-то ног у нашего подъезда, тихий стук костяшками пальцев в дверь. Стук был коротким, но шарканье не прекращалось: кто-то тщательно вытирал ноги о крыльцо. Стук повторился.

Я натянул штаны, накинул телогрейку, тихо вышел из

комнаты и спустился в подъезд. Там уже стояли Дамир, Велира и Севка Пастернак.

— Кто-то стучит,— боязливо сказала Велира.

— Кто там? — крикнул Дамир.

— Откройте, пожалуйста,— послышался за дверью глуховатый мужской голос.

В подъезд один за другим входили наши ребята. Дамир открыл дверь. На крыльце стояла какая-то сутулая фигура в черном, сильно поношенном пальто, в шляпе. Из-под широких обвислых брюк матово блестели головки новых калош.

— Вам кого? — сердито спросила Эльмира.

— Тише! — оборвал ее Севка.— Что ты, не понимаешь?

— Я, собственно, просто так,— пробормотал человек.— Проходил мимо и решил постучать. Должно быть, ошибся, должно быть, нервы...

— Вы, наверно, по запаху,— любезным голосом сказала из-за наших спин тетя Зоя. В руках у нее был ухват.— На пирожки, потянуло? Заходите, попотчuem.

— Нет, спасибо, что вы, я в самом деле ошибся, ваш дом пятьдесят пять, а мне нужно двадцать два. Сами понимаете, как похожи эти цифры. Просто посмотрел не с того ракурса,— бормотал человек и продолжал осторожно отступать.

— Севка, Васька, Борька, заходите справа,—скомандовал Дамир.

Человек резко повернулся и побежал. Мы бросились за ним. Мы бежали очень быстро, но никак не могли его догнать. Прямо перед нами мелькали его новенькие калоши, слышались прерывистые хрипы, вырывающиеся из его груди, но дотянуться, схватить за полу черное развевающееся пальто никому не удавалось.

Уже начинало светать, и в конце гулкой улицы небо было розовым, низко висели трамвайные провода, орали грачи в пустых садах.

— Простая ошибка, элементарная путаница! Думал, двадцать два, оказалось — пятьдесят пять! — дико заорал человек, резко свернул за угол, в туче брызг пролетел по лужам сквера и дунул вниз по Подлужной, к тускло светящейся ленте речки Казанки, за которой на-

чинались уже поля и синели, розовели, зеленели маленькие озерки. Он бежал прямо к узкому дощатому Коровьему мостику.

— Неужели не догоним, неужели уйдет?! — крикнул я.

— Как же, уйдет! Там наши! Попался, голубчик! — закричала тетя Зоя.

На мосту действительно были наши — Инка и ее «летуны». Красавица сидела на перилах, свесив кудри, офицеры играли на гитарах, а француз пел никому из нас не известную песню:

Как я хочу в вечерний час
Кольцо Больших бульваров
Обойти хотя бы раз...

— Ну вот, уже гонят! — воскликнула Инка. — Мальчишки, только не стреляйте — надо живьем!

Офицеры, раскрыв объятия, побежали к человечку, но тот вдруг оторвался от земли и тяжело полетел над рекой Казанкой, заваливаясь, ухая, стеноя, рыча, то ли как сова, то ли как подстреленный бомбардировщик.

— Эх, где же мой «Як»! Где же мой «Илюшин»! Где же моя «Аэрокобра»! — в досаде закричали «летуны». По мосту загрохотали их сапоги и наши дырявые ботинки.

Человечек неуклюже приземлился на другом берегу и побежал по полям, по вязкой весенней земле.

Мы мчались за ним мимо озер под бледной луной и розовой зарей, смешались ночь и день, черное пальто все трепыхалось перед нами, и мелькали калоши.

В одном из озер по пояс в воде стоял голый Миша Мамочко.

— Берлин брал, кровь мешками проливал! — заорал он. — Вся грудь в крови! — завопил он, нырнул и вынырнул. — Искусана клопами! — захохотал он. — Граждане, червонец за шутку!

На берегу другого озера сидел с удочкой Камил Баязитович. Увидев погоню, он вскочил.

— Так и знал, что клюнет! — закричал он. — Вот это щучка.

Однако человечек снова совершил полет над озером

на распластанных вроде бы драповых, вроде бы бронированных крыльях и, вновь приземлившись, пустился в поля.

Впереди, на холме, у треноги фотоаппарата суетился дядя Лазик, а рядом стояла с поднятой кверху рукой юрисконсулт Пастернак.

— Готовьте магний, Нина Александровна! — криковал дядя Лазик. — Снимок для истории! Оп!

Вспыхнул магний, на мгновение все вокруг стало черным и белым.

— Готово!

Человечек бежал уже тяжело, калоши застревали в липкой земле, но он никак не хотел с ними расстаться.

И вот запели, зазвенели во всем чистом поле серебряные фанфары, и в розовом утреннем свете встали на горизонте конный гусар, и слон, и верблюд, и четыре медведя на крыше «эмки», и три упряжки игривых пони, и в колясках множество всякого другого зверья, и артисты с гармониками и дудками.

— Гу-у-у-у! — загомосил человечек. — Гу-гу-гу! Чучеро ру хиопластр обракадеро! Фучи — мелази, рикатуэр!

Взмахнув крыльями, он медленно поднялся в воздух, пролетел, нелепо кувыркаясь, малое расстояние и ухнул в какое-то зеленое озеро.

Когда мы подбежали, озеро шло кругами. В глубине мгновенно промелькнули знакомая косая челка, усики и оскал, потом все пропало.

— Капут Адольфу, — сказал Дамир и вытер пот,

1967

ЖАЛЬ, ЧТО ВАС НЕ БЫЛО С НАМИ

1

З а что, не знаю, такого тихого человека, как я, выгонять из дому? Бывало, когда сижу в комнате, у калорифера и читаю книги по актерскому мастерству, когда я вот так совершенствуюсь в своей любимой профессии, слышно, как вода из крана капает, как шипит жареная картошка, ни сцен, ни скандалов, никому не мешаю.

А если и задержусь где-нибудь с товарищами, опять же возвращаюсь домой тихо, без сцен, тихо стучусь и прохожу в квартиру бесшумно, как кот.

Короче, выдворила. Распахнула передо мной двери в пространство, в холодеющий воздух, на Зубовский бульвар; и, поджав хвост, двинулся к Кропоткинскому метро, по пустой улице, куда — неизвестно; ах, мне ведь не восемнадцать лет, и зима на носу; только и успел я собрать все свои справки и диплом.

Я шел с портфелем, в котором только бумажки и белье, поводя трепещущими ноздрями, унося в себе все обиды и раннюю язву желудка, кариозные зубы и здоровые, одну золотую коронку и запас нерастраченного темперамента; нервы, нервы, сплошная нервозность.

Вы знаете, когда возникает заколдованный круг человеческих недоразумений, тут уже ничего вам не поможет — ни трезвый рассудок, ни проявления нежности, ничего. Даже общественный суд.

«Эх, Соня, Соня», — думал я.

Короче, стою я один на Пушкинской площади. Пальто уже не греет. «Летайте самолетами. Выигрыш — время!» Это написано над магазином легкого женского платья. Изящная фигура в прозрачном силоне. Доживу ли я до лега?

Потом погасла реклама «Аэрофлота», Александр Сергеевич Пушкин — голову в плечи, пустынный вихрь на морозном асфальте — две легкомысленные девушки. Эх, взяли бы к себе, только для тепла, только для тепла, и ни для чего больше, но нет, только катятся и катятся золотые, оранжевые, изумрудные буквы по крыше «Известий», теплые радостные буквы, как последние искры лета, как искры последней летней свободы: «Часы в кредит во всех магазинах «Ювелирторга».

Вот это идея, подумал я. Пора мне уже завести себе часики, чтобы, значит, они тикали и вселяли бы в мою душу гармонию и покой. К счастью, я увидел скульптора Яцек Вейцеховского. Яцек шел по другой стороне улицы Горького, медленно двигался, как большой усталый верблюд. Заметил я, что он уже перешел на зимнюю форму одежды. Отсюда, через улицу, в своем шалевом воротнике, он выглядел солидно и печально, как большой художник, погруженный в раздумья о судьбах мира, по меньшей мере, и уж никак не о кефире и булке на завтра.

— Яцек! — закричал я. — Яцек!

— Миша! — воскликнул он, подошел к краю тротуара, занес свою большую ногу и, глубоко вздохнув, как большой верблюд, двинулся вброд.

Короче, поселился я у него в студии. Днем я все шустрил по Москве, а вечера коротали вместе. Разговаривать нам с ним особенно не о чем было, да из-за холода и рта раскрывать не хотелось. Мы сидели в пальто друг против друга и глядели в пол, сидели в окружении каменных, и глиняных, и гипсовых, и деревянных чудищ и прочих его польских хитростей и думали думу.

Вообще, дела у Яцека были далеко не блестящи: он запорол какой-то заказ и поругался со всеми своими начальниками. Такой человек — день молчит, неделю молчит, месяц, и вдруг как скажет что-нибудь такое — все на дыбы.

Да, дела наши были далеко не блестящи. Короче, ни угла, ни выпивки и очень небольшие средства для поддержания жизни.

— Вот сегодня я бы выпил, — как-то сказал Яцек.

— Ах, Яцек, Яцек. — Я стал ему рассказывать, какие вина выставлены нынче в Столешниковом переулке.

Вина эти — «шерри-бренди», «камю» и «карвуазье», «баккарди», «кьянти» и «мозельвейн» — в разнообразных заграничных бутылках мелькали в окнах роскошного этого переулка, и вместе с пышечным автоматом, где плавали в масле янтарные пышки, вместе со снегопадом мягкой сахарной пудры, с клубами кухонного пара из кафе «Арфа», с чистыми, как голуби, салфетками ресторана «Урал», с застекленной верандой этого ресторана, где за морозными разводами светились розовые лица моих веселых современников, — ах, вся эта сладкая жизнь была нам сейчас недоступна.

— Я бы сейчас и от перцовки не отказался, — скрипел Яцек. — Перцовка — це добже.

Опять мы замолчали. Яцек, король своих уродов, сидел, скрестив крупные пальцы, и смотрел на кафельный пол, а уроды его, бородатые каменные мужики и грудастые бабы, маленькие и большие, прямо-таки горой вздымались за его спиной, прямо как полк, только бы дал он приказ — и они тронутся в поход, пугая приличных людей.

Года два назад в Доме журналистов кто-то болтал, что Яцек почти гений, а если еще поработает, так и вообще гением сделается, но сейчас он не работал и даже не смотрел на своих уродов. Кажется, он был в оцепенении.

Я тоже был эти дни в каком-то оцепенении, но все же днем я безвольно метался по массовкам и, пользуясь могуществом знаменитых своих друзей, зарабатывал иной раз трешницы. Все же я помнил, что мне надо питать и себя и Яцека.

А он ничего не помнил, так и сидел день-деньской в своей дорогой шубе и смотрел на кафель. Лишь иногда вставал, чтобы разогнать кровь по стареющим жилам. Вот только сегодня он высказался насчет выпивки, и я этому был рад, даже при отсутствии реальных надежд.

— Может быть, поедем к кому-нибудь, Яцек? — спросил я. — В конце концов...

— Отпадает, — сказал он и встал.

Я посмотрел на него снизу, увидел, какой он большой и почти великий, и понял — действительно, ездить к кому-нибудь ему не пристало. Да я и сам не любитель таких занятий. Тяготы жизни еще не сломали мою индивидуальность. Сам я могу угостить, когда при деньгах, никогда не скуплюсь, но ездить к кому-нибудь и сшибать куски — экскьюз ми!

А Яцек что-то заходил-заходил, задвигался и вдруг нырнул в каменные свои джунгли, в пещеру, в дикий этот храм, замелькала по обширной студии его каракулевая шапка.

Он появился, таща в руках, как охапку дров, три небольшие фигуры — по полметра примерно длиной.

— Вот, — сказал он, — давай продадим эти вещи.

И поставил одну из фигур на пол. Это была небольшая женщина, сидящая по-турецки, шея длинная-длинная, маленький бюст, а ножки очень толстые, непропорционально развитые ноги.

— Ранний период, — сказал Яцек и покашлял в кулак.

Может быть, раньше это была сравнительно приличная скульптура, но, пройдя через разные яцековские периоды, стала она темной, пятнистой и в трещинах.

Яцек очень волновался. Он ходил вокруг фигуры и вздыхал.

— Да-а, — сказал я. — Продашь ее, как же.

— Знаешь, — шепнул мне Яцек в волнении, — это шикарная вещь.

— Так она же вся в трещинах.

— Миша, что ты говоришь? Ведь это же от холода. В тепле она согреется, и трещин не будет.

— А почему шея такая длинная?

— Ну, знаешь, — взревел он. — Уж от тебя я этого не ожидал!

— Тише, Яцек, дорогой,— сказал я.— Не кричи на меня. Я, может, больше тебя заинтересован, чтоб продать, но трещины...

— Я их сейчас замажу! — закричал он и вмиг замазал эти трещины.

Ладно, мы пошли. Завернули эти фигурки в старые номера «Советской культуры» и направились на улицу.

Мы направились во Фрунзенский район, как в наиболее культурный район столицы. Густота интеллигенции в этом районе необычайна. Говорят, что на его территории проживает до двухсот тысяч одних доцентов.

В общем так: по лунным тихим переулкам, минуя шумные магистрали, по проходным дворам, известным мне с детства, а также по работе в кино, под взглядами теплых окон интеллигентских жилищ, торопливыми шагами мимо милиции, фу...

Как-то так получилось, что в ваянии до того времени я еще не разобрался. В музыке я понимал кое-что, умел отличить адажио от скерцо, в живописи — масло от гуаши, а в скульптуре для меня что глина, что алебастр — все было одно. Только знал я, что Яцек — великий человек.

— Произведение выдающегося скульптора, ремигранта из Западной Боливии. Использованы мотивы местных перуанских инков,— сказал я отставному интенданту, каптенармусу, крысолову, Букашкину-Таракашкину, ехидному старичку.— Импорт,— сказал я ему.— Не желаете? За пятерку отдам.

Таракан Тараканович поставил женщину с замазанными трещинами на коврик в своей прихожей, поползал вокруг и сказал:

— Похоже на раннего Войцеховского.

— Яцек! — закричал я, выбежал на лестницу, стащил вниз своего друга и показал ему в открытую дверь на ползающего старичка.

— Куда ты меня привел, Миша,— слабо пролепетал Яцек,— это же академик Никаноров.

Да, попали мы на академика, как раз по изобразительному искусству. И вот академик Никаноров накидывает пальтишко и требует его в студию сvezти.

В студии Яцек стал ворочать своих каменных ребят, а

я ему помогал, а академик Никаноров сидел на помосте в кресле, как король Лир.

— Давно я к вам собирался,— говорил он,— давно. Очень давно. Ох, давно. Давным-давно.

Он восхищенно подмигивал мне и тайком любовно кивал на Яцека, а у меня сердце прямо кипело от гордости.

— Это все старые вещи,— сказал Яцек и снял с головы каракуль.— Я уже год не работаю.

— Почему же вы не работаете? — спросил академик Никаноров.

— А вот не хочу и не работаю,— ответил Яцек, положил локоть на голову одному своему мужику и стал смотреть в потолок.

Академик Никаноров восхищенно затряс головой, подмигивая мне.

— А самодисциплина, Войцеховский, а? — строго вдруг сказал он.

— Мало ли что,— сказал Яцек.— Не хочу — не работаю, захочу — заработаю. Хоть завтра.

— Какая луна нынче синяя,— сказал академик Никаноров, глянув в окно.

2

Так. Жизнь стала налаживаться. Топливо. Пища. Академик Никаноров с товарищами закупил у нас ряд работ. Работать Яцек еще пока не начал, но все же пальцами стал чаще шевелить, видимо обдумывая какой-то замысел. А я по хозяйству хлопотал: ну там стирка, мелкий ремонт одежды, приготовление пищи, уборка, то, се, дел хватало.

Вдруг однажды он встряхнулся, ножищами затопал, встал и сказал:

— Пойдем, Миша, до ресторации. Мы с тобой деятели искусств и обязаны вечера в застольной беседе проводить. Освежи,— говорит,— мне костюмчик.

Глазам своим не верю — Яцек снимает шубу, пиджак, брюки и начинает делать гимнастику.

Тут я развил бешеную деятельность. Быстро утюгом освежил наши костюмы, галстуки, подштопал носки. Вы-

рядились мы и отправились в Общество Деятелей Искусств — ОДИ.

Ресторан этот очень шикарный: в нем красный цвет соседствует с черным, но главенствует голубой, в нем бамбуковые нити трещат, как в тропиках, а глаз успокаивает присутствие скромных берез, в нем вам поднесут по-свойски, как в семье, и стряхнут мусор со стола, и никто не гаркнет — сходи домой переоденься!

В некоторой степени теснота локтей за длинным столом, дележ нехитрой закуски, жульен там или филе посуворовски, мерное течение диалогов и веские репризы, круговая чаша и шевеление под столом знакомых добрых ног — все это в некоторой степени нужно для нервов. А то бывает, что к вечеру нервы шалят, и начинаешь что-то считать, то ли годы, то ли обиды...

Мне тридцать пять лет, а по виду и сороковку можно дать. Друзья, которых давно не видел, говорят: «Мишу Корзинкина прямо не узнать. Жуткий какой-то стал». Все это так, но я часто, знаете ли, ловлю себя на каких-то странностях. К примеру, собираются за столом люди моего возраста, а то и гораздо моложе мужчины, и говорят о знакомых и понятных мне вещах, и вдруг я ловлю себя на том, что чувствую себя среди них как ребенок, что все они знают то, чего не знаю я. Лишь одна мысль утешает: а вдруг и каждый из них чувствует себя ребенком в обществе и только лишь притворяется так же, как я притворяюсь? Может быть, каждый только пыжится в расчете, чтобы его не/сбили с копыт?

В ресторане первым делом мы увидели Игорька Баркова, и к нему мы с Яцеком и подсели.

— Как дела? — спросил Игорек, крутясь на стуле, сверкая глазами то вправо, то влево.

— А тебя можно поздравить? — спросил я его.

На прошлой неделе Игорек (он режиссер) получил в Сан-Франциско премию «Золотые ворота» и прилетел домой уже лауреатом.

— Да, — сказал Игорек. — Спасибо, Яцек, — сказал он. — Ты мне пятерку не /займешь? Батюшки! — закричал он. — Ирка появилась!

Сквозь щелканье бамбука под кривыми зеркалами и декоративными глыбами прошла Ирина Иванова, наша

мировая звезда, высокая прекрасная девица, вся на винте. Шла она без лишних слов, лишь юбка колыхалась на бедрах, привет, привет, да и только.

Увидев Баркова, она присела к нам, и Игорек нас познакомил.

Год был на исходе. Выходит, значит, так: от снежных колких буранов к весенней размазне, а потом к шелестящей велосипедной команде на просохшей мостовой, от духоты наемной нашей дачи и от трясины пруда, от Со-нечкиных осенних страстей к позднему моему изгнанию, от бед и унижений к знакомству с Ириной Ивановой?

— Я хочу вас ваять,— сказал Яцек Ирине.

— Валяйте,— сказала Ирина и повернулась ко мне:— А вы тот самый Корзинкин?

Не знаю уж, что на меня нашло, но только не мог я терпеть насмешек от Ирины Ивановой.

— Какой это тот самый?— воскликнул я.— Что это значит— тот самый? Все это ложь! Никакой я не тот самый! Я сам по себе, без них без всех, и вовсе я не тот самый!

— Успокойтесь,— шепнула мне Ирина прямо в лицо, прямо в глаза и погладила по щеке.— Миша, что вы?— Она встала и сказала громко:— Я приду через пятнадцать минут, и мне бы хотелось, Миша, чтобы вы за это время переменили обо мне мнение в лучшую сторону. Ушла.

— Она хорошая?— спросил я Игорька.

— Ты что, слепой? Девица первый класс.

— Но хорошая?— переспросил встревоженный Яцек.

— Не знаю,— промямлил Барков.— Меня она не волнует.

— Яцек!— крикнул я.— Посмотри на этого сноба! Весь мир она волнует, а его нет.

Барков засмеялся:

— Да не, ребята, вы меня не так поняли. Она меня не волнует в плане кино, вот что.— Он пригнулся к столу и зашептал, смешно и быстро перемещая зрачки то вправо, то влево:— Ведь я же хочу все перевернуть, вот в чем дело. Все наоборот, понимаете? В том числе и женский тип—назад, бежать от всех этих эталонов. Как Антониони с Моникой Витти. Только я и этого па-

ренька хочу перевернуть, понятно? Все перевернуть вверх дном.

— Кого же ты будешь сейчас снимать, Игорек? — спросил я.

— Не знаю пока, но только Ира Иванова меня теперь не волнует. В этом плане.

Он стал рассказывать, что уезжает на днях со своей группой на Южный берег Крыма и там начнет снимать что-то такое замечательное, никем еще не виданное, что-то такое... сам он еще не знает что.

— Сними меня, Игорек, — попросил я его.

— Ты лучше, Миша, иди ко мне администратором.

Он засмеялся.

— Нет, — сказал я, — об администраторе не может быть и речи, а вот ты лучше сними меня в какой-нибудь роли.

Игорек опять засмеялся, а Яцек обиделся за меня и перешел на «вы».

— Почему же вы не хотите снять Мишу? — сказал он. — Чем же он хуже других? Я вот, к примеру, собираюсь его ваять.

— Ладно, — засмеялся Барков. — Сниму тебя в эпизоде. рта не успеешь открыть, как я тебя сниму.

— Напрасно ты так относишься к эпизодам, — упрекнул я его. — Ты бы посмотрел на Феллини. Какие у него эпизоды!

— Сниму тебя с блеском, — сказал Игорек. — А Феллини у меня еще попляшет.

Подошла Ирина и присела рядом со мной.

— Фу, — сказала она, — вы бы хоть бутерброд мне сделали, Миша.

Я быстро состряпал ей бутерброд с кетой, а сверху положил кружок парникового огурчика и зеленый листочек для красоты.

— И воды налейте, — попросила она.

Я налил ей боржома и положил в фужер ломтик лимона. Она с удивлением посмотрела на меня и вдруг сказала такую штуку, что я чуть не поперхнулся коньяком.

— Как ловко вы это все делаете, Миша, — сказала она. — Вам бы мужем моим быть.

Барков засмеялся, а мы с Яцеком так и уставились на нее.

— Все время хожу голодная,— пожаловалась Ирина.— Мужа выгнала, со свекром поссорилась, а сама, идиотка, ничего себе сварить не умею.

Она расплакалась.

Барков улыбался.

А мы с Яцеком чуть с ума не сошли.

— Ирина, что с вами? Скажите! Не делайте нам больно.

— Муж — тунеядец, свекор — педант, а сама я дура, одна-одинешенька,— пожаловалась она сквозь слезы. Потом встала и сказала нам с Яцеком:— Проводите меня, друзья. Миша, если можно, заверните это филе для меня в салфетку. Спасибо.

Мы вышли втроем на улицу Горького. Моментально все пижоны положили глаз на Ирину и поплелись за нами, держась на расстоянии, словно стая трусливых волков. Знают, что с Корзинкиным шутки плохи.

— Как странно устроена жизнь,— говорила Ирина,— человек, который красив, умен и известен, может быть одинок.

При этом один свой зоркий глаз она повернула ко мне.

— Покажите, пожалуйста, ногу,— попросил ее Яцек,— поднимите ее чуть-чуть.

— Оп-ля! — сказала Ирина и приподняла ногу, как цирковая лошадка.

— Интересно,— сказал Яцек, мгновенно и гениально уловив особенности ее ноги.— Очень интересно. Что-то есть. Можете опустить.

Мы пошли дальше.

— Послушайте, Ирина, э-э, не знаю вашего отчества,— церемонно заговорил Яцек,— Ирина Оскарловна, у меня есть конкретное предложение. Приходите ежедневно к нам в студию. Я буду вас ваять, а Миша позаботится о еде. Конечно, пища у нас не изысканная, но все-таки он что-нибудь приготовит из/полуфабрикатов. Каждый день вы будете сыты.

— Гениально! — радостно закричала Ирина.— Бог мне вас послал, друзья. А вас, Миша, особенно,— шепотом сказала она мне.

Мы подошли к ее огромному мрачному дому, построенному еще в период расцвета культа личности. Дом весь был темным, лишь на одиннадцатом этаже светилось одинокое оконце, да и то зашторенное, задрапированное,— это ее свекор, кабинетная крыса, мучитель, паук, занимался наукой.

— До свидания, до завтра,— сказала Ирина.— Кстати, Миша, передайте мне мое филе.

Какой я балбес — чуть было не забыл про филе! Судорожно я выхватил его из кармана и протянул ей. Она положила филе в сумочку.

— Спасибо за все,— сказала она и пошла к своему дому, а снежная поземка подметала перед ней тротуар.

3

На следующий день Ирина пришла в студию и после этого стала появляться у нас ежедневно.

Она сидела в кресле на помосте, выставив свои ноги, а руками изредка шевелила, переворачивая страницы книги.

А Яцек в брезентовой робе бродил вокруг помоста, зорко разглядывая детали ее тела, возвращался к гигантской уродливой глиняной глыбе, колотил по ней какой-то палицей, снова делал обороты вокруг Ирины и бормотал:

— Бардзо ладне, бардзо добже.

А я тем временем хлопотал по хозяйству. Я поджаривал полуфабрикаты так, что они прямо подпрыгивали на сковородке. Я изобрел даже свой собственный замечательный соус. Могу поделиться рецептом. Скажем, если вы отварили курицу, вовсе не обязательно выливать бульончик, вы кладете в него пять ложек крахмала, пять ложек сахара, пять ложек соли, пять ложек перца, два стакана томатного сока, мелко-мелко нарезанный лимон, стакан молока, баночку горчицы, пару лавровых листиков, выжимаете туда же тюбик селедочной пасты, всю эту смесь доводите до кипения, швыряете туда горсть маслин, и соус готов.

В своей жизни я немало переменил профессий. Был, например, краснодеревщиком. Если спросите меня, какую я делал мебель, я вам отвечу, что еще в 1946 году я

делал модерн, у меня было чутье. Был я, например, в Риге инженером по портовому оборудованию, да мало ли еще кем. Везде я добивался успехов, как и сейчас в кулинарии. Я мог бы не знать никаких бед, если бы не посвятил свою жизнь искусству, точнее, самому сложному и важному виду искусства — киноискусству.

— Миша,— говорит мне Яцек в процессе работы,— не увлекайся. Ты ведь так задушишь нас запахами.

А Ирина только кротко мне улыбалась с помоста. Вела она себя в студии тихо, как голубица, все поела, не капризничала.

— Никогда мне так хорошо не было, как сейчас,— говорила она вечерами, когда я провожал ее до дому.

Установились уже тихие морозные вечера с луной, и мы проходили с Ириной вдоль московского декабря медленно и спокойно.

Обычно она говорила примерно так:

— Как понять отношения между людьми, Миша? Вы не можете мне сказать? Я много думаю об отношениях между людьми, об отношениях между женщиной и женщиной. Вы, Миша, никогда не задумывались об этом? Вот, например, что лежит в основе любви — уважение или физическое влечение? По-моему, ни то, ни другое. По-моему, в основе любви лежит интуиция. А вы как думаете?

А я говорил примерно так:

— Человек соединяется с человеком, как берега соединяются, к примеру, рекой. Знаете, Ирина, сближение умов неизбежно, как столкновение Земли с Солнцем. Человек человеку не волк, это глубокое заблуждение там, на Западе. Люди похожи на чаек, Ирина...

Однажды она сказала, повернув ко мне свой круглый внимательный глаз:

— Миша, вы настоящий джентльмен.

— Что вы говорите? — опешил я.

— Вы так ведете себя со мной,— жалобно сказала она.

— Как?

— Вы немножечко, хоть самую чуточку можете быть... ну... ну чуть-чуть со мной не таким?..

Мы стояли возле витрины какой-то булочной, и вдруг

я увидел наши отражения. Я увидел ее тень, тонкую и высокую, которая увенчивалась огромным контуром заграничной белой папахи, и свою небольшую тень, контуры старой яцековской шапки, полукружия ушей...

Знаете, тут пронзила меня нехорошая мысль: «Ирина смеется надо мной!»

Как прикажете иначе объяснить наши отношения! Давайте посмотрим правде в глаза. Внешне я не блещу особенной красотой, положение мое довольно странное, одежда с каждым днем ветшает, здоровье паршивое, что я такое для нее? Я испугался вдруг, что все это длительный розыгрыш каких-то моих жестоких друзей.

Той ночью я прибежал в студию и сказал Яцеку, что больше так не могу, что на этой неделе обязательно куда-нибудь уеду: или завербуюсь в Арктику, или в Африку, или отправлюсь в Целиноград, куда давно уже зовет меня один друг, который нашел там свое счастье.

Я задышался, воображая себе все фантастическое коварство Ирины.

Яцек волновался вокруг меня, даже поставил кофе на газ. Он убеждал меня принять люминал и соснуть, говорил, что Ирина любит меня, что она разгадала во мне настоящего человека, но что мне были его утешения!

— Вот телеграмму тебе принесли, Миша,— сказал Яцек так, будто все мое спасение в этом клочке бумаги.

Телеграмма была от Баркова, с Южного берега Крыма.

В телеграмме значилось: «Вызываетесь на пробы роль Конюшки группа Большие качели Барков».

«Вот что значит друзья,— подумал я, рухнув в кресло.— Вот что значит настоящий друг Игорек, слово у него не расходится с делом. Обещал вызвать—вызвал. Крепкая мужская дружба». Я показал телеграмму Яцеку.

— Ну, Миша, поздравляю тебя! — обрадовался он.— Может быть, это начало, а?

Полночи мы рассуждали о моем предстоящем отъезде и о роли Конюшки. Что это за роль? Может быть, роль «маленького человека», обиженного судьбой, но сохранившего в душе рыцарский пыл и благородство?

— Завтра мы с тобой идем по магазинам,— сказал

Яцек,— ты должен экипироваться. Не можешь ведь ты ехать на Южный берег в таком виде.

Утром он по моему поручению позвонил Ирине, сказал, что сеансы временно прекращаются по причинам творческого характера.

— А как Миша? — услышал я из-за плеча Яцека далекий, словно из космоса, голос Ирины.— Вчера он был странным, и я вела себя неумно.

Поверите ли, мне захотелось вырвать у Яцека трубку и прокричать Ирине, чтобы она бросила свои шутки, меня не обманет печальный блеск ее больших глаз, я знаю, она актриса, но я-то тоже не дурак, зачем ей нужны мои страдания, зачем, пусть она возвращается к своим ловеласам из ОДИ, я с ней больше не встречу, может быть только тогда, когда мой Конюшка прогремит на весь мир и...

— А Миша вам завтра позвонит,— сказал Яцек и повесил трубку.

Вечером я уезжал в Крым. Я оказался один в четырехместном купе. Печально я стоял в проходе почти пустого вагона и смотрел на перрон, где топтался Яцек. Он храбрился и улыбался, а я с острой печалью думал, как он тут останется один, кто за ним будет следить.

Я потянул на себя стекло, и оно неожиданно подалось.

— Едешь, как бог,— жалобно улыбаясь, сказал Яцек.

— Яцек,— сказал я,— будешь жарить пельмени, переворачивай. Это очень просто — вываливаешь на сковородку, кладешь кусок масла, сольцы немного, и все. Главное — переворачивать.

Оба мы заплакали.

— И ничего не говори ей,— крикнул я.— Ничего!

Поезд тронулся.

4

В Крыму поджидали меня чудеса. В Симферополе хлестал сильный морозный ветер, не было ни единой пушинки снега, а холодней, чем в Москве. Там на вокзале полсотни таксистов бросились ко мне. Все они, видно, были с Южного берега, потому что клацали зубами, свистели носами, крепко крякали, выражались, предлагали услуги.

Выставив вперед свой портфель, я пробился сквозь их заслон и сел в троллейбус.

Троллейбус пересек город (Симферополь), потом обширную равнину и полез в горы. Спокойно он лез все выше и выше и на перевале влез в густейший туман, как будто он был не нормальный городской троллейбус, а какой-нибудь вездеход.

Все еще в тумане, я почувствовал, что теперь он идет вниз, как самолет. Он все полз и полз вниз, как вдруг туман отстал от нас, и внизу во всю ширину, как в панорамном кино, открылся перед нами рай земной.

Это просто было что-то удивительное — синее море почти от неба и знакомые по открыткам склоны зеленых гор. Солнце сразу так нагрело стекла, что прямо хоть раздайся. А спустя некоторое время внизу появились скошенные под разными углами крыши того города и белые массивы всесоюзных здравниц. Вскоре совсем мы снизились и покатали уже по городским улицам, как и полагается троллейбусам, мимо стеклянных шашлычных, чебуречных, бульонных, пирожковых, совсем безлюдных, что тоже было чудом.

Когда я вылез из троллейбуса, голова у меня закружилась: такой крепкий и пахучий был здесь воздух. Было вовсе не так жарко, как в троллейбусе, а даже несколько зябко, но солнце светило, где-то близко бухало море, а на каких-то пышных деревьях голубели какие-то цветы.

В киоске «Союзпечать» выставлены были карточки киноартистов. Я подошел и посмотрел на них как на что-то близкое и родное. Миша Козаков, Люда Гурченко, Кеша Смоктуновский — все друзья мои и коллеги. Сердце у меня екнуло, но все-таки я спросил:

— А есть у вас фотопортрет Ирины Ивановой?

— Иванову расхватали на прошлой неделе, — сердито сказала продавщица. — С парусного судна «Витязь» курсанты всю Иванову разобрали.

«Вот, — подумал я, — курсанты с парусного судна «Витязь». Юнги Билли. Гардемарины. Полюбила я матроса с голубого корабля. Вот».

И, все забыв, поставив на этом точку, спалив за собой мосты и корабли, я легко зашагал по чистым и малолюд-

ным улицам этого города. Ноги мои приятно шерстила ткань иорданских брюк.

Вчера в комиссионном магазине закупили мы с Яцеком для меня уникальную вещь — иорданские брюки. У кого еще есть такие брюки, хотел бы я знать. Один только Миша Корзинкин ходит в иорданских брюках. Швы, правда, слабоватые у этих брюк, но зато впереди у них, извините, молния, а не какие-нибудь вульгарные пуговицы.

Навстречу мне шла высокая толстая старуха на тонких каблуках.

— Простите,— обратился я к ней,— не знаете ли вы случайно, где здесь размещается киногруппа «Большие качели»?

— У-тю-тю-тю,— сказала она, вытянув ко мне свои губы,— сделай, маленький, два-три шага ножками топ-топ и прямо упрешься.

Я ускорил шаги и оглянулся. Старуха, смеясь, смотрела мне вслед и качала головой с ласковой укоризной, как будто застала на фривольных шалостях.

Теперь навстречу мне бежала собака, худая, черная как ночь, перебирая длинными заплетающимися лапами, с глазами вроде бы покорными, а на самом деле лживыми и коварными.

— Не бойся, песик,— сказал я,— не обижу.

— Ррры,— мимоходом сказала мне собака.

— Рекс, летс гоу! — послышался голос старухи.

Собака, как обезьяна, пошла за ней на задних лапах.

— Кто сказал «ры»? — спросил, высовываясь из палатки, толстый ювелир.— Вы, молодой человек? А? Часы починим? Комната нужна? Почему иорданские брючки? Продашь?

Все в этом городе было романтично и загадочно, как в сказках датского писателя Андерсена.

Вскоре я вышел на набережную, где море бухало и взлетало над парапетом метров на пять. На набережной тоже было малоллюдно, бродило несколько синих пиджаков и зеленых кофт, но ожидалось пополнение — к порту в это время подходил греческий лайнер «Герострат» с турецкими туристами на борту.

На скамеечке сидел одинокий молодой человек с книгой, по виду студент-заочник.

— Простите,— обратился я к нему,— вы случайно не знаете, где размещается киногруппа «Большие качели»?

— Садитесь,— сказал он, быстро взглянув на меня.

Я сел рядом с ним.

Студент открыл книгу и углубился в нее, странно шевеля при этом локтем. Иногда он бросал на меня быстрые, как молния, взгляды и снова углублялся.

— Качели? — спросил он. — Большие? — повторил он вопрос через минуту. — Киногруппа «Большие качели», так вы говорили? — любезно осведомился он еще через минуту и протянул мне сложенный вдвое листочек белой бумаги, на которую был наклеен мой характерный профиль. — С вас пятьдесят копеек,— улыбнулся он.

— Вы /очник или заочник? — спросил я, отдавая ему свою тяжелую полтину.

— Конечно, заочник,— сказал он. — Готовлюсь к сессии. А «Большие качели» — вон они толпятся.

— Я артист, приехал сниматься,— сказал я.

— А-а, ну-ну,— сказал он, потеряв уже ко мне интерес.

У входа в гостиницу толпились «Большие качели». Ничего они в этот момент не снимали, а лишь о чем-то яростно спорили, размахивали руками, показывая на небо, на море, на солнце, на горы, на «Герострат». Барков стоял, засунув руки в карманы джинсов, шмыгал носом и, видно, что-то напевал.

— Смотрите, кто приехал! — закричал он, заметив меня. — Мишенька приехал! Миша, поцелуй меня! Ну, теперь дело у нас пойдет — Миша Корзинкин приехал!

И все заплодировали мне, заулыбались, после чего я крепко, как мужчина мужчине, сжал ему руку и шепнул:

— Спасибо, Игорь. Ты меня так выручил, как даже сам не знаешь. — Потом спросил его уже громко: — Когда дашь прочесть сценарий?

Барков улыбнулся и сказал быстро, по своему обыкновению перемещая зрачки то вправо, то влево:

— Когда хочешь. Вечером. А сейчас, Мишенька, у меня к тебе особое поручение. Понимаешь, надо съездить

на местную автобазу и попросить у них открытый «ЗИЛ». У них есть один, стоит без дела, нам необходим, а они не дают. Понимаешь, какое варварство! Возьми у Раймана бумаги и отправляйся. Райман сам уже ездил, но они ему дали от ворот поворот. Только на тебя надежда.

Я решил выручить Игорька и поехал в нашем «газике» на автобазу.

Директором автобазы оказался мой товарищ по армии, по службе в десантных войсках, Феликс Сидорых. Мы с ним когда-то рядом сидели на дюралевой скамейке в «Ли-2». Вместе выходили из самолета, сначала я, а он за мной. Бывало, висишь на стропях, а Феликс мимо тебя камнем вниз. Баловался он затяжными.

Сейчас Феликс стал здоровым краснорожим боссом килограммов/под девяносто. Он бросил мои бумаги в ящик стола и заорал:

— Плевать я хотел на твои бумаги, Мишка! Ты лучше признайся, для чего тебе машина, а? Ну, признавайся! Меня не проведешь, ну! Скажи честно — и получишь. А? Зачем тебе она? Ну? Ну? Вижу тебя/насквозь.

Я хитро подмигнул, и он, довольный, захохотал.

— То-то! Знаю я тебя! То-то и оно! Так бы сразу. Сказал бы сразу и получил бы без всякой волынки. У-у, шкода! Мишка, Мишка, где твоя улыбка! Забирай/колымагу, если, конечно, заводится она.

К гостинице я подъехал на заднем сиденье огромной открытой машины высотой с автобус. «Большие качели» не поверили своим глазам и загудели от восторга.

Остаток дня и весь вечер мы/проездили с Игорьком в открытой машине, намечая места будущих съемок. Игорек поднимался в машине, одну ладошку ставил себе над глазами, другую — на уровень носа, замыкая таким образом пространство в широкоэкранный объектив.

— Просто будем снимать, Миша, — говорил он, — просто и элегантно. Светло-серый, чуть мерцающий колорит.

Мы останавливались в узких улицах города, заходили во дворы, в эти маленькие колодцы с полусгнившими галереями, с пальмами в кадучках и с кальсонами на веревках.

— Хорошо, но не то. Не то, — бормотал Игорек.

— Вот это да! — вдруг вскричал он.

На фоне заката на большой высоте трепетали между домами голубые дамские трусики.

— Вот это мы снимаем! Железно!

Поселился я в одной комнате с заместителем директора картины Иваном Генриховичем Лодкиным. Это был человек тонкой кости, изящного склада, но очень грубый в обращении.

— Корзинкин! — орал он на меня. — Опять в носу ковыряешься? Сбегай-ка за пивом, олух царя небесного!

— Стыдно, Иван Генрихович, — говорил я ему. — Бесчинствуете, как извозчик.

Ежедневно мне приходилось выполнять особые поручения Игорька. Без меня у «Больших качелей» просто все валилось из рук.

— Понимаешь, нужно мне организовать массовку из стариков, — говорил Игорек, — из одних только настоящих стариков с длинными белыми бородами.

И я как сумасшедший носился по городу в поисках таких стариков. Нашел двадцать семь человек. Хорошо, что помог мне председатель местного совета пенсионеров, второй муж моей тети Ани.

В другой раз потребовалось шесть виолончелей и пять контрабасов. Тут пришлось уламывать директора филармонии, который, к счастью, был мне знаком по прежней культпросветработе.

В таких делах проходили дни, я сильно уставал и даже не находил времени, чтобы взять у Игорька сценарий и вжиться в образ Конюшки.

— Ничего, — говорил Игорек, — через недельку все наладится, и тогда у тебя будет время.

На третий день к вечеру я вернулся в номер. Лодкина, к счастью, не застал и рухнул на кровать, как обессиленный колосс.

Смертельно я устал и думал, что сразу засну, но в голове у меня все крутилась карусель: старики, виолончели, бачки для полевой кухни, телефоны, квитанции, ордера и что делать с аморальным гримером Чашкиным.

Я уткнулся носом в подушку, когда вдруг рванули дверь и послышалось посвистывание Ивана Генриховича. Он хлопнул меня ладонью по одному месту и сказал:

— Эй ты Попа Новый Год, вставай! Ирина приехала, ищет тебя по всему городу.

Я вскочил и дико посмотрел на Лодкина. Тот уже полужелезал в кресле и ухаживал за своими ногтями.

— Цирк,— сказал он,— комедия дель арте.

— Где она?! — закричал я.

Лодкин пожал плечами. Я выбежал из гостиницы.

Был воскресный вечер, набережная наполнялась народом. Все были спокойны и веселы, один только я носился как бешеный из конца в конец, туда и обратно, от гостиницы до морского вокзала, по всем шашлычным, чебуречным, бульонным, пирожковым. Ирины нигде не было. Отчаяние охватывало меня.

Вдруг я увидел ее. Она сидела на гальке под парапетом. Она сидела одна, пляж был пустынен на всем протяжении, и перед ней было только беспокойное древнее море и чайки, она сидела там, как Ифигения в Авлиде.

«Как я мог так поступить с ней? Какой я скот! Почему я не смог понять ее? Почему я так ее унизил? Как я мог?» — думал я, проносясь над парапетом, над пляжем, кружа над ней и снижаясь.

— Миша, как вы могли? — тихо сказала она таким голосом, что у меня остановился в организме ток крови.

— Можете ли вы меня простить? — спросил я.

— О чем разговор? — сказала она, вставая. — Пойдемте гулять. Мне здесь нравится. Здесь чудесно. Какой вы чуткий...

Знаете, может быть, я излишне откровенничаю, но волосы у нее в этот момент развевались под ветром, глаза ее сияли, блестели зубы; готов поклясться, что она была счастлива в этот момент нашей встречи.

Мы поднялись на набережную и тихо пошли по ней. Я позволил себе взять ее под руку. Локтем она чуть прижала к себе мою руку.

По набережной шли изысканно элегантные греческие моряки, они вели за руки робких турецких туристов, напуганных воскресным шумом этого города.

Солнце все норовило сесть за гору, но каждый раз подскакивало, накаляваясь на кипарисы. Наконец — бочком, бочком — оно закатилось, и сразу вспыхнули все

огни огромного «Герострата» и всех судов помельче и на башенных кранах, и на столбах, и витринах, и в открытых кафе загорелись лампы.

Вскоре мы встретили моего родственника, второго мужа тети Ани. Я познакомил его с Ириной, и мы остановились возле парашута.

Старичок этот одобрительно подмигивал мне, а потом шепнул на ухо:

— А как же Сонечка? А, Миша?

— Соня оказалась непринципиальным человеком,— шепнул я в ответ.

Старичок удовлетворенно кивнул, полуотвернулся и, глядя на нас, быстро заработал ножницами. Через минуту он протянул нам наши профили.

— По полтинничку/с носа,— сказал он,— итого рублик. Желаю счастья.

Море раскачивалось все сильнее, на верхушках волн вспыхивали багровые полосы и гасли, быстро темнело, и из темной глубины стихии доносилось лишь глухое нарастающее животное урчанье, и во мраке плясали огоньки малых рыболовных сейнеров, и даже огни «Герострата» в порту чуть-чуть покачивались.

Рядом с нами остановились два паренька в бушлатах, посмотрели на пляску огней в темноте.

— Даст нам сегодня море свежести,— сказал один из пареньков, и они пошли к порту, помахивая чемоданчиками.

— Как это все удивительно, Миша! Как прекрасно! — сказала Ирина.— Вам не кажется, что жизнь иногда может быть прекрасной?

— Мне кажется,— ответил я.

Вскоре мы встретили Феликса Сидорых. Еще издали он широко, на полнабережную, раскинул руки.

— Познакомься, Феликс. Это мой друг Ирина,— сказал я.

— А-ха-ха! — захохотал Феликс, обнимая нас сразу вместе с Ириной.— Теперь мне все ясно! Ясно — и точка! Полная ясность. Абсолютная видимость!

Он быстро вырезал наши профили и протянул их нам.

— Что это значит, Феликс? — в некоторой растерянности пробормотал я. — Что все это значит?

— Это такая местная игра, — хохотал Феликс. — Мы здесь все вырезаем друг друга профили. Кто быстрее вырежет, тот и получает полтину. С вас рупь.

Мы простились с Феликсом и зашли в ресторан.

— Давай/кутить, Миша, — предложила Ирина. — Кутнем как следует, а завтра я сниму деньги/с аккредитива.

Мы заказали шампанского и кетовой икры. Икры кетовой не оказалось, и тогда мы заказали крабов. Крабы, как выяснилось, тоже кончились, но был мясной салат «ривьера», его мы и взяли.

— Та-ра-ра-ра, и в потолок вина кометы брызнул ток, — сказала Ирина и через стол протянула мне руку.

В ресторане играл джазик — трое молодых людей — труба, контрабас и аккордеон — и старик — рояль. Юношей все тянуло на импровизацию, а старик, воспитанный в строгой курортной манере, этого не любил, возмущался, когда они начинали импровизировать, и бросал клавиши.

Наконец заиграли мелодию, которая, видимо, была по сердцу старику. Он забарабанил на своем инструменте и запел с большим энтузиазмом, подмигивая нам и улыбаясь.

— Пора настала, я пилотом стала, — пел старик во все горло.

Мы смотрели на него с восхищением и, когда он кончил, пригласили его к столу. Старик мягко спрыгнул с эстрады. Видно, вся жизнь его прошла в ресторанах. При наличии галстука он был в войлочных домашних туфлях.

— А я для вас и пел, — сказал он, принимая бокал. — Вижу — интеллигентный человек сидит в иорданских брючках, дай, думаю, спою для него и для дамочки. И кроме того — сюрприз. Извольте, с вас рубль.

Он протянул нам наклеенные на белую бумагу два наших профиля носом к носу, а сверху еще были пририсованы два целующихся голубка. Как он мог смастерить эту штуку, играя на рояле и распевая, это осталось тайной.

Я очень смутился при виде этого нескромного намека, а Ирина положила его в сумочку, загадочно улыбаясь.

В это время под гром всех инструментов, исполнявших какой-то боп, в зал вошел Игорь Барков и вместе с ним широкоплечий медлительный человек, очень хорошо одетый. Они пошли к нам, подлаживая свою походку под ритм бопа.

— А, Ирка приехала,— сказал Барков.

— Я к Мише приехала, а не к вам,— возразила Ирина.

— Конечно, к Мише,— не стал спорить Барков.— Миша — мое золотце.

— Присаживаясь, Игорек,— пригласил я,— и вы...— Я посмотрел на его спутника, не зная, как сказать: «товарищ», «гражданин» или «мистер».— И вы, синьор, присаживайтесь.

— Знакомьтесь, друзья,— сказал Барков,— это итальянский режиссер Рафаэль Баллоне. Мы с ним года два назад в Мар-дель-Плата мартини пили, а год назад на самолетном стыке в Дакаре по бокалу пива хлопнули. Большой мой друг, прогрессивный художник.

— Очень приятно. Рафик,— сказал тот и уставился на Ирину, а Ирина, как и полагается звезде, посмотрела на него, потом на кончик своего носа, а потом в сторону — проделала простейшую комбинацию с глазами.

Очень это мне не понравилось.

Игорек пригласил Ирину на танец, и, пока они танцевали, Рафик, водрузив на нос очки, рассматривал ее.

— О, какая замечательная девица,— обратился он ко мне,— я хочу на ней жениться. Она будет мой жених. То есть нет. Женский жених, как это по-русски? Да, невеста, спасибо. Она будет моя невеста, а я жених. Вы обратили внимание на пропорции ее тела? Нет? Это интересно — абсолютно идеальный масштаб длины ног и рук и тела и также точная обрисовка корпуса. Только есть недостаток — немножко вот здесь, как это? Чиколотка, немножко чиколотка широковата.

— Вы подумайте насчет щиколотки,— язвительно сказал я ему,— все-таки жизнь ведь жить.

Сердце у меня заколотилось. Неужели она выйдет за него, за этого человека из мира капитализма?

Подошли Ирина и Барков. Рафик снял очки.

— Ирина,— сказал он торжественно,— я видел вас на всех экранах мира в черно-белом варианте и вот сейчас наблюдаю вас в объеме и цвете. Предлагаю вам стать моей женой. Я прогрессивный художник, но я владею четырьмя кинофирмами и пятью виллами в разных курортных районах мира.

За столом воцарилось молчание, все поняли, что это серьезно. Ирина молчала-молчала, а потом щелкнула пальцами и подмигнула мне:

— Миша, можно мне выйти за него замуж? От вашего слова зависит все.

— Нет, нельзя,— коротко сказал я, как отрезал. Ирина весело зааплодировала.

— Этот тип! — вскричал Рафик.— Что вы нашли в этом типе?

Ирина положила вилку и выпрямилась. Глаза ее гневно сверкнули.

— Что я в нем нашла? — медленно проговорила она.— Этот человек ни разу не затронул мою честь!

Барков захохотал:

— Ловко она тебе вмазала, Рафика!

— Ну ладно, ладно,— проворчал Баллоне,— давайте не будем. Давайте закажем горячее.

Когда принесли горячее, Игорек напомнил мне о завтрашних делах, о том, что надо на мебельную фабрику поехать за материалом для стройки на натуре.

— Когда это кончится? Что я вам, завхоз или администратор? — спросил я, а сам уже соображал, кто у меня на мебельной фабрике родственник или знакомый.— Когда же я начну репетировать Конюшку и что это за роль?

— Да, что это за роль, Барков? — спросила и Ирина.

— Такая роль,— замялся Барков,— генеральская роль.

— Не маленького человека?

— Нет, наоборот.

— Я уверена, что Миша сыграет любую роль,— сказала Ирина.— У него есть талант и, главное, большое сердце. Не то что у некоторых,— добавила она.

После ресторана я проводил ее до гостиницы и под шум прибоя поцеловал ее руку. О!

Утром я проснулся от тишины. Наши окна выходили к морю, всегда шумел прибой, а сегодня полная тишина, и Лодкин не сопел во сне, как обычно, и не пускал пугыри.

Я подошел к окну и увидел следующее: в море был полный штиль, поверхность его находилась в самом легчайшем движении, словно от поглаживания, и лишь кое-где рябили пупырышки, какие на коже бывают от холода, а горизонта видно не было, в отдалении стоял прозрачный голубой туман, и в этом тумане совсем темно-синими казались паруса вставшего на ночь на рейде судна.

— Доброе утро, Миша,— тихо сказал за моей спиной Лодкин. Видно, штиль и на него подействовал.

— Что это за судно, не знаете, Ваня? — тихо спросил я.

— Учебный парусник «Витязь»,— ответил он и вдруг гулко, страшно захохотал, закашлял, засморкался, приходя в себя. Он не заметил, как я вздрогнул. «Витязь»! Это тот самый, что закупил все карточки Ирины. Как бы не было беды!

Кое-как одевшись и умывшись, выскочил на набережную. По ней, по лужам, не просохшим еще после штормового прибоя, от своей гостиницы к нашей торопилась Ирина. За ней, разевая от молодого счастья рты, вышагивал отряд курсантов с «Витязя». Катер с «Витязя» двигался в море параллельным курсом. Я бросился вперед.

— Миша, Миша! — закричала Ирина. — Поклонники! Целый фрегат!

— Барк. Это барк, а не фрегат,— сказал я, хватая ее за холодные испуганные руки.

— Но дело не в этом,— быстро заговорила Ирина,— сейчас я встретила Баркова, и он проговорился. Миша, здесь обман, заговор, Миша!

Я увидел бегущего к нам по набережной Игорька. Он умоляюще прижимал палец ко рту, хватался за голову. Ирина, мстительно закусив губы, взглянула на него. Курсанты стояли неподалеку, по отряду волнообразно распространялись нежные улыбки.

— Миша, я выхватила у него сценарий и сразу все фотняла. Это обман! Конюшка — это не маленький человек, это лошадь!

Барков уже подбежал и стоял рядом, тяжело дыша.

— Да, это лошадь,— продолжала Ирина,— она у него, у этого модерниста несчастного, ходит там по арбузам, как по головам. Это лошадь.

Всегда в тяжелые роковые минуты жизни я становлюсь железным человеком. Внутри у меня все трепещет, вся боль моя и слезы, а внешне я — железный человек.

— Это жестоко, Игорь,— сказал я холодно и спокойно.— За что же ты меня так?

Барков бросился ко мне, но захлебнулся от волнения.

— Пойдем, Мишенька,— заплакала Ирина,— уедем отсюда. Какое право они имеют так тебя обижать?

6

К вечеру того же дня мы приехали на Симферопольский вокзал. Привокзальная площадь и крыши машин были покрыты снегом. Ирина куталась в легкое свое замшевое пальто и иногда вздрагивала, все еще переживая нанесенное мне оскорбление. Я нес ее чемоданы, а она мой портфель.

Вокзал хмуро высился над нами, а перед его чудовищным портиком и высоченным шпилем, перед длинными колоннадами мы казались себе маленькими и несчастными. Таксисты провожали нас ироническими взглядами.

Мы купили билеты на московский поезд и заложили свои вещи в автоматическую камеру хранения.

До отхода поезда оставалось еще часа два. Мы вспомнили, что не ели ничего с утра.

— Я не хочу в ресторан,— сказала Ирина,— просто противно подумать, как все там будут смотреть, когда мы войдем.

Я смотрел на нее — эдакая модная птичка в высоченных сапогах на тоненьком каблуке и в коротеньком пальтишке, озябшая, с красным носиком, она проявляет преданность и тонко мне сопереживает. Чудеса, да и только, подумал я и вдруг почувствовал себя счастливым, как никогда. Не думайте, что я выдумываю, все так и было.

Мы вышли из здания вокзала и вдруг увидели под сводами колоннады, казавшейся бесконечной, высокую стойку с большой надписью над ней: «Комплексные обеды».

— Вот то, что нам нужно, — сказала Ирина и взяла меня за руку.

Мы взгромоздились на высокие неудобные табуретки, и ноги наши повисли в пустоте.

За стойкой орудовала запыхавшаяся тетенька, седые пряди волос свисали из-под колпака, она открывала крышки огромных кастрюль, и оттуда столбами поднимался пар, как из преисподней. Она запускала в кастрюли черпаки и как-то зло, ожесточенно выдавала на-гора порции комплексного обеда. За спиной у нее, на белых дверцах холодильника, красивыми буквами было написано: «Бульоны, соусы, компоты, кисели».

Обеды, собственно говоря, были не так уж и дешево — 77 копеек. В комплекс входило: харчо из перловки, плов из перловки, стакан кофе с молоком. Правда, мяса было много и в плове и в харчо, а может быть, это только нам подавальщица так удачно зачерпнула.

Мы ели с Ириной, а под ногами у нас, как и у всех других едоков, крутились собаки: породистая гончая сука с отвисшими сосками, здоровенный черный пес неизвестного происхождения и несколько маленьких шавок. Им бросали со стойки кости и стряхивали с ложек перловку. Едоки приходили и уходили, состав был текучий, и вдруг мы остались с Ириной одни за стойкой, а подавальщица застыла, окаменела, оперев свой черпак в бок.

Я посмотрел на Ирину, как она ест, она посмотрела на меня, как я ем, мы улыбнулись друг другу, я поднял голову и посмотрел вверх под своды колоннады. Колонны были не круглые, а с острыми гранями, они были очень высоки, и наверху было темно, капителей видно не было, там шла какая-то хлопотливая птичья жизнь, возня, шебуршание, трепет крыл.

Закатное солнце вдруг вырвалось из туч, и напор его был таким неожиданным и сильным, что сразу стал таять снег, образовались лужи, сверху потекло, и мы с Ириной оказались как бы за шторой из прямых звенящих струй.

Небо стремительно голубело, алело, зеленело, а в

колоннаду ворвался резкий и совершенно весенний ветер.

— Киселя хочу,— сказала Ирина.

— Киселя у нас не бывает,— отрезала подавальщица.

— А если поискать? — спросил я.

— Не спорь,— остановила меня Ирина и улыбнулась подавальщице.

И та вдруг улыбнулась ей и крикнула в трубу, по которой ей сверху, из ресторанной кухни, спускали чаны с комплексным обедом:

— Витек, кисельку завари!

— У-у-р-р-ах! — пронеслось сверху по трубе.

— Сейчас будет, дочка,— сказала подавальщица Ирине.

Откинув кисею весенней капели, к стойке подошли три курсанта с парусника «Витязь».

— А, вот вы где! — закричали они.— А мы вас по всему вокзалу ищем!

Они уселись рядом с нами на табуреты и уставились на Ирину молодыми нахальными глазами.

— Мы в Мурманск направляемся,— сказали они,— а оттуда на Остров Свободы. Хотите с нами, уважаемая артистка Иванова?

— Можно мне с ними, Миша? — спросила Ирина.

— Он что, муж вам, этот/геноссе? — спросили курсанты.

— Просто любимый человек,— ответила Ирина.

Курсанты весело застучали ложками, требуя комплексного обеда.

Подавальщица, весело ухая, давала пар.

Сквозь капель прошла высокая старуха на тонких каблуках. Она была в горжетке с острой, чуть тронутой временем лисьей мордочкой.

За старухой на задних лапах шествовала вороватая скотина Рекс.

— Рекс, атанде! Алон, алон,— позвала его старуха и подошла к стойке, виляя бедрами.

— Садись, мамаша,— сказали курсанты.

— Хоть в разлуке жить не просто, все равно люблю матроса,— напевала старуха, усаживаясь,— синеглазого матроса с голубого корабля...

Наши собаки сразу приняли Рекса в свою компанию.

Потом пришел студент-заочник, тоже уселся и занялся вырезанием профилей.

— В Москву еду на сессию, деньги нужны,— объяснил он.

Сколачивалась хорошая компания. Становилось весело. Подавальщица, подпевая старухе, пританцовывала от котла к котлу. Пустые кастрюли поднимались вверх по трубе, вниз опускалась перловка с бараниной. Курсанты ложками отбивали матлот. Ирина слегка комбинировала своими глазами и руками. Мы с заочником рассуждали о стихах Алексея Зауриха. Рекс подбивал собак разом прыгнуть на стойку и все сожрать. Бродячая аристократка, тряся выменем, урезонивала его.

Уже стемнело, когда появились Игорь Барков и Рафаэль Баллоне.

— Миша, ты уж меня прости за эту маленькую хитрость,— сказал Игорек.— Все у нас не ладилось, и я решил вызвать тебя. Ты бы знал, как с твоим приездом ожили люди, как они подняли головы, поверили в свои силы. Может быть, вернешься?

— Нет, он не вернется,— сказала Ирина,— но вас, Барков, мы прощаем. И вас тоже,— сказала она Рафику.

Что-то загрохотало, и из трубы вылез, сияя белозубой улыбкой, сам чумазый Витек с огромной чашей пунша. Над чашей трепетал голубой пламень.

— А вот и киселек! — закричал он.

— Сюрприз! — захохотала подавальщица.

Собаки встали на задние лапы и уткнулись носами в наши локти.

А мы сидели, шумно пируя, словно рыцари и прекрасные дамы под закопченными сводами нормандского замка. Мы делили голубой огонь и перловку и бросали кости нашим собакам.

Боже мой, думал я, смертные люди! Ведь невозможно даже подумать, что всех нас когда-нибудь не станет, даже этих курсантов, даже Ирины, боже мой! Ведь в это невозможно верить, это невозможно понять. Что же делать? Может быть, верить друг в друга, в то, что соединило нас сейчас здесь, в то, что тянет сейчас всех людей во всем мире к этой нашей стойке? Ведь мы же все должны

друг друга утешать, все время ободрять, разговаривать друг с другом о разном, житейском, чуть-чуть заговаривать зубы, устраивать вот такую веселую/кутерьму, а не подкладывать друг другу свинью и не ехидничать. Но, к сожалению, как часто люди ведут себя так, будто не умрут они никогда, и лишь временами все складывается так благополучно, как сейчас. Жаль, что вас не было с нами.

Уже два раза объявили по радио о посадке, когда к колоннаде подъехал открытый «ЗИЛ-110» и из него вышел Герострат. Путаясь в своей тунике, он деловито прошел за колонны. В руках он нес канистру с бензином.

— Все слава, все стремление к славе,— ворчал он, обливая бензином стены Симферопольского вокзала.— Мало мне храма Афины, нет, надо еще сжечь этот дворец... Пароход своего имени я уже того, а теперь, значит...

— Эй ты, Стратостат! — закричали курсанты, слезая с табуретки.— Не балуй, псих! По кумполу захотел?

Не знаю, чем кончился спор курсантов с Геростратом, потому что мы с Ириной пошли уже к поезду.

7

Яцек мы застали в мастерской. Он жарил себе пельмени. В центре помещения высилось нечто огромное, закрытое мокрыми тряпками.

— Во-первых, рад вас видеть,— сказал Яцек,— а во-вторых, и сам могу похвастаться. Получил заказ. Работую над скульптурной группой «Мирный атом».

Он содрал тряпки, и мы увидели группу, выполненную пока что в глине. Здесь сидела женщина с чертами Ирины, а рядом с ней пылливый молодой ученый, смахивающий на меня, а за их спинами, положив им на плечи тяжелые руки, высился отягощенный идеями мыслитель, напоминающий самого Яцека.

— Скоро я стану большим человеком, Миша,— сказал Яцек,— и тебя в люди выведу.

Все так и получилось. Яцек вывел меня в люди. Ирина стала моей женой. Давно это было.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТЬ

Коллеги 5

РАССКАЗЫ

Маленький Кит, лакировщик действительности	203
Местный хулиган Абрамашвили	217
Японские заметки	237
Под небом знойной Аргентины	260
Товарищ Красивый Фуражкин	294
«Победа». Рассказ с преувеличениями	316
Рыжий с того двора	323
На площади и за рекой	342
Жаль, что вас не было с нами	354

Аксенов Василий Павлович

ЖАЛЬ, ЧТО ВАС НЕ БЫЛО С НАМИ

М., «Советский писатель», 1969, 384 стр. Тем. план вып. 1968 г. № 76, Художник *М. Е. Новиков*. Редактор *В. П. Солнцева*. Худож. редактор *В. В. Медведев*. Техн. редактор *И. М. Минская*. Корректоры *Л. Э. Казакевич* и *М. Ф. Покровская*. Сдано в набор 29/1 1968 г. Подписано к печати 16/IX 1969 г. А 10805. Бумага 84×108¹/₃₂ № 2. Печ. л. 12 (20,16). Уч.-изд. л. 19,42. Тираж 100 000 экз. Заказ 152. Цена 66 коп. Издательство «Советский писатель». Москва К-9. В. Гнездиновский пер., 10. Тульская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.